КОНТИНЕНТ 67

КОНТИНЕНТ KONTINENS KONTYNENT CONTINENT KONTINENT
КАНТЫНЕНТ KONTINENTAS KONTINENTS MANDER КОНТИНЕНТ

Оторваться от себя, как от земли.
Засыпая на полу пустой теплушки,
нюхать мокрые рассыпанные стружки.

исчезая вместе
с поездом вдали.
Отдышаться от себя,
как от беды.
Засыпая под защитой
плащ-палатки,
уезжая, уменьшаться
без оглядки –
до звереныша,
до точки,
до звезды.

Татьяна Поляченко

– Ничего, ничего, – ответил Эссекс, не желая понимать его тон. – Только вы не вешайте голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое посмотрим! „Гамлет, отомсти!" – вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным и губы у него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. – „Отомсти за меня, мой Гамлет!"

Юрий Домбровский

И еще: вы перепутали социализацию и этатизацию. И Маркс посмеялся бы, глядя на это. Таким образом, в результате этих причин распадается, и во многом уже распалась, великая система. И в Советском Союзе, в других странах социализма идет возрождение капитализма. Значит, опять сорок восьмой год! 1848! Как

было при Марксе. Значит – назад, а не вперед. Значит, зря прошли полтора века. Рыночная экономика – это не мечта для будущего, это кошмар. И Ельцин, так же как и Валенса в Польше, – не панацеи. Потерянное за полвека нельзя восстановить одним днем. Даже полтыщей дней.

Роже Гароди

Сильной нации не имеет смысла, да и незачем разжигать свои национальные амбиции, она не боится ассимиляции, поскольку в первую очередь она думает о физическом и духовном здоровье людей, предоставляя им полную свободу выбора – молиться тому Богу, какому они пожелают. Только ослабленная нация начинает истерически хвататься за каждый свой национальный лоскут.

Сабит Мадалиев

Итак, поэт и вечность. Человек и смерть... Шостакович не мог не подойти к этой глобальной теме жизни и искусства, составлявшей предмет размышлений и творчества величайших художников всех времен. Но подошел к ней, не повторив ни одного из своих музыкальных предшественников, будь то Лист или Чайковский, Мусоргский или Рахманинов.

Тамара Грум-Гржимайло

Главный редактор: Владимир Максимов
Зам. главного редактора: Наталья Горбаневская
Ответственный секретарь: Виолетта Иверни
Заведующий редакцией: Александр Ниссен

Редакционная коллегия:
Василий Аксенов ° Виктор Астафьев ° Ценко Барев
Николас Бетелл ° Александр Блок ° Иосиф Бродский
Владимир Буковский ° Армандо Вальядарес
Игорь Виноградов ° Галина Вишневская
Георгий Владимов ° Ежи Гедройц
Густав Герлинг-Грудзинский ° Пауль Гома
Милован Джилас ° Пьер Дэкс ° Эжен Ионеско
Оливье Клеман ° Роберт Конквест ° Наум Коржавин
Эдуард Кузнецов ° Николаус Лобковиц
Эрнст Неизвестный ° Амос Оз ° Булат Окуджава
Ярослав Пеленский ° Норман Подгорец ° Андрей Седых
Виктор Спарре ° Витторио Страда ° Юзеф Чапский
Карл-Густав Штрем ° Юлиу Эдлис

Корреспонденты «Континента»

Италия Сергей Рапетти
Sergio Rapetti
via C.Hajech 10
20129 Milano, Italia

США Эдуард Лозанский
Edward D.Losansky
3001 Veazey Terrace, N.W.
Washington, D.C. 20008 USA

Япония Госуке Утимура
Higashi-Yamato, Hikariga-oka 10-7
189 Tokyo, Japan

Присланные рукописи не возвращаются, и в переписку по этому поводу редакция не вступает.
Название журнала Континент © В.Е.Максимова

К

КОНТИНЕНТ

Литературный, общественно-политический
и религиозный журнал

67

Москва — Париж
1991

КОНТИНЕНТ CONTINENT
Revue trimestrielle
Dates de la parution:
début du janvier, d'avril, du juillet et d'octobre
Publiée par l'Association des Amis
de la revue Continent
16, rue Lauriston
75116 PARIS, France
Prix 60 francs

Directeur de la publication
Vladimir Maximov

© Кино-издательский
консорциум "АВЕРС"

СОДЕРЖАНИЕ

Юрий Домбровский — Смуглая леди. Неизданные главы книги с послесловием Г.Анисимова и М.Емцева 7

Татьяна Поляченко — Железная дорога. Стихи 41

Александр Лаврин. — Бабочка. Рассказ 50

Сергей Соловьев — Странствия. Стихи 71

А. Медведев — Ночь Ильича. Рассказ 75

КАРТА РОССИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Евгений Рейн — Стихи 98

Владимир Салимон — Стихи 107

РОССИЯ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Владимир Леус — Источник зоологического равенства. 113

ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ ДИАЛОГ

Георгий Ефремов — Приобретение потерь. .. 143

ЗАПАД — ВОСТОК

Витторио Страда — Посткоммунизм и национальный вопрос в России и СССР. ... 160

Георгий Носков — Отрочество, юность, зрелость. 171

ФАКТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА

Сабит Мадалиев — Интернациональный манкуртизм. 193

ИСТОКИ

Семен Бадаш — Письма в стихах из особых лагерей. 215

РЕЛИГИЯ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Александр Архангельский — На пути к "несвободе" любви. 227

ИСКУССТВО
Вадим Нечаев — Искусство Доротеи и Ревекки Шемякиных. 245
Тамара Грум-Гржимайло — Встреча навсегда. (О Дмитрии Шостаковиче) 251

ЛИТЕРАТУРА И ВРЕМЯ
Леонид Бахнов — "Мы" и "они". Тамиздат издается тут. Заметки советского человека 265

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ
Венедикт Ерофеев — Диссиденты, или Фанни Каплан. Неоконченная пьеса 285
Венедикт Ерофеев — Саша Черный и др. Эссе 316

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Черноусый (И.Авдиев) — Некролог, "сотканный из пылких и блестящих натяжек". 318

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 324

НАША ПОЧТА 330

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Галина Погожева — Доднесь, ваше сиятельство 345

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛОВ .
Майя Кучерская — Непланета нелюдей 350

КОРОТКО О КНИГАХ 355

НАША АНКЕТА
"Я думаю о последнем отмщении Маркса". Беседу с **Роже Гароди** ведет Феликс Медведев. 357

Юрий Домбровский

СМУГЛАЯ ЛЕДИ

Неизданные главы книги

КОРОЛЕВА

Мэри Фиттон — смуглая леди, как ее звали при дворце, домой вернулась ночью, а в 5 часов утра за нею приехал посланный королевы. У Мэри Фиттон шумело в голове, ее немного подташнивало, но она сейчас же оделась и вышла к посланцу.

Он, молодой, красивый, рослый, в великолепном кафтане, расшитом золотом, ждал ее в гостиной. Когда Фиттон быстро зашла в комнату, он занес правую руку и отвесил ей торжественный, но все-таки слегка иронический поклон по модному французскому образцу, то есть ткнул рукой в воздух и трижды притопнул, и Мэри Фиттон сразу же успокоилась — ничего серьезного.

— Что случилось, мистер Оливер? — спросила она, поворачивая к нему свою твердо выточенную, мальчишескую голову, всю в черных жестких кудрях. — Ее величество...

Со скорбной улыбкой посланец веско ответил:

— Ее величество опасно больна. Она лежит в постели.

— Когда ж это случилось? — спросила Фиттон. — Я видела ее величество только вчера. Она так хорошо себя чувствовала, что даже пела под цитру.

Они уже шли по лестнице.

Посланец молчал.

— Ничего не понимаю, — сказала Фиттон, глядя на него.

— Ее величество, — доверительно ответил Оливер, помолчав, — сказала сегодня лорду Бэкону, что нет порока опаснее для монарха, чем неблагодарность подданного.

— Ах так. — Фиттон наклонила голову в знак того, что она поняла все.— Это опять Эссекс!

Молча они вышли на улицу, сели в карету.

Были первые часы морозного утра. Серебристый тонкий воздух лежал в каменных провалах улиц. Лондон спал, только кое-где еще курился нежный белый дымок.

— Ничего, — сказала Фиттон, — если дело только в этом, завтра ее величество будет опять здорова.

Она говорила так, а сама была серьезно удивлена. Королева не любила болеть и, несмотря на свои семьдесят лет, все еще считала себя молодой и прекрасной. Вот недавно было такое: приехал к ней посол шотландского короля Иакова V, вероятного наследника на британский престол. Его провели в зал и оставили одного. Тут посол услышал: в соседней комнате играют на цитре. Он подошел, открыл портьеру и увидел — королева танцует одна какой-то несложный танец. Он замер — это же был акт государственной важности — да так и простоял с полчаса, поддерживая портьеру и подглядывая. Королева все танцевала.

И Фиттон тоже как-то видела танцующую королеву, и теперь ее коробило от одного этого воспоминания. Королева была страшна своей семидесятилетней сухостью, вытянутым лошадиным лицом, сухими гневными губами, нескладной

прической из толстых волосяных спиралей, ужасным платьем, фасон которого выдумала сама. Это платье вздувалось на плечах, на груди, безобразно путалось в ногах и походило на панцирь или кожу какого-то пресмыкающегося. Королева звучно дышала, и видно было, как под платьем ходили ее ребра. Пот струился по ее желтой засушенной коже. Но посол шотландского короля тогда смотрел внимательно и серьезно и только обтирался платком. Он-то понимал — это инструкция британского двора двору шотландскому. Английское правительство передавало: король Иаков нескоро станет английским королем, вон как еще молода и прекрасна наша королева Елизавета.

Прекрасна! С тех пор, как королеве перевалило за пятьдесят, она стала особенно настаивать на этом — она прекрасна! Ее любовники стали особенно наглы, ее двор стал особенно бесстыден. И слегла-то она сейчас потому, что самый последний из любовников граф Эссекс усомнился в ее женских чарах. Тут Фиттон быстро припомнила все. Вот сейчас Эссекс самовольно вернулся из Ирландии, где он командовал карательной армией, заключил какое-то незаконное перемирие с главой повстанцев, бросил все, вернулся в Лондон, силой пробился во дворец, ворвался в покои королевы — ведь так и пришел, как был: в дорожном платье, с походной тростью — поднял королеву с кровати и целые два часа разговаривал с ней: она лежала, он сидел рядом и гладил ее руки. И так было сильно его обаяние, власть над этой старухой, что она забыла все, и они отлично провели два часа. А потом королева все-таки одумалась и отдала графа под суд.

А графу-то на все плевать! Вот его отрешили от должности, а он отсиживается в замке своего

родственника. Собрал всех своих прихлебателей, друзей и подчиненных; они пьют и что-то готовят. Может быть, даже он хочет повторить этот фортель — проникнуть во дворец королевы и заставить ее слушать себя.

Рассеянно смотря в окно кареты, Мэри Фиттон припомнила и другое: королева тоже умна, она не возобновила графу откуп на сладкие вина, а откуп ведь главная статья его дохода. Если ему не возвратят его — граф разорен вконец. Ух, как тогда полетят его замки, его коллекции картин и драгоценных вещей! Ух, как они полетят.

Тут она заметила, что спутник внимательно смотрит на нее, и постаралась печально и скорбно улыбнуться.

— Но мне так жалко ее величество, — сказала она, кивая кудрявой черной мальчишеской головой. — Каким же надо быть негодяем...

— Не надо так говорить, — попросил он. — Королева еще сильна и прекрасна. У нее есть поклонники. Вот, передайте ей в удобную минуту. — Тут она увидела, что ей суют записку.

— Что это? — спросила она.

Записка была запечатана, но при первом взгляде на адрес, у Фиттон дрогнули губы. Ах, так вот что! Это пишет ее последний любовник — граф Пемброк. Это он теперь хочет вместо Эссекса залезть в королевскую спальню. И молодец, выбрал же подходящее время! Ну что ж, этот мальчик далеко пойдет. Она-то знает его!

— Хорошо, — сказала она.— Я передам.— А сама, презрительно поджимая губы, подумала, что так ему и надо, этому наглецу. Он был моложе ее на шесть лет и стыдился этого. Так вот его будущая любовница будет старше его на сорок семь

лет. Ух, как это противно! Она даже губу закусила. Но тут карета вдруг сильно дернулась и остановилась. Это они подъехали к дворцу.

* * *

Шторы были опущены, и в комнате стояли скользкие подводные сумерки. Сильно пахло духами и еще чем-то тонким и едким — уксусом, должно быть. Королева лежала в постели. Рыжие волосы и желтое, уже явно старческое, сухое, недоброе лицо, с резким чеканным, почти монетным профилем, ярко выделялось на белой подушке. Королева лежала одетой. На ней было платье с широкими рукавами, безобразно утолщенное в плечах и талии, и напоминала она упавшую летучую мышь.

Тонко и пронзительно где-то по сухому дереву стучал жучок. Ох, недобрая же это была примета!

Фиттон вошла, прижимая к груди руки.

— Ваше величество, — сказала она растерянно и преданно и в то же время зорко поглядела на королеву.

На постели, у сложенных рук королевы, лежал требник, но открыт он был не на молитве, а на многокрасочной иллюстрации. Вот — изображала она — королева, царственно гордая, прямая, стоит на коленях и простирает руки к небу, под коленями у нее подушка. На другой подушке скипетр и корона. Никто лучше королевы не умеет так царственно гордо стоять на коленях перед Богом. Когда королева молится, тогда и Бог почему-то кажется не вполне Богом и королева не кажется уж больно коленопреклоненной.

— Ваше величество, — повторила Фиттон.

— Я ждала вас, мой мальчик, — проскрипела старуха с кровати.— Вы чрезмерно доверчивы, и мы из-за этого с вами не раз ссорились.Так вот я хочу, чтоб вы сейчас услышали про благодарность того ничтожного и вздорного человека, которого я... Да, прошу вас, милорд.

Полог около изголовья дрогнул, раздвинулся, и обозначилась фигура человека. Он, очевидно, нырнул в тяжелые матерчатые складки его, как только услышал звон колокольчика и шаги. Человек этот, приветствуя Мэри, слегка наклонил голову, и в ту же секунду Фиттон узнала его: лорд-канцлер сэр Бэкон. Пришел в ранний час — значит, с экстренным докладом и поэтому хочет все говорить при свидетелях.

Человека этого Мэри, как, впрочем, и весь двор, терпеть не могла, но опасалась смертельно. А ведь он был добродушен, отменно вежлив и тих. Никуда не лез и как будто ничем не интересовался. Но знал все и поспевал повсюду. Был действительно беззлобен и если кого-нибудь топил, то делал это по необходимости. Но в свое время его самого втащил во дворец граф Эссекс — для него тогда не было ничего невозможного — и сейчас лорд Френсис Бэкон будет именно за это топить графа. Надо же доказать королеве свою беспристрастность и верность короне. И Фиттон подумала: это будет очень ласковое, обходительное и вполне мотивированное убийство. Лорд — великий любитель чистоты и никогда не делает ничего грубо, грязно и небрежно. Он философ, и в его объемистых фолиантах никогда не было еще замечено ни одной опечатки. Все в них чисто и гладко, все радует глаз. И так же гладко и мягко, как бы само собой, катилась легкая колесница его придворной

карьеры — направляемая не то десницей всевышнего, не то тонкой и сильной рукой самого лорда.

— Да, я слушаю, милорд? — повысила голос королева, так как лорд что-то замешкался.

— Таким образом, ваше величество, из всего, что мы знаем, — методически ровно и бесстрастно заговорил господин, — картина предполагаемых событий выясняется с достаточной ясностью. Граф Эссекс выступает открыто. Мятежники стягивают силы, чтобы двинуться ко двору. Если в настоящее время ими еще ничего и не предпринято, то причины на это, как я обратил уже внимание вашего величества, особые: они ожидают прибытия шотландских послов. Тогда от имени вашего наследника, короля Иакова, они обратятся к народу, сколотят воинскую силу, захватят дворец и принудят ваше величество к принятию их условий. Трудно сказать, насколь сильны их зарубежные связи, но возможно, что и ваш наследник передал своим посланцам соответствующие инструкии. По моим сведениям, — добавил он, помолчав, — дело обстоит настолько серьезно, что разговор может идти об отречении вашего королевского величества в пользу шотландского короля.

— Чудовищно! — спокойно воскликнула королева. — Поистине чудовищно. Если бы я не знала Эссекса, я бы подумала, что вы бредите.

— Да, но ваше величество знает, что я, к сожалению, совершенно здоров, — слегка улыбнулся Бэкон. — Какие юридические основания будут приводить мятежники, я не знаю. Возможно, они будут ссылаться на то, что ваше величество нарушает кое-какие пунктики протокола Иоанна Безземельного. — Тут и королева улыбнулась: ах, лиса, лиса! Ведь это он так обозвал Конституцию.

— Возможно же, что они просто потребуют удаления от вашего величества всех верных слуг.

Королева потянулась и подняла черный серебряный кубок с каким-то отваром. Ее крепкая, старческая рука в синих жилах и подтеках дрожала, и Мэри чуть не бросилась ей помогать.

Королева долго пила, отдуваясь и тяжело дыша. Потом поставила кубок, тяжело откинулась на подушки и снова заснула.

— Я думаю, мистер Френсис, — сказала она, медленно открывая неподвижные глаза, — что, может быть, все-таки это одни разговоры. Граф любит кричать, а на деле...

Она открыла рот и положила на длинный, малиновый язык прохладительную лепешечку.

Сэр Френсис поклонился. Невероятно гибок и точен в движениях был этот сэр при своей толщине и одышливой солидности.

— Мне очень неприятно противоречить вашему величеству, — сказал он твердо, — но дело все-таки много серьезнее простой болтовни.

Он бросил быстрый взгляд на Фиттон и осекся, совершенно явно показывая, что он мог бы и продолжить, — но вот фрейлина здесь, а она ни к чему.

"Ах, скот,— быстро подумала Фиттон,— и, как, однако, хочется ему утопить Эссекса. А ведь, если бы не граф, кем бы ты сейчас был".

Она взглянула на королеву. Та неотрывно смотрела в лицо сэра Френсиса.

— Вы можете говорить все, Френсис, — сказала она. — Моя фрейлина нам не помешает.

— Тогда разрешите вашему величеству повторить то, о чем я час тому назад имел честь докладывать графу Сесилю.

"Скот, скот, — опять подумала Фиттон. — И ведь знает, на кого сослаться. — На Сесиля. Ну, конечно, один любовник сожрет другого. Сесиль только и ждет удобной минуты".

— Да, да? — сказала королева. — Слушаю.

Бэкон сделал шаг к кровати.

— Дело зашло так далеко, — сказал он, понижая голос, — что в театре "Глобус", принадлежащем известным вам актерам, Ричарду Бербеджу и Вильяму Шекспиру, заказана возмутительная пьеса "Ричард II". Она должна идти в то время, когда мятежники выйдут на улицу к черни.

Мэри Фиттон увидела, как у королевы дрогнули губы. Он еще не кончил, а она уже сидела на кровати, сухая, вытянутая, жесткая, совсем не такая, как на портретах. Тонкие губы ее были сжаты, и она смотрела на сэра Френсиса. Имя Ричарда II, недостойного, но законного короля, свергнутого с престола и потом заморенного голодом в тюрьме, было не в ходу при дворе. Как-то так получилось само собой: говорят Ричард II, а понимается Елизавета. Фиттон видела, что только сейчас королева начинала понимать, как серьезно обстоит дело: вот, даже народ вовлекается в эту авантюру. Ведь именно этого они и хотят достигнуть представлением этой старой трагедии.

— Так что же это все значит, сэр Френсис? — спросила королева, понимая уже все.

Он слегка пожал плечами.

— Это ясно. Они хотят поднять чернь. Для этого им и нужна эта старая пьеса о свержении монарха. Мне передавали такой разговор. Лей сказал

Эссексу: "Что вы теряете время, вот во Франции герцог Гиз в одном белье, крича, пробежал по улицам Парижа. Но он обратился к черни, и через день король должен был бежать, в одежде монаха. Но у Гиза было восемь человек, а у вас триста. Народ вас любит. Я отвечаю за все. Будьте только смелее".

— А кто этот Лей? — спросила королева.

— Капитан ирландской гвардии графа, который и сейчас находится при нем. Его верный пес, — значительно ответил сэр Френсис.

— Черт! — Королева сильным жестким кулаком стукнула по подушке. — Значит, у него есть уже и войска. Что же вы молчите?

— Ваше величество, — серьезно и даже строго сказал Френсис, не отвечая на вопрос. — Я клялся перед всевышним на верность моей королеве, и вот я теперь говорю — медлить нельзя! Медлить нельзя!

Помолчали.

— А этот актер, Шекспир, он знает, зачем ему заказана постановка?

Сэр Френсис добросовестно подумал или, вернее, сделал такой вид.

— Ну, а об этом мы можем гадать, ваше величество, — сказал он очень резонно. — Но скажем так: этот актер — дворянин. Дворянством своим обязан только графу, пишет какие-то довольно ходовые, любовные пьесы по итальянскому образцу — все любовь, дуэль — профанам это нравится больше, чем Сенека, и вот он состоит под особым покровительством Эссекса; падение графа ему очень неприятно. Ну, кто же знает, может, они и посвящены в самое главное?

Королева обернулась к Фиттон.

— Вот, это все ваша высокая протекция, — сказала она недовольно.

Тут уж Фиттон по-настоящему удивилась.

Никакого отношения она к устройству придворных праздников не имела. Откуда королева знает о ее былой близости с Шекспиром? Только видела разве, как они разговаривали, но если об этом идет разговор, то с их последней встречи прошло уже сто лет. Она наклонила голову.

— Простите, ваше величество.

Но королева на нее уже и не смотрела. Она только слегка кивнула ей головой. Сказала резко:

— Представление прекратить! Актеров в тюрьму.

— И графа туда же? — быстро спросил сэр Френсис.

Королева только секунду помедлила с ответом. Но в эту секунду, поглядев на ее жестко сомкнутые, неподвижные, почти геральдические черты, Фиттон решила: нет, не помирится. Уже кончено все.

— А Эссекса я трогать не буду. Я вас пошлю к нему, сэр, — неожиданно сказала королева. — Да, да. Вас, вас! Его друга и постоянного заступника.

— Тут я осмелюсь противоречить вашему величеству, — со скромным достоинством возразил Френсис, — я никогда не покровительствовал бунтовщикам.

— Вас, вас и пошлю! — не слушая, раздраженно повысила голос королева. — Раньше он мне не давал покоя из-за вас, теперь вы, сэр, не даете мне покоя из-за него. Вы пойдете к нему и скажете... — Она все выше и выше поднималась на кро-

вати, голос ее крепчал, — что я требую! — она ударила молитвенником по подушке, — немедленно прекратить все эти сборища и не вербовать всякую сволочь. Недоволен он? Так пусть ждет. Когда поостынет мой гнев, я сама поговорю с ним! Хочу я посмотреть, что он мне тогда ответит?

Она раздраженно отбросила молитвенник и даже не заметила этого.

— Мне можно идти, ваше величество? — спросил сэр Френсис, отступая к дверям.

Королева молчала. Потом сказала:

— Идите, — и махнула рукой.

Он был уже на пороге, когда она окликнула его.

— Стойте! Никуда не идти! Я скажу, когда и что надо будет сделать.

— Слушаюсь, ваше величество, — поклонился сэр Френсис.

И, помолчав, осторожно спросил:

— А что же актеры?

— И актеров не трогать. Я хочу посмотреть, чем все это кончится. Только за этими, двумя, Шекспиром и Бербеджем, установить надзор. Проследить, не будут ли они встречаться с графом.

Она помолчала и сказала гулко, будто выпалила:

— Идите, сэр!

* * *

Сэр Френсис ушел. Королева поглядела на Фиттон.

— Мэри! — сказала она вдруг надрывно и нежно.

Фиттон подошла к ней быстрыми маленькими шагами, опустилась на колени и, целуя руки, уткнулась лицом в блестящее, шелковое одеяло. Она услышала запах уксуса, потом каких-то тяжелых, томительных духов, и было такое кратчайшее, но ужасное мгновенье, когда ей показалось, что она целует руки покойницы. Везде стоял тонкий, острый, похожий на аромат гиацинтов, запах гнили.

Королева положила на голову Фиттон сухую, твердую руку и провела по волосам.

— Старая, бесплодная ветвь, — горько сказала она о себе. — Так я и засохну вместе со своей династией. Все возьмет сын этой распутницы.

Это она говорила о Марии Стюарт и о сыне ее Иакове V, которому она хотела завещать свой престол. И Фиттон стало ясно: королеве действительно очень плохо, если она вспоминает о них.

— Ваше величество, — сказала Фиттон растерянно и, плача, стала порывисто целовать ее руки, — разрешите тогда и мне покинуть эту несчастную землю вместе с моей повелительницей?

Жесткие сильные руки, с длинными, почти птичьими ногтями поползли по ее голове и остановились на висках. Королева подняла голову фрейлины и глубоко заглянула в ее черные, чуть матовые глаза.

— Нет, мой кудрявый мальчик, вы будете жить. Вы узнаете еще много горя и счастья, и когда ваша старая монархиня отойдет к Господу... — Мимоходом она все-таки взглянула на себя в зеркало — эта фигура старой, умирающей королевы, которая гладит по волосам коленопреклоненную красавицу, была черезвычайно эффектна, и Мэри

сразу же заметила этот взгляд, оценила положение и приникла к ее коленям.

— Не верьте людям, — сказала королева торжественно и твердо. — Вот, посмотрите на этого джентльмена. Граф за уши вытащил его из ничтожества, он дарил этому псу земли и дворцы, это на его деньги он сейчас живет, он ни днем, ни ночью не давал мне покоя, все время твердя об этом борове, (королева, несмотря на свою редкую ученость, любила крепкие словечки), — а теперь этот ученый муж — самая лучшая голова Англии, так называл его граф, — сам же его и топит.

Мэри молчала. Она вдруг подумала: нет, Эссекс еще выплывет. И кто знает, как повернется тогда дело?

На всякий случай она сказала:

— Ваше величество так добры, что и сейчас заступаетесь за виновного.

— Да, да, — сказала королева. — Да, да, вот вам слабое женское сердце. А находятся же люди, которые говорят, что их королева никогда не знала любви. Как это написал твой Шекспир?

Леди Фиттон подняла голову. Лицо ее пылало, а по щекам текли слезы. Грудным, гибким голосом, который казался таким же матовым и смуглым, как ее кожа, она прочла:

Клятвою своею
Сокровище лишает целый свет.
Измученная пыткою голодной,
Для мира сгинет красота бесплодной
И красоты лишит грядущие века!
Да! Хороша она и высока,
Высоко-хороша! Святыни, поклоненья
Достойная! Увы! На горе и мученье

Она дала обет ни разу не любить.

— Нет, к сожаленью, не так, — сказала королева,— не так, не так, не так. Я женщина, и я люблю. А он торгует моей любовью и моим престолом. Он сносится с сыном этой распутной мужеубийцы и хочет при моей жизни отдать ему престол, а меня придушить, как крысу в подполье. Как этого Ричарда, пьесу которого ставит твой негодяй комедиант.

Она действительно походила на летучую мышь, в своих длинных, черных одеждах. Глаза ее были печальны. "Сейчас самый раз," — подумала Фиттон и вынула письмо.

— Ваше величество, есть люди, которые ставят вашу красоту превыше всего. Разрешите мне прочесть.

— Дитя, дитя, — сказала королева, снисходительно улыбаясь. — Что вы в этом понимаете? Я так его любила, а теперь он... Ах, как же он будет каяться и плакать, каяться и плакать, — добавила она медленно и плотоядно, — но тогда ему уже ничего не поможет. — Она покачала головой. — Читай письмо.

Фиттон стала читать.

Королева сидела неподвижно, положив на колени широкие кисти рук, которые приобрели уже жестокость и отточенность когтей хищной птицы.

Фиттон она будто не слушала. И только раз подняла голову.

— Постой! Как хорошо он пишет, — сказал она медленно.

"Прекрасная красота ее величества являеся единственным солнцем, освещающим мой малень-

кий мирок". Ах, как хорошо это сказано! Это Пемброк, конечно?

Фиттон кивнула головой.

— Когда это все кончится, ты приведешь его сюда. Слышишь?

— Слышу, ваше величество, — сказала Фиттон и положила письмо на кровать.

Ей надо было торопиться. Сегодня будет представление, надо же предупредить Шекспира. Пусть сейчас же уезжает из Лондона.

ГРАФ ЭССЕКС

"Меланхолия и веселость владеют мной попеременно; иногда я чувствую себя счастливым, но чаще я угрюм; время, в которое мы живем, непостояннее женщины, плачевнее старости; оно производит и людей, подобных себе: деспотичных, изменчивых, несчастных; о себе скажу, что я без гордости встретил бы всякое счастье, так как оно было бы простой игрой случая, и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как мы сами ее принимаем".

(Из письма Эссекса к леди Рич.)

В замке было много комнат — и огромных, и малых, и даже несколько зал. Одна, что поменьше, — для фехтования, другие, очень большие, для пиршеств и иных надобностей. Эссекс засел в самой маленькой, удаленной от всего каморке — почти под самой крышей — и с утра никуда из нее не показывался. В фехтовальной зале (там и собрались все заговорщики) передавали, что он все время сидит и пишет, но вот кто-то зашел к нему и увидел: что Эссекс написал, то он и изорвал тут же. Вся комната была усыпана как будто снежными хлопьями, а сам он ходил по ним, хмурился и думал, думал. А так как думать сейчас было уже не о чем, то внизу встревожились и пошли посмотреть; остановились около двери, послушали — шаги за дверью звучали не отчетливо-мелко и звонко, как всегда, а падали медленные, мягкие, очень утомленные. О чем он думает? Говорят — пишет письмо королеве — требует объяснения. Да полно — письмо ли он пишет? Не завещание ли составляет?

В общем, в фехтовальной зале было очень мрачно и тяжело, и никак не помогало то, что заговорщики зажгли все свечи. Разговоры не вязались, ибо каждый думал о своем. Но свое-то у всех было одно, общее для каждого, и если до этой проклятой мышеловки об этом своем можно было говорить долго, красочно и интересно, то теперь оно уменьшилось до того, что свободно укладывалось в короткое слово "конец".

— Конец, — сказал граф Блонд и тяжело встал с кресла. Все молчали, он пояснил: — Так и не показывается из комнаты, еще утром я надеялся на него, а сейчас...

Он подумал, усмехнулся чему-то и, словно недоумевая слегка, развел полными, почти женскими кистями рук с толстыми белыми пальцами.

В большом зале было сыро, от света больших бронзовых подсвечников на полу наплывали прозрачные пятна и целые озера света, но и через них, бог знает откуда струилась та уверенная безнадежность, которую один Блонд принимал так полно, ясно и спокойно, что, казалось, иного ему и не требовалось.

Он прошелся по залу, поправил перевязь шпаги (все были подтянуто и подчеркнуто одеты, как на парад) и вдруг, словно вспомнив что-то, спросил:

— А актеры не приходили?

Ему сказали, что один пришел и его провели наверх, к графу. То, что актер все-таки пришел, было таким пустяком, о котором и говорить-то серьезно не следовало, но Блонд вдруг оживился.

— Вот как, — сказал он бодро, — и не испугался! Ай да актер! Как же его зовут?

Ему ответил начальник личной стражи графа — высокий, костлявый ирландец с красиво подстриженной бородой и быстрыми, стального цвета, пронзительными глазами.

— Кто он — не знаю, фамилию он сказал, да я забыл. Кажется, что-то вроде Шекспира. Но молодец! Так стучал и требовал, чтобы его провели к самому графу, что я подумал — не иначе как из дворца.

— Если это Шекспир, то он, верно, может кое-что знать,— сообразил Рютленд, едва ли не самый молодой из заговорщиков. — Он все время трется около Пемброка, а этот гаденыш уже ползет на брюхе в королевскую спальню.

— Вот как, — удивился Блонд, хотя он знал, конечно, много больше Рютленда. — Интересно!

— Да, этот время не теряет, — ответили ему сразу несколько голосов, — теперь Пемброк обрадовался, нанял всех стихоплетов, и они сидят и строчат любовные сонетки.

— И все равно не пролезет! — вдруг разом зло ощерился Блонд. — Ее величество помнит историю с этой цыганкой! Граф! Хорош граф! При покойном короле Генрихе VIII (да будет благословенна его память!) их бы обоих выгнали воловьими бичами из города.

— А теперь она при дворе! — времена переменились.

— Что говорить — был бы этот великий государь жив, и мы не собирались бы тут, — вздохнул Рютленд; он был высоким, длинным, светловолосым молодым человеком. До сих пор он тихо сидел в кресле и о чем-то думал, а теперь вдруг встал.

— Пойду к графу, — сказал он на ходу, — посмотрю на этого актера.

Он вышел.

Граф Блонд прошелся по зале.

— Нет, любопытно, любопытно, — сказал он задумчиво и заинтересованно, — весьма, знаете ли, любопытно. А значит, он все-таки пришел! Не побоялся! Молодец! Если в толпе найдется хотя бы сотня таких...

Он остановился среди залы, посмотрел на свои руки и докончил:

— ...сотня хороших горланов из черни, дело может пойти совсем-совсем иначе. Это великая сила — чернь! Скажите, пожалуйста, все-таки при-

шел. Нет, как хотите, но это очень-очень хорошо!...

Шекспир вошел и осмотрелся.

Говорили, граф ходит, а он не ходил, он сидел и писал. Только когда они вошли — он и начальник охраны, — граф поднял на минуту голову и кивнул Лею, отпуская его.

Лей вышел.

Шекспир к столу не подошел, а остался стоять около двери. Эссекс все писал и писал, низко наклонив голову. Его рука безостановочно, хотя и не быстро, шла по бумаге. Только раз, когда Шекспир отодвинул мешающий ему стул, он поднял глаза, посмотрел и улыбнулся так, что только слегка наморщилась одна щека. Это значило — пусть Шекспир обождет: он рад ему.

— Так как с Ричардом II? — спросил Эссекс через полминуты, не отрываясь от бумаги.

— Как вы приказали, — ответил покорно Шекспир, — я уже снял "Ромео".

Он стоял около стены, заложив руки за спину.

— Деньги вам заплатят сегодня же, — сказал вдруг Эссекс. —Десять фунтов. Я уже дал распоряжение моему казначею.

— Благодарю вас, ваша светлость, — серьезно ответил Шекспир.

Продолжая писать, Эссекс коротко кивнул ему головой. Потом, кончив страницу, оторвался от бумаги, посмотрел на Шекспира и улыбнулся широко и открыто.

— А вы садитесь, мистер Вильям, сейчас я кончу, и тогда... Одну минуту! — Он продолжал писать. Шекспир сел на стул, вынул платок и обтер влажный лоб. Он был высоким, тучным, но

любил ходить быстро и потому летом изрядно потел.

В эти же дни он сильно волновался, но ему не хотелось, чтобы кто-нибудь заметил это. Вот сейчас Эссекс сказал:

— Мы вам заплатим, — и он спокойно и очень деловито ответил, что очень хорошо, если заплатят: деньги театру нужны — все так, как будто ничего не произошло, и он ничего не подозревает. Этого тона и следует держаться. Было темновато. Пучок свечей — в бронзовых, узорных канделябрах с итальянскими хитрыми грифонами освещал только стол, русые волосы графа и желтую кипу бумаг. Граф был одет очень просто — в черный костюм с широким поясом. На столе поверх кипы стояла высокая чаша, сделанная из продолговатого страусового яйца и по ней тоже вились строченой серебряной чернью пальмовые листья, виноградные гроздья и какие-то плоды.

"Как череп среди бумаг", — медленно подумал Шекспир о чаше. Он уже успокоился. Было в этой обстановке, в набросанных бумагах, склоненной голове спокойно пишущего и обреченного человека, в его скромной, черной, совсем простой одежде что-то такое, что наводило на мысль не о восстании и гибели, а о другом — спокойном, глубоком и очень удаленном от всего, что происходит на дворе и в фехтовальном зале.

Так, при взгляде на бумаги, ему почему-то вдруг вспомнились и его бумаги, и его незаконченная трагедия, та самая, что вторую неделю валяется на столе и никак к ней не может он подступиться. Первую сцену он написал сразу, а потом заело, и теперь не пишется. То была свирепая история о датском принце и о том, как он зарезал подосланного к нему шпиона; кровь спустил,

а тело сварил и выбросил свиньям. Принц притворялся безумным для того, чтобы можно было безнаказанно убивать своих врагов, а может быть, и верно был сумасшедшим, ибо он обладал даром пророчества. Разобраться было трудно, и он не знал, что надо было делать с таким героем. Непонятно, как старый, опытный хронограф мог им восхищаться. А пьеса должна была быть доходной, ибо в ней были и духи, и дуэли, и отравление, и убийство преступного отчима, и поджог замка, и даже такая диковинка, как театр в театре. Сейчас он думал, что пылкому и веселому Ричарду Бербеджу очень трудно придется в этой роли, отцеубийцы и поджигателя. Но что делать? Именно такие пьесы и любит публика. Надо, надо найти ключ к герою — понять, кто же он есть на самом деле, объяснить его поступки.

Он смотрел на Эссекса.

Эссекс вдруг бросил перо и встал.

— Ну, все, — сказал он с коротким вздохом. — Готово! — Он слегка махнул рукой. — А как ваша новая датская хроника, сэр? — Он особенно выделил это слово "сэр", ведь именно ему был обязан Шекспир своим дворянством.

— Пишу, — ответил Шекспир, присматриваясь к бледному лицу графа, с которого глядели на него быстрые, беспощадные глаза. — Все пишу и пишу.

— Ах, значит, не удается? — весело спросил Эссекс.— Ну, ничего, ничего. Вы молодец! Я всегда любил смотреть ваши трагедии. А эта хроника — ведь она о цареубийстве, кажется? А? Года два тому назад шла в вашем театре трагедия об том же Гамлете. Так ведь и вы пишете об этом? Так, что ли?

— Так, — сказал Шекспир.

— "Гамлет, отомсти!" — вдруг вспомнил Эссекс и засмеялся. — Вот все, что я запомнил.— Он подумал. —Два года, говорю? Нет, много раньше. И шла она не у вас, а у Генсло. Там, помню, выходил на сцену здоровенный верзила в белых простынях и эдак жалобно скулил: "Отомсти!" Словно устриц продавал. Дети плакали, а было смешно.

Драпировка у двери заколебалась, и вошел Рютленд.

Эссекс повернулся к нему.

— Вот мистер Вильям зовет нас к себе в "Глобус", — сказал он весело. — Обещает скоро кончить свою трагедию. Пойдем, а?

Рютленд сухо пожал плечами.

— Нет, пойдем, обязательно пойдем, — засмеялся Эссекс. — Правда? — Он подошел к Рютленду и положил ему руку на плечо. — Ну, так как же наши дела?

— Мы ждем, когда вы кончите писать, — сдержанно ответил Рютленд.

— Ничего, ничего, — ответил Эссекс, не желая понимать его тон. — Только вы не вешайте голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое посмотрим! "Гамлет, отомсти!" — вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным, и губы у него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. — "Отомсти за меня, мой Гамлет!" Как жалко, — обратился он к Шекспиру, — что завтра в вашем "Ричарде II" не будет таких слов.

— А они были бы нужны? — вдруг очень прямо спросил Шекспир.

— Очень нужны. Ах, как они были бы нужны мне завтра!

Рютленд нахмурился — его друг болтал, как пьяный. Он никогда не мог понять близость Эссекса к актерам, зачем граф так любит проводить с ними столько времени? Что ему от них нужно? Разве компания ему эта голоштанная команда? Конечно, что говорить, театр — вещь отличная. Он сам мог неделями не вылезать из него. Только менялись бы почаще постановки. Но одно дело актер на сцене, когда он наденет королевские одежды и копирует великого монарха, а другое дело, когда он пришел к тебе, как к равному, да и развалился нахал нахалом в кресле. Что ему нужно? За подачкой пришел? Так дай ему, и пусть он уходит. Да еще, добро, актер бы был порядочный, а то актер-то такой, что хорошего слова не стоит. Вот верно говорит Эссекс: "Гамлет, отомсти!" Дальше-то этого ему и не пойти. Играет тень старого Гамлета в чужой трагедии, а своего "Гамлета" напишет и все равно дальше тени не пойдет. Вот какой он актер! А к тому же выжига и плут первой степени. Деньги дает в рост под проценты, скупает и продает солод, земельными участками торгует, дома закладывает. На все руки мастер, этот актер, только вот жаль — играть порядочно не умеет. Слуги да призраки — и все его роли. Дворянство ему достали, так теперь он и рад стараться, лезет в дом и руку сует: "сэр Шекспир". Он угрюмо посмотрел на Эссекса. Тот сразу же понял его взгляд.

— Я сейчас сойду вниз! — сказал он мирно. — Только поговорю с сэром Вильямом о завтрашнем представлении.

Рютленд повернулся, пожал плечами и вышел из комнаты. Эссекс подождал, пока занавес на

двери перестал колыхаться, и подошел к Шекспиру.

— Вот, мистер Вильям, какое дело-то, — сказал он. — Приходится обращаться к вам... Опасное это дело для вас, но...что же возьмешь с актера! Пьеса ведь разрешена. — Он вдруг горько усмехнулся. — Да, дорогой завоеватель Кадикса, усмиритель Ирландии — и обращается к черни! Ну и что же — ладно! Я довольно жил и всего навидался. Да! И хорошее, и плохое! Все, все видел, — он говорил теперь медленно, вдумываясь в каждое слово. — Я солдат, милый Вильям, а английские солдаты что-то сейчас не любят умирать в постели. Даже и в королевской!

Он поднял голову, посмотрел на Шекспира и вдруг по одному тому, как граф медленно и сонно опускает и поднимает веки, Шекспир понял, как страшно устал этот человек, как ему все надоело, все раздражает и хочется только одного, чтобы, наконец, все кончилось и он спокойно мог лечь и выспаться.

— Пусть, пусть, — сказал вдруг Эссекс громко и запальчиво, но так, словно говорил сам с собой. — Я прожил довольно, чтобы узнать, что на свете нет ни плохого, ни хорошего. Все тень от тени, игра случая. Меняется только мое отношение! Люблю я женщину — она хороша, надоела мне — она уродка. Вот и шестидесятилетняя ведьма тоже мне казалась красавицей, и даже вы ведь для нее мне стихотворение писали.

Он заглянул в глаза Шекспира.

— "Да, нет ни зла, ни блага, все хорошо, когда оно приходит вовремя" — это ваши слова, сэр Вильям, — он подумал — все благо! — и повторил медленно: — Ну, ладно, а смерть — путешествие

туда, откуда никто не возвращается. Что же оно, всегда зло, как вы думаете?

— Зло, — ответил Шекспир уверенно, — всегда зло.

— Вы так любите жизнь?

— Я люблю жизнь.

— Как будто бы?! — прищурился Эссекс. — А вот я знаю, вы хотели покончить с собой, когда от вас ушла ваша цыганка, даже сонет написали, прощальный, чтоб оставить потом его на столе. Последнее время я все тверже его. Нет, нет, не оправдывайтесь, я знаю это. И все-таки вы говорите, что жизнь всегда благо? — Шекспир молчал. — Ну, хорошо — пусть будет так, а вот мне надоело, и не спрашивайте что, ибо все, все мне надоело. Дворец, сплетни, интриги, злая, лживая, рыжая ведьма, что вертит государством, этот мой подлый друг, лорд Бэкон в золотых штанах, которого я, если бы остался в живых, вздернул на флюгере моего замка так, чтобы его сразу увидел весь Лондон, — эта ваша чертова возлюбленная, которая, как мне доподлинно известно, подсовывает в мою постель своего недоразвитого еще любовника, этот парламент, который стоит не больше, чем та сволота, и которую я хочу завтра натравить на дворец, э! — да все мне надоело, все, все, — вот она — дряхлость мира. Я радуюсь, что, наконец, все это кончается. Уж два года, как бог отвернул от меня свое лицо. А помните, как вы когда-то приветствовали меня в прологе к "Генриху V"?

— Я и сейчас скажу — вы любимец господа, ваша светлость, — робко возразил Шекспир.

— А я вам говорю, — вдруг запальчиво крикнул Эссекс и злобно стукнул кулаком об стол, — я вам говорю, господь забыл меня! Да, впрочем, нет,

он никогда не помнил обо мне. Молчите, молчите, — приказал он быстро и суеверно, — ибо что вы обо мне знаете? Когда я еще был мальчишкой, моя матушка отравила моего отца по научению своего любовника, а он уже в то время был еще и любовником королевы, — он подумал и гадливо поморщился. — Той самой королевы, которая через двадцать лет стала и моей любовницей. Тьфу, гадость! — его лицо снова передернулось. —А правду о смерти отца я узнал, когда об этом шептался весь дворец, но не нашлось никого, кто бы мне крикнул тогда: "Гамлет, отомсти!" Только раз королева в тихую минуту вдруг вкрадчиво спросила, любил ли я свою мать.

— А вы не любите ее? — тихо спросил Шекспир.

— Мою мать? Любил ли? — Эссекс неподвижно прямо смотрел на него. — Это была страшная женщина, Вильям, —сказал он совершенно спокойно. — Нет, нет, не так я говорю! Не страшная, а, наоборот, постоянно ласковая и благосклонная, с вечной улыбкой, такой доброй, сочувственной и всепонимающей. И вы знаете, она не лгала, она действительно была такой, и в то же время, ей-богу, я не знаю, пожалела ли она кого-нибудь хоть раз в своей жизни, а уж правду-то никогда не говорила, хотя и врала, если разобраться, совсем немного. — Его вдруг опять передернуло. — Я помню первые три ночи после смерти отца. Она приходила ко мне, и лицо ее пылало от слез. "Мой сын,— говорила она мне и клала голову на руку. — Мой взрослый, умный сын", а труп отца лежал в гробу, обряженный и готовый к погребению, а я ничего не знал, но смотрел на нее и думал: вот она отняла у меня все, все мое детство, всю мою

жизнь, все мои радости. После этих трех ночей я как-то сразу стал взрослым. Э, да что говорить...

— Ну, — сказал Шекспир, — разве можно так унывать?

Эссекс резко махнул рукой.

— Нет. Все равно, — сказал он, — мне все равно не жить среди этой веселой сволочи... Если уж Пемброк залез во дворец, мне пора уходить... Вот я все время твержу один ваш сонет, хоть он и написан не для меня, а для него... — И он прочел громко и отчетливо:

Зову я смерть.
Мне видеть невтрпеж
Достоинство, просящим подаяньи,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И произвольной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью слывет,
И глупость в маске мудреца-пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И добродетель в рабстве у порока,
Все мерзостно, что вижу я вокруг...

Дверь быстро отворилась, и, взметывая ковры, вошел Рютленд.

— Комиссар от королевы, — сказал он, — вам нужно сейчас спуститься... я сам расплачусь с мистером Шекспиром.

Эссекс кивнул головой и пошел было из комнаты, но потом вдруг вернулся, подошел к Шекспиру и положил ему на плечи обе руки.

— Прощайте, — сказал он очень сердечно, — иду! Слышите, как они орут! Этак они, пожалуй, с перепугу выбросят всех из окна. До того растерялись, что готовы хоть сейчас пойти на штурм. Но вот что я хотел сказать; когда вы напишете, наконец, свою датскую хронику... — Он вдруг приостановился, вспоминая.

— Что? — спросил Шекспир, подступая к нему.

Рютленд стоял между ними и тянул за руку Эссекса.

— Одну минуточку, — сказал Эссекс. — Да... так что же я хотел сказать? — Он опустил голову и добросовестно подумал. — Что я хотел сказать такое? Датская хроника?.. Да нет, при чем она тут?..Ах, вот что, пожалуй... Когда вы... — Снизу снова раздались крики, громкие, несогласованные, яростные.

— Слышите? — тревожным шепотом крикнул Рютленд.

— Ну, ну, говорите! — сказал Шекспир почти умоляюще. — Что же?

Эссекс посмотрел ему прямо в лицо.

—Нет, забыл! — сказал он кротко и твердо. — Совсем забыл! Хотел что-то и не помню. Ну, идите, идите. Теперь со мной быть опасно. Рютленд расплатится, а Лей проводит вас через двор, так, чтобы никто не видел. Идемте, Рютленд.

И он быстро вышел.

После Шекспир стоял на каменных плитах двора и думал:

"Значит, так, в театре пойдет возобновленный "Ричард II". Он сейчас же пойдет в театр, скажет, что получил все деньги и "Ромео" надо снять. По-

том он вернется домой и будет ждать, что произойдет. Сядет писать "Гамлета". Ну, а что же будет, когда он окончит его?"

Он обернулся и посмотрел на окна замка. Хлопнули тяжелые литые ставни, окна растворились совсем настежь и снова со звоном захлопнулись. На мгновенье стал виден испуганный королевский посланник и группа людей, которая, крича, теснила его к окну. Потом кто-то крикнул громко и повелительно: "Стойте!" — и сразу стало так тихо, что Шекспир услышал свое резкое и жесткое дыхание. Прямой и стройный Эссекс стоял в нише окна, как в картинной раме. Посланник королевы склонился перед ним и что-то говорил.

"Пожалуй, я никогда не допишу "Гамлета", — обостренно думал Шекспир, смотря на Эссекса, — но "Ричарда III" я должен поставить. Ну, а что же потом?"

"ГАМЛЕТ, ОТОМСТИ!"

"Граф Эссекс" — одна из глав книги Ю. Домбровского "Смуглая леди", которая не вошла в основной текст. Домбровский подарил эту неопубликованную главу Г.Анисимову со словами: возьми, старик, на память и никогда не печатай!

На вопрос, почему он решил не включать эту прекрасную новеллу в книгу, Домбровский ответил: по той самой причине, по которой Пушкин не включил в основной текст "Онегина" именно те строфы, которые часто много лучше тех, что мы знаем с детства ,— и все же они остались только в черновиках...

История создания "Смуглой леди" такова. После внезапного досрочного освобождения из лагеря зимой 1943 года /"выбросили по актировке за ворота"/ Юрий Домбровский доехал до Алма-Аты, где зарабатывал дневное пропитание разными способами — работал сценаристом на фабрике, преподавал в киношколе, вел курс по Шекспиру в студии театра, редактировал и переводил. Одиннадцать лекций он посвятил Гамлету, не пользуясь никакими записями или конспектами.

Друг Домбровского по Алма-Ате Лев Варшавский вспоминал:"Мне посчастливилось наблюдать за тем, каким титаническим трудом создавалась книга о Шекс-

пире "Смуглая леди". Юрий Домбровский писал, прикованный болезнью к постели; я едва успевал снабжать его литературой, любезно предоставленной библиотеками Алма-Аты или присылаемой из Москвы и Ленинграда. В этой работе Домбровский показал себя не только талантливым художником слова, но и кропотливым исследователем, историком" /Л.Варшавский, Простор, 4 ,1984/.

О рождении Гамлета, о черной даме, о сонетах, об Эссексе и Елизавете писал Домбровский, который только что освободился из лагеря. У него отнялись ноги в результате двух отсидок в карцере. Создав книгу о Шекспире, Юрий Домбровский совершил писательский и гражданский подвиг. Его книга получила положительные отзывы крупнейших советских шекспироведов М.Морозова и А.Аникста, снискала похвалы у маститых и невозмутимых исследователей творчества Шекспира в Англии, которых потрясла глубина погружения русского прозаика в елизаветинский мир.

Не так давно из рук литературоведа Иосифа Вайнберга мы получили пленку с записью голоса Юры Домбровского — он читает стихи, сидит за дружеским столом, рассуждает неспешно о Христе, Пилате, Сенеке. И таким теплом присутствия нашего дорогого Домбровского рядом с нами повеяло, что сердце сжалось. И этот живой трепетный голос, который нельзя ни за что спутать ни с каким другим, словно повел нас в прошлые годы, в Алма-Ату и поведал о судьбе Домбровского, который, оказывается, еще не все круги прошел: чижа захлопнула злодейка-западня! — так он сам горько пошутил в письме к Л.Варпаховскому. "Юродствующим богемщиком" назвали Домбровского в "Правде", а Ирина Стрелкова, как говорил Домбровский, выпрыгивала из юбки, чтобы доказать, что вот этот самый Домбровский и есть ярый антисоветчик. И снова спецлаг, Тайшет, два письма в году и прочие маленькие радости.

От судьбы писателя вернемся к его "Смуглой леди", к его повестям о Шекспире. Сам Домбровский называл их то повестями, то новеллами. И мы думаем, что он не ошибался в определении жанра.

Новелла всегда имеет остро обозначенный сюжет с непременной неожиданной концовкой. В новелле есть движение сюжета, интрига, тогда как повесть может быть и бессюжетной, но с каким-то обязательным объемом внутреннего психологического и жизненного содержания. В этом смысле вещи Домбровского трудно обозначить со всей определенностью.

Когда-то поэт Олег Чухонцев заметил, что в новеллах Домбровского, составляющих "Смуглую леди", ему все время кажется, что Домбровский рассказывает о Шекспире, а подразумевает самого себя. "Очень его Шекспир похож на самого Юру!" — Чухонцев считает, что тут есть некий перебор. Мы так не думаем. Ко-

нечно, проекция на Шекспира своего понимания жизни у Домбровского существует. Проекция о предназначении человека, о творчестве, о смысле бытия. И что в этом плохого?

Что из ряда вон выходящего за рамки классической художественной литературы? Весь вопрос, как и какими средствами писатель воссоздает модели человека елизаветинской эпохи, модель Шекспира, как достигает подлинности и убедительности образа.

Самостоятельность и оригинальность мышления была в высшей степени присуща Домбровскому. Многое вмещал в себя этот человек, добрый сердцем и наделенный могучим творческим умом и непреклонной твердостью принципов.

"Последним классиком" называл Домбровского Жан-Поль Сартр. В человеке Юрий Домбровский выше всего ценил ясность, цельность, искренность. Фальшь он чуял за версту. И потому любую моральную проблему — и в жизни, и в литературе — Домбровский ставил четко, прямо, недвусмысленно. Он не предлагал готовых решений, годных на все случаи жизни. Теперь, может быть, понятней, почему Шекспир так заметно смахивает на Домбровского. У них было много общего: сила чувства, удивительное чутье, огромный житейский опыт, убежденность, что большая часть коллизий между долгом и совестью остается неразрешимой. У них были чистые души! Живи Шекспир в наше время, они могли бы разделить с Домбровским лагерную пайку. Бедного Вильяма за милую душу замели бы по пятьдесят восьмой статье, нужный матерьялчик с удовольствием представили бы советские пьесоделы.

Вернемся, однако, к графу Эссексу

Да кто ж его толкал к старухе в спальню? Красавец, умница, герой, граф Эссекс пишет прощальное, все разъясняющее, ставящее точки над множественными "и", письмо своей царственной любовнице, королеве Англии. Он пишет его, сидя почти под самой крышей замка, в маленькой каморке, а внизу, в фехтовальной зале, как в захлопнувшейся мышеловке, сгрудились все его друзья-заговорщики и над ними витает произнесенное графом Блондом коротенькое слово "конец"... Потому что смерть Эссекса, что вот-вот постучится в двери замка, это — их смерть и окончательная погибель.

В этом коротеньком, на пятнадцать машинописных страниц, отрывке из "Смуглой леди" Юрия Домбровского, варианте, исключенном автором из повести, никаких заметных событий не происходит, дел не случается, речей взволнованных, соответственных моменту, никто не произносит. Наверху строчит и рвет бумаги граф Эссекс, восставший против дворца , вступивший в схватку со своей семидесятилетней любовницей, внизу — молчат заговорщики, изредка

обмениваясь незначащими репликами, да вот еще — пришел к графу навестить какой-то актеришка (Шекспир или Шекспир, уточняют меж собой заговорщики). Шекспир поднимается к графу. Между ними происходит незначительный, внешне пустой разговор о предстоящей постановке "Ричарда II". Затем Эссекс покидает актера, торопясь на встречу с посланцем королевы, ее комиссаром. Вот, пожалуй, и все, да еще несколько минут шекспировских размышлений о неотложных делах в театре.

А содержание Эссексова письма мы здесь так и не узнаем.

Выходит, бедность какая-то информационная, ничто не объяснено, не показано, не рассказано. Будто автор не только концы интриги, но и все нити ее спрятал от читателя. Репортерская зарисовка, ремарки к пьесе, а не сама пьеса.

Откуда же тогда это острое, болезненное напряжение? Ведь крик отчаяния и боли рвется с каждой страницы, строчки оплывают кровавыми слезами разочарования, и везде — глухая полная безнадежность...

"Все мерзостно, что вижу я вокруг..."

Да нет же, нет! Все сказано автором, все объяснено — и сделано это жестко, точно и умно! И смотрите, как всего много и про каждого сказано — свое.

Вот центральный персонаж (хотя еще как сказать — центральный?) отважный граф Эссекс, завоеватель Кадикса, усмиритель Ирландии, фаворит королевы Елизаветы, вот что он писал к леди Рич: "...и нисколько бы не упал духом ни при каком несчастье, которое постигло бы меня, ибо я убежден, что всякая участь хороша или дурна, смотря по тому, как мы сами ее принимаем".

А вот он в сцене с Шекспиром:

"— Ничего, ничего, — ответил Эссекс, не желая понимать его тон. — Только вы не вешайте голову. Мы еще поживем, еще посмотрим хронику нашего друга! Мы еще многое посмотрим! "Гамлет отомсти!" — вдруг прокричал он голосом тонким и протяжным , и губы у него жалко дрогнули, а глаза по-прежнему смеялись. — "Отомсти за меня, мой Гамлет!" Как жалко, — обратился он к Шекспиру, — что завтра в вашем "Ричарде II" не будет таких слов.

— А они были бы нужны? — вдруг очень прямо спросил Шекспир.

— Очень нужны. Ах, как они были бы нужны мне завтра!"

И все ясно: сломался граф, не выстоял под натиском судьбы. Он еще держится, но духом — пал, хотя "глаза по-прежнему смеялись". Это кульминация, катарсис, хоть и без очищения. И право, — вот гениальное перо! — уже не важны события, приведшие к надлому, и то, что будет после, тоже не слишком интересно; трагедия этой личности взята в центральной точке, в ее главной формуле, откуда ее история вычисляется автоматически.

Действительно, ну кто ж толкал его к старухе в спальню, где до него столько побывало?

Но тошнота от содеянного — рефлекс невольный, безусловный, и тогда:

"...все мерзостно, что вижу я вокруг".

Вот так и слеплен этот озорной герой-любовник, в несколько отрывистых фраз, сделан эргично, каким-то летящим почерком, весь, со всей своей судьбой ("...дико и весело глядели на него быстрые , беспощадные глаза").

Классически сработан образ: информационная максима в крошечном словесном объеме.

Друзья и близкие звали меж собой Юрия Осиповича Домбровского "классик". Он таким и был, и не только в работе, потому что некоторые житейские судьбы тоже могут именоваться "классическими".

Так кто же в этом "Графе Эссексе" центральный персонаж? Шекспир появляется уничижительно — негромко ("какой-то актеришко", по свидетельству начальника стражи), но уважительно принят графом ("А как ваша новая датская хроника, сэр?"); он размышляет о незаконченной трагедии, где Гамлет, не наш, привычный, благородный и мятежный смутьян, а свирепый психопат, сваривший шпиона, знает воплощения на сцене и, ощущая на себе неприязненный взгляд Рютленда ("Дворянство ему достали, так теперь он и рад стараться... руку сует :"сэр Шекспир") , видит в нем еще одного из персонажей своих трагедий, потому что данным ему гением возвышен и защищен от ситуации, хотя и пребывает под обстрелом сплетников и завистников ("Деньги дает в рост под проценты, скупает и продает солод, земельными участками торгует, дома закладывает...").

В конце на сцене (символично!) остается один Шекспир, как главное действующее лицо, то лицо, что свидетельствует, оценивает, размышляет и творит историю.

Слово "сцена" не оговорка. Дело в том, что, ритм, диалоги и композиция "Графа Эссекса" кажутся выстроенными по рецептуре лучших шекспировских драм, и порой создается впечатление, что мы имеем дело с прозаическим пересказом одной из неизвестных пьес английского гения. Может ли это быть лучшим комплиментом мастеру, писавшему с такой строгой любовью о Шекспире?

Думается, что может.

Григорий Анисимов, Михаил Емцев

Татьяна Поляченко

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

(Цикл стихотворений)

Добрый папаша, к чему в обаянии
У многого Ваню держать?
Н.А.Некрасов. Железная дорога

***

Локти, спины, витрины, шаги,
по Петровке, по Трубной, по Бронной
глушь, провинция — белой вороной
бестолковые чертит круги.

Глушь, провинция ..... в центре Москвы
наступает прохожим на пятки,
в магазинной дрожит лихорадке,
сбился толстый платок с головы.

Лица, лица — рябая пурга,
две авоськи, рюкзак за плечами...
Почему, если кто замечает,
глянет искоса — как на врага?

Только черная гарь площадей,
только кафельный гул переходов.
Ох ты Господи, сколько народу —
а как будто и нету людей.

Не за то, что солдатка-вдова,

не за то, что ладони-короста:
оглашенную, грубую — просто
приголубь ты глубинку, Москва!

Значит, вышла такая нужда...
Вдоль столбов телеграфных копченых
по России идут поезда.
Душно до смерти в общих вагонах.

1983

***

Светит ласковая лампа,
душит полночь мягкой лапой
душу, будто воробья.
Нам бы в дальние края,
чтобы нас не стало — то есть
чтобы где-то ехал поезд,
старый добрый товарняк,
чтоб в попутных деревнях
теплые желтели окна,
чтоб звезда за тучей мокла,
как конфета за щекой.
Нам бы разной чепухой
заниматься с важным видом,
нам бы в доме жить, увитом
радостями, как плющом,
и не думать ни о чем.

1983

***

Нам повезло. Нам страшно повезло,
когда дождя толченое стекло
по нашим лицам радостным ползло...
На карте — точка. Город. А внутри
слоеные лоснятся фонари,
бесшумная мошка течет по коже,
и догоняет пьяненький прохожий
и вежливенько просит прикурить.
И хочется ему поговорить.
Авторитетно ветеран войны
подтягивает вислые штаны
и нам в глаза выплескивает душу,
горячего и нежного младенца
с нечистою водою из корыта
выплескивает прямо нам в глаза,
и плачет вдруг, и горькое "Нельзя
так дальше жить" все рвется сквозь пропитый,
потрескавшийся тусклый тенорок
и все не вырывается наружу.
Ах, родины слезливый ветерок,
ах, исповедь ночного ветерана,
танцующего клоуном поддатым
меж Богом и общественным клозетом
в том городишке, заживо отпетом,
завернутом в кровавые лохмотья,
где буквы, лица в профиль и анфас...
Еще темно, и для рассвета рано.
Разбавит ветеран витиеватым,
изысканным пахучим матерком,
как коньяком, войну, любовь, и юность,
и остальное, что случилось с ним.
А нам везет. Мы тихие стоим
и думаем. Нам есть о чем подумать.
На карте — точка. Как же не любить

сосущий душу запах деревянный
и окаянный этот ветерок,
болониевых матерных подростков
и нежные старушечьи морщины!
Настало время колоколу бить.
Горбун-звонарь повис на языке,
и там, на колокольне, в черной точке,
сосредоточен маятник времен,
томительно-свободный вещий стон,
стон о начале дня в конце столетья...

1983

***

Гудком пошарив, как клюкой,
локомотив летит из мрака.
На старой станции Джанкой,
смеясь и плача, спит собака.

Плевки мерцают под луной,
окурки пляшут по перрону.
Вокзальчик сонный расписной
напялил крышу, как корону.

А там в вокзальчике, внутри,
себя звездой воображая,
надменно, будто бы чужая,
над кассой лампочка горит.

Ночь, выпустив из рукава
все фокусы свои и вздохи,
уже понятная до крохи,
сутулясь, тащится едва.

Среди изрезанных скамей
слепой сквозняк завел шарманку
и выворотил наизнанку
всю душу музыкой своей.

1983

***

Оторваться от себя, как от земли.
Засыпая на полу пустой теплушки,
нюхать мокрые рассыпанные стружки,
исчезая вместе с поездом вдали.

Отдышаться от себя, как от беды.
Засыпая под защитой плащ-палатки,
уезжая, уменьшаться без оглядки
до звереныша, до точки, до звезды.

Только рельсы, только щели в потолке,
только темные неструганные доски,
да на станциях щекотно по щеке
путешествуют фонарные полоски.

1983

В ЧУЖОМ ГОРОДЕ

Густая хмарь с утра висит
над крышами, над черепицей,
и надобно решить, решиться,
опомниться, набраться сил.

Переливается, как ртуть,
в окне напротив телевизор,
надменно выгибая грудь,
гуляет голубь по карнизу.

В порту погрузчики трещат,
на стеклах — пасмурная копоть...
Да разве кто-то обещал
тебя всегда любить и помнить?

Теперь молчи и сатаней,
и хватит на десяток жизней
железной логики твоей
и правоты твоей булыжной.

Вот путается тень и свет,
сквозняк степной, мороз по коже,
и никого на свете нет,
кто без тебя прожить не сможет.

1984

***

Душа, раздета и разута,
к окну печально подошла.
Н.Поленов

В Тобольске дождь летит за воротник.
Бегом, к Тоболу, по грязи незримой...
Да ну их, тех немыслимых двоих,
да ну их, тех двоих, бегущих мимо...

Ни фонаря, и крови гул в груди,

и дождь в глазах, и сладкий в горле ветер,
и речка ледяная впереди,
да ну их вовсе, бешеных, но третий...

Он отстает. Он вымок и замерз.
Его лицо на облако похоже.
Тобольского дождя тяжелый ворс
он чувствует, как собственную кожу.

Не лучше ли теперь сидеть в тепле,
укрыв колени зябким одеялом,
в гостинице, где лампа вполнакала
и россыпь карамели на столе.

Шум в коридоре, ласковый, как сон.
Когда душа раздета и разута,
так сладко засыпать к стене лицом,
птенцом в горсти казенного уюта.

...Те двое обнялись, слились в пятно
и растворились в переулке сизом.
А может быть, душа его давно
бренчит водой по неродным карнизам?

Вот вспыхивает спичечный огонь
в прозрачном шалаше его ладоней.
Он жив еще. В Тобольске ветер стонет.
Он жив еще — и никого кругом.

1982

***

Ты помнишь — у Казанского вокзала
сутулая, в бумажках ель стояла.

Метель неслась по площади кругами
и исчезала в привокзальном гаме.

Ты помнишь — над треухами, платками
транзитной непроспавшейся Руси
стоял январь. Светало к девяти,
и бесновался снег под фонарями.

Тебе хотелось все начать сначала
и влиться в торопящийся поток
тем мальчиком, плетущимся устало
за женщиной, закутанной в платок,
тем воробьем, щебечущим на люстре
над залом ожиданья, над толпой,
над запахом вокзальным — грязным,
грустным,
быть кем угодно — только не собой.

Ты помнишь, сколько лет тебя швыряло
с небес на землю — по сто раз на дню,
и жадную сумятицу вокзала
ты принимал за родину свою...

1978

***

Те родственники были бедными,
сидеть стеснялись за столом,
кормились кислыми обедами
в диетстоловой за углом.

Вповалку спали, мылись в тазике,
собравшись вечером гурьбой,

все песню ставили о Разине
и подпевали вразнобой.

Хозяев звали всех по отчеству
и даже пигалицу-дочь.
Истратившись в столице дочиста,
с мешками уезжали прочь.

Зачем, когда, в какой провинции
чужая канула семья?
Но черно-белыми их лицами
душа наполнена моя.

1988

ПОЛЯЧЕНКО Татьяна Викторовна родилась в Москве в 1960 году. Окончила Литературный институт им.М.Горького. Стихи печатались в журналах "Юность", "Сельская молодежь", в альманахах "Тверской бульвар, 25", "Истоки", "Стихи этого года", "Молодые поэты Москвы", в газетах "Комсомольская правда" и "Московский комсомолец".

НОВЫЕ КНИГИ,
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

АРКАНОВ Аркадий. Все.
М., ИКПА, 1990.

ВАНЕЕВА Лариса. Из куба.
Рассказы, повесть.
М., "Советский писатель", 1990.

ВЯЗЬМЕНСКИЙ Александр. Свет в лабиринтах. Литературные наброски.
Minneapolis, M.I.P.,1990.

Александр Лаврин

БАБОЧКА

Виктору Ерофееву

Его отец покончил жизнь самоубийством. То есть его убили, но это было все равно, что самоубийство. Когда на одном из политических митингов какой-то маньяк выстрелил в Махаона (Papilio machaon), его отец успел кинуться и прикрыть собою вождя парусников. Хрупкое тело подалирия (Iphiclides podalirius) разлетелось на мелкие части — и еще долго над потрясенными бабочками носились чешуйки крыльев и обрывки усиков, движимые восходящим воздухом.

После этого случая Бабочка замкнулся в себе. Смерть отца и последовавшие за тем события както сразу отдалили его от нас, хотя нрав от природы он имел веселый и общительный и вовсе не чуждался радостей жизни.

Как и у всякого чешуекрылого, у него было свое имя — Аполлон Парнасский (Parnassius apollo) но почему-то он предпочитал называться безлично Бабочка. Это тем более странно, если учесть, что род его был старинный и знатный — происходивший из Древней Греции, едва ли не от самого сына Зевса и отца Орфея; об этом, в частности, свидетельствует *Книга Царств и Судеб.*[1]

Впрочем, entre nous, я всегда подозревал в Бабочке плебейский вкус — задолго до того, как он

1 Греки называют ее иначе — Ecclhstasich istoria, но, разумеется, серьезные ученые не принимают подобную трактовку во внимание. В наше время, когда язычество в виде поклонения Огненному Нектару пустило такие сильные корни, следует с особой осторожностью относиться к толкованию древних текстов.

явил это миру своим скандальным романом. Конечно, задним числом нетрудно быть пророком, но, клянусь Священною Пергою, я говорю чистую правду. Да и смысла лгать мне никакого нет — на родину я уже никогда не вернусь, и до смерти моей осталось вряд ли более трех-четырех сотен взмахов крыльев.

Я познакомился с Бабочкой, когда вел колонку литературного обозревателя в газете "Последние свежести".[2] Нас представили друг другу на вечеринке у Голубой Орденской ленты (*Catocala fraxsini*). Это было задолго до смерти старика Подалирия, и Бабочка еще делил поровну свои интересы между жизнью и литературой. Он тогда числился в начинающих, в то время как я еще до Большого Взрыва выпустил пару теоретических книжонок с наглыми названиями a la Marinetti и здесь, в эмиграции, постоянными рецензиями текущей прозы чешуекрылых успел составить себе репутацию серьезного, хотя и несколько желчного критика. В общем, по логике вещей, не я должен был заискивать перед Бабочкой, а он передо мной. Но в том-то вся и штука, что, когда имеешь дело с такими, как Бабочка, логика вещей становится столь же эфемерной, как эфирные масла в жаркий день.

Да, с первого дня нашего знакомства (не смею сказать — дружбы) я оказался в положении вассала. Мой сюзерен воспринял это как должное. Я вынужден был заниматься многими его мелкими бытовыми проблемами, вплоть до нахождения машинистки для печатания его рукописей. Тогда он

2 Кстати говоря, ее главным редактором был тот самый Махаон, защищая которого погиб отец Бабочки. Думаю, что если бы он (отец Бабочки) поработал на моем месте хотя бы месяц, он бы не только не закрыл грудью моего шефа, но сам вложил бы пистолет в лапки убийцы, со слезами благословив его на святое дело.

еще писал на языке бабочек; впрочем, большинство из нас писало на этом языке, лелея безумные надежды на возвращение туда, в медовые луга родины (ох, чувствую, что занесло меня в пошлость, но уж переписывать не стану, лень). На язык стрекоз Бабочка перешел уже после Гуттаперчевой Войны, когда стало ясно, что муравьи, предводимые Большим Усачом (*Myrmeleontidae*), укрепились в своем единстве как никогда раньше. На языке стрекоз и была написана Бабочкой скандально известная "Куколка", а уж потом он сам перевел этот роман на язык бабочек.

Короче говоря, история, которую я хочу рассказать, как раз и связана с вышеупомянутой "Куколкой".

Первое десятилетие после Большого Взрыва было для Бабочки блаженным временем. Во-первых, его мало коснулись ужасы бегства, поскольку в эмиграцию родители вывезли его, когда он был в коконе и еще не достиг возраста *имаго*.[3] Во-вторых, он был молод, и, естественно, утехи и услады молодости не могли пройти мимо него. Ну, а какова — зададим риторический вопрос — главная услада молодости? Разумеется, любовь! И Бабочка не терял времени даром. Едва вылетев в свет, он тут же увлекся Крыжовниковой пяденицей (*Abraxas grossulariata*[4]), а после кратковременного флирта с нею пустился во все тяжкие. Трудно назвать хотя бы одно семейство, с бабочкой из которого у него не было романа. Я уж не говорю о павлиноглазках, стеклянницах, пальцекрылках и

---

3 То есть совершеннолетия. Как вы помните, немало страниц в "Куколке" посвящено сравнительному анализу кукольного возраста и возраста имаго; причем, симпатии автора явно на стороне куколок.

4 Бабочке нравилась ее расцветка — белая со сложным черно-желтым крапчатым рисунком, напоминающим Аполлона, только миниатюрнее и изящнее.

листовертках, — но он не брезговал и такими вульгарными особами, как Хвостатка березовая (*Thecla betulae*), которая, как известно, окукливается в почве и даже —бррр! противно представить — в муравейниках.

С другой стороны, легко осуждать все это сейчас, с высоты нынешнего пуританизма, но представьте себе положение бабочек, оторванных от родной земли, лишенных, подобно Иову, того, что любили они и чем дорожили, пытающихся заново создать то, что создать заново нельзя, — и вы поймете, что плотские утехи были для тогдашнего молодого поколения чешуекрылых не пошлым развратом, а попыткой заслониться от жестокой реальности, своего рода защитным рефлексом. Доказательством моих слов может служить то, что несмотря на обилие флиртов, бабочки сохранили веру в идеал, способность возвышаться грезами... Потом, спустя небольшое время, это даже приняло уродливые формы — например, некоторые виды стали совершенно отказываться от пищи, переходя на афагию[5]. Они называли это торжественно — Путь Духа.[6]

Поскольку в то смутное время реальность (любовь и наслаждение) трудно было отделить от вымысла (политика и искусство), то для Бабочки

---

5 Проще говоря, объявляли голодовку. Искусственную афагию не следует путать с афагией естественной — скажем, семейство мешочниц так сильно откармливает своих куколок, что в возрасте имаго они не берут в рот ни крошки, им хватает накопленных запасов.

6 Это движение возглавила Шафрановая желтушка (Colias crocea), сама довольно прожорливая и маловоздержанная от Огненного Нектара бабочка. Я сразу заподозрил, что ни о какой "чистоте жанра" не может быть и речи и что цель Шафрановой желтушки — сколотить политический капитал. Позднее, когда она возглавила первое правительство бабочек в эмиграции, мои подозрения полностью подтвердились. Замечу, что, в отличие от рядовых бабочек, примкнувших к движению, Шафрановая желтушка не только не похудела во время неедения (о смерти я уж и не заикаюсь!), но даже слегка располнела. Что ж, как говорили древние: Quod non decet bovem... — и так далее.

история его романа с Перламутровкой Аглаей (*Mesoacidalia aglaja*) переплелась с участием в политических делах. Только что вышла его первая повесть "Смерть Червонца огненного (*Heodes virgaureae*)", имевшая большой успех. Бабочка быстро вошел в моду; его стали приглашать в светские салоны, на разные вечера, выставки и т.д. Те, кто раньше не замечал его, вдруг обнаружили себя давними его друзьями и фамильярно зазывали в гости: маститые писатели, вроде Непарного Шелкопряда (*Lymantria dispar*) при встрече в Литературном клубе снисходительно заводили с ним разговор о полиметафоре и стилистике Джойса ("Улисс" еще гремел), за глаза, впрочем, называя Бабочку parvenu. Политики стали публично пожимать ему руку и тут же отводить в сторонку якобы для серьезного приватного разговора, а на деле лишь для того, чтобы осведомиться, не сможет ли Бабочка принять участие в каком-нибудь благотворительном вечере, скажем, в пользу пострадавшего от больших морозов семейства пестрянок (*Zygaenidae*).

Надо сказать, что к этому времени бабочки-эмигранты разделились на два клана — разнокрылых и равнокрылых[7]. Собственно говоря, это разделение существовало и до Большого Взрыва, но тогда оно не имело отчетливо выраженного характера; мало того, по целому ряду позиций равнокрылые и разнокрылые сходились, поскольку и те, и другие желали избавить отечество от многих развившихся неимоверно пороков и заблуждений; например, они одинаково противились распространению среди бабочек Пестиковой Ереси. Суть нынешнего раскола заключалась в том, что равнокрылые начали выступать за сотрудничество

7 Девизом первых было: "Иерархия — мать порядка", девизом вторых: "Симметрия, Равенство, Членство".

с муравьями и даже за постепенное возвращение на бывшую родину, а разнокрылые были категорически против. Несмотря на то, что равнокрылых было намного меньше, они за короткий срок приобрели большой политический вес, вербуя все новых и новых сторонников. Добавлю сюда и благосклонное отношение к ним местных властей, которым вовсе не улыбалась перспектива длительной конфронтации со Страмуром[8].

Политика как способ жизни Бабочку никогда не интересовала. Он всю жизнь порхал в облаках, и непонятно, каким образом он оказался втянутым в политический заговор против равнокрылых. Возможно, он видел только романтическую сторону дела, тогда как участвовать в заговоре было небезопасно. Конечно, мы находились не в Страмуре, где бабочку могли расстрелять за одно лишь недонесение о готовящемся заговоре[9], но и у нас были свои сложности. Местная полиция, боясь волнений эмиграции, тщательно следила за любым проявле-

8 Так муравьи сокращенно окрестили страну после захвата власти. Они вообще питали удивительную страсть ко всякого рода сокращениям и аббревиатурам. Доходило до курьезов. Муравьиный уголовный розыск был поименован МУРом, но так же (МУР) называлось и Муравьиное управление работ. Постоянная путаница, возникавшая из-за этого привела к тому, что оба учреждения, в конце концов, соединили в одно, соответственно объединив и их функции

9 Такая судьба постигла оставшегося в стране муравьев Олеандрового бражника (Daphnis nerri). До Большого взрыва он в числе тех немногих, кто отваживался на дальние перелеты по маршруту Северная Европа — Средиземноморье. Олеандровый бражник имел репутацию отважного путешественника, но еще большую славу он составил себе поэтическими опытами. Впрочем, эта слава не спасла его от гибели.

нием политический активности в нашей среде. Случалось, что наиболее рьяных бабочек судили или высылали из страны под каким-либо благовидным предлогом.

Заговор разнокрылых составился в Тыкобинском клубе[10]; возглавили его Адмирал (*Vanessa atalanta*) и Мертвая Голова (*Aherontia atropos*). Поскольку Мертвая Голова был из семейства бражников, Бабочка тут же к месту и не к месту стал декламировать со значительным видом: "Все мы бражники здесь, блудницы..." и т.д. С его легкого крыла это сделалось как бы гимном нового движения. Бывало, остановит Бабочка на улице рядового участника заговора и, к его вящему ужасу, начинает греметь чуть ли не на весь квартал: "Все мы бражники здесь, блудницы..." Несчастный чешуекрылый хватает его за рукав, в страхе шепчет: "Бога ради, что вы делаете, нас могут услышать!", но Бабочка, будто и не замечая испуга собеседника, продолжает свою фрондерскую мелодекламацию. В этом был весь Бабочка — гуляка, небожитель, повеса праздный.

Тем не менее, ум он имел хладнокровный и расчетливый, (что, впрочем, легко видно по его произведениям) и если и пускал свой челн по воле волн, то для того лишь, чтобы набраться чувственных впечатлений для будущих книг. Живя вроде бы стихийно, бездумно порхая по жизни, он, тем

---

10 Вступавшие в тайное общество, именовавшееся Лигой разнокрылых, должны были пройти проверку, а затем обряд посвящения в духе масонских лож. В темной комнате, обитой красным бархатом, при свете свечей, неофит должен был поднять правую лапку, трижды хлопнуть крыльями, выпить пчелиное молоко и сок щавеля и произнести следующую клятву: "Обещаю любить братьев моих разнокрылых. Защищать их в опасности, хотя бы жизни моей грозила смерть. Хранить орденскую тайну. Не раскрывать существования Лиги, хотя бы я был спрошен об этом на суде, не раскрывать ничего, что я узнаю как член Лиги. Обещаю беспрекословно исполнять приказы руководителей Лиги. Во имя и навсегда".

не менее, тщательно фиксировал каждое ее мгновение где-то в таинственных записных книжечках мозга. Подозреваю, что он делал это даже во время... (из стыдливости употреблю здесь латинское слово) coitum с особами женского пола. А сколько раз я узнавал в сценах из его рассказов и романов самого себя! Скажем, описание драки в кафе "Националь" (рассказ "По небу полуночи...") было сделано с натуры — однажды мне пришлось выступить в роли "вышибалы", когда подвыпивший Стебельковый мотылек (*Ostrinia nubilalis*) на моих глазах стал приставать к беззащитной Монашенке (*Lymantria monacha*).

Бабочка беззастенчиво пользовался и нашими с ним спорами и беседами. Именно от меня он узнал столько много о жизни муравьев, в том числе и то, как они, свергнув, по их словам, вековое рабство и поставив задачу построить Золотой Муравейник, стали использовать самый натуральный рабский труд — заставили работать на себя муравьев-древоточцев и даже несчастных бродячих муравьев (*Dorylinae*). Тех же, кто подобно *Liomtopum microcephalum* отказался встать на колени, они просто-напросто сселили в бесплодные пустынные области, раздав их муравейники другим, более послушным видам. Все эти сведения бабочка использовал в повести "REMEMBER", силою своего пера придав сухим фактам удивительную художественную яркость.

Но если книгой о муравьях он взбудоражил пол-Европы, то "Куколкой" без преувеличения был потрясен мир. Чего тут было больше — восхищения стилем Бабочки, острым и неожиданным, как фехтовальный выпад, или же тайного интереса к интимной жизни чешуекрылых? Думается, читателей (даже и самых просвещенных) куда более

привлекла sex-appeal романа, нежели изыски стиля. Все мы немножко moveton, хотя и боимся открыто признаться себе в этом. В каком-то смысле Бабочка оказался честнее нас, обнажив перед всем светом свой тайный порок — любовь к куколкам.

Помню, как загорались у него глаза, когда речь заходила о гусеницах и куколках, с каким увлечением он разбирал достоинства и недостатки разных видов. Его приводило в восторг то, что гусеницы сатиров были голые или с короткими волосками. "Понимаешь, ведь это вызов! — брызжа слюной, убеждал он меня. — Это вызов нашему ханжеству, нашей застывшей тысячелетней морали. И этот вызов бросают не люди — а сама природа!" Другое, что было предметом его постоянных рассуждений, — это рог на заднем конце тела у гусениц Глазчатого бражника (*Smerinthus ocellatus*). "Подумать только, сколько скрыто здесь аллюзий и реминисценций, — с благоговением говорил он. — И как это убедительно доказывает правоту Фрейда с его гениальной идеей фаллоса как основного символа культуры!" Но больше всего Бабочку восхищали куколки семейства нимфалид. Он просто тихо млел и блеял от нежности, когда видел, как они висели на ветках вниз головой — изящные, стройные, точеные, с металлически блестящими пятнами на коконах. В эти минуты он был похож на олигофрена, которого вывели на прогулку во двор сумасшедшего дома: отвисшая челюсть, подернутые пленкой глаза, болтающиеся без призора руки...

Однако я отвлекся.

Заговор разнокрылых стремительно развивался. Уже были вовлечены в него значительные количества бабочек в разных городах. В одной из маленьких провинциальных типографий тайно от-

печатали листовки с тезисами движения разнокрылых. Мертвая голова разработал блестящий стратегический и тактический планы выступления бабочек в назначенный день у здания парламента (в столице) и мэрий (в провинции) с демонстрациями протеста. Внезапные волнения должны были привести к отставке правительства и формированию нового кабинета, сочувствующего разнокрылым. Через своих сторонников в префектурах заговорщики получали постоянную информацию о настроениях властей и об их намерениях. Вся загвоздка была в том, чтобы не дать правительству повода для репрессий по отношению к эмигрантам до момента всеобщего выступления.

И вот в эту минуту, когда спокойствие было на вес золота, ибо малейший инцидент мог разрушить все тщательно сооружавшееся здание заговора, которому недоставало лишь стропил, — в эту самую минуту и раздался роковой выстрел маньяка (им оказался Пахучий древоточец (*Cossus cossus*), в результате чего погиб отец Бабочки.

Тотчас пришла в ход полицейская машина. Начались облавы, обыски и аресты. Газеты кричали о проблемах, которые добавили стране эмигранты; радикально настроенные журналисты предлагали ставить на крыльях бабочек специальное номерное клеймо, наподобие того, как нумеруют автомобили — с тем, чтобы облегчить слежку за передвижениями чешуекрылых и в случае эксцессов быстро устанавливать личность подозреваемого.

К счастью, полиция располагала лишь незначительными сведениями о заговоре и его участниках. Арестованные на первых порах случайные бабочки были вскоре выпущены. Однако, чтобы успокоить общественное мнение, министру право-

судия нужен был козел отпущения. Нашелся доносчик, который указал на Бабочку, поскольку тот никогда и нигде не скрывал своих симпатий. Как известно, за убеждения не судят, но тут дело обстояло хуже — при обыске у Бабочки нашли черновик рассказа в форме дневника террориста. Это позволилоследственным органам потребовать и получить ордер на арест моего друга.

Тем временем один из мелких участников заговора некий Сосновый коконопряд (*Dendrolimus pini*)[11], польстившись на обещанное прощение, а более всего опасаясь за сохранность в тюрьме рисунка своих крыльев, назвал имена двух-трех заговорщиков, в том числе и Бабочки. Это было бы полбеды, но, ко всему прочему, он сообщил, что у Бабочки хранится Большой Протокол Лиги разнокрылых, где полностью описан ритуал принятия в Лигу. Документ этот по очереди хранили у себя участники заговора. В момент раскрытия заговора Протокол действительно находился у Бабочки. Вторичный обыск у него дома ничего не дал. Органы следствия стали требовать выдачи секретного документа, но Бабочка категорически отказался. Предать гласности документ такой важности означало раз и навсегда дискредитировать Лигу разнокрылых. И впрямь: чего стоит тайная организация, тайны которой легко становятся достоянием публики! Заговоры составляются десятками, а Лига одна, вторую такую уже вряд ли удастся создать, — это Бабочка понимал как нельзя лучше.

В глазах большинства чешуекрылых поведение Бабочки выглядело наивным, если не сказать больше — глупым. Чу, зачем одаренному писате-

11 Кажется, его функции заключались только в изготовлении бумажных гвоздик, которые должны были воткнуть в петлицы заговорщики в день выступления.

лю, любимцу, так сказать, небес политические игры?! Служенье муз, как известно, не терпит суеты, и никто не бросил бы в Бабочку камня, согласись он на требование следствия. Однако Бабочка стоял на своем.

Пожалуй, только я один знал в то время причину такого упорства. Дело в том, что примерно за месяц до крушения заговора Бабочка безумно влюбился в Перламутровку Аглаю, молоденькую, чрезвычайно красивую, только что начавшую вылетать в свет и имевшую огромный успех. Бабочка просто бредил Аглаей, называя ее на манер древних Lumen coeli, sancta rosa. У нее было много поклонников, но только одного из них — Хмелевого тонкопряда (*Hepitalus humuli*), служившего в Министерстве правосудия, Бабочка считал серьезным соперником. И надо же было случиться, что именно Хмелевому тонкопряду было поручено вести дело Бабочки! Для следователя это был шанс, возможно единственный, который давала ему судьба. Престарелый начальник Управления по делам иностранных бабочек вскоре должен был уйти на пенсию, и министр — Большой ночной павлиний глаз (*Saturnia puri*) прямо намекнул Хмелевому тонкопряду, что в случае успеха расследования его ждет этот пост.

Собственно говоря, все следствие сводилось к тому, чтобы склонить Бабочку выдать Большой Протокол Лиги разнокрылых. Власти прекрасно понимали, что никакой реальной силы несостоявшийся заговор не представляет и готовы были вообще закрыть дело, но при условии выдачи Большого Протокола. Им важно было дискредитировать Лигу в глазах общественности.

Разумеется, Бабочка как человек чести в любом случае не выдал бы местонахождение Прото-

кола, но здесь его упорство подогревалось еще и тем, что следователь, противник, так сказать, judicata, был одновременно его противником и в области amore. На допросах Бабочка вел себя с элегантной nonchalance, блестяще замечал и обходил все ловушки следователя, чем приводил Хмелевого тонкопряда в бешенство.

Пытаясь склонить Бабочку к выдаче протокола, следователь то и дело вспоминал солидное брюшко, большие крылья министра и его бархатный бас: "Мой дорогой, говорят, вы умеете тонко прясть — не хуже, чем пауки. Так послужите отечеству — спрядите такую сеть, в которой запутаются все те, кто осмелился посягнуть на спокойствие нашего общества!"

Прял-то он тонко, да перед ним была не муха, а Бабочка, обладавший чрезвычайно тонким умом и, благодаря дару романиста, умевший на три хода вперед предвидеть развитие сюжетных линий в голове следователя. Скажем, попытки Хмелевого тонкопряда запутать его овидиевским "Video meliora proboque, deteriora sequor"[12], Бабочка легко парировал аристотелевским "h ekontez h akontes onden legonsin".[13] В другой раз следователь завел разговор об относительности семантических систем и, как следствие того, о тождественности понятий "да" и "нет". Он убеждал Бабочку в том, что если тот скажет ему "да", то это будет все равно что "нет", а посему бессмысленно запираться и отрицать.

"Вот смотрите, — говорил Хмелевый тонкопряд, мы берем слово *отвары*, отличное, прекрасное слово, которое дышит бодростью и здоровьем. Меняем в нем местами всего лишь две буквы и что

12 Вижу лучшее и одобряю, но следую худшему.
13 Тот, кто так утверждает, вольно или не вольно говорит вздор.

получаем? *Отравы*. Слово, прямо противоположное по смыслу! И это при том, что ни количественный, ни качественный состав букв не изменился" — "Допустим, — замечал на это Бабочка, — что ваша теория перестановок верна, однако в данном случае она бессильна — ведь в словах *да* и *нет* не только разное количество букв, но и нет ни одной совпадающей" — "Ошибаетесь! — с жаром возразил тонкопряд. — И я легко докажу это. Возьмем для начала количество букв. Мы с вами существа цивилизованные, знаем разные языки и, следовательно, можем пользоваться их знаковыми системами. Посему для обозначения понятия *да* я беру английское *yes*. Вот вам и количественно совпадение со словом "нет" — по три буквы в каждом слове. Теперь перейдем к фонетике. Вы, разумеется, не станете отрицать того, что любой язык набит омонимами, как муравейник муравьями". — "Не стану, — сказал Бабочка, — я и так слишком многое отрицаю, сидя здесь". — "Так вот, — продолжал Хмелевый тонкопряд, сделав вид, что не заметил колкости, — подобно тому, как на санскрите *vara* одновременно обозначает *год* и *дождь*, так и в других языках мы встречаем аналогичные семантические структуры. Но есть еще более тонкая вещь, — тут он даже задрожал от возбуждения, — существуют фонетические совпадения в разных языках! Вы, разумеется, знаете протоиндийские тексты..." — "Увы, нет", — признался Бабочка. — "Ну, тогда вам придется поверить мне на слово, — развел руками следователь. — В дравидских надписях на пекторалях слово *Яма* означает имя бога смерти, ну, а в русском языке *яма* — это выемка в земле или каком-то предмете. Но весь фокус в том, что протоиндийские тексты записывались не буквами, а рисунками-иероглифами, вроде пляшущих человечков Конан Дойла... Кста-

ти, терпеть не могу писателей-детективов, а вы?" — "И я", — сказал Бабочка. Хмелевый тонкопряд взял в руки карандаш. "Я рисую иероглиф, который на рапануйском языке означает "нет". — Он вывел загогулину, похожую на пивную кружку: w. — Фонетически это соответствует латинскому mae. А слово mae на языке древних майя означает утверждение, то есть "да". Таким образом, "нет" означает "да" и наоборот. Что и требовалось доказать". И Хмелевый тонкопряд торжествующе посмотрел на Бабочку. Но тот только усмехнулся. "Что вы носитесь с этим "mae", как Кент со своим Ding an sich![14] А знаете ли вы, что в мифологии майя существуют две души — душа-тень и душа-дыхание и что душу-дыхание они представляли в виде бабочки? И эта бабочка могла улетать к богу, в отличие от души-тени, которая навсегда прикована к телу! И вы, господин следователь, никогда и ничего мне не докажете, поскольку я — душа-дыхание, а вы — душа-тень".

Отчаявшись победить Бабочку на допросах, Хмелевый тонкопряд дошел до того, что предложил ему сделку: если Бабочка выдаст местонахождение Большого протокола, он (следователь), во-первых, выпускает Бабочку из тюрьмы, а во-вторых, без боя уступает ему Перламутровку Аглаю. Разумеется, Бабочка отказался. Кипя от негодования (подобное предложение говорило о том, что его сочли способным на низкий поступок), он заявил, что следователь пользуется тем, что Бабочка, находясь в заключении, не может вызвать его на дуэль. "А вы войдите в мое положение, — ловко возразил Хмелевый тонкопряд с обычным своим иезуитством, — и вам станет ясно, что *положение обязывает* пользоваться им. А если

14 У русских на этот счет есть более жесткое выражение: "Как дурень с писаной торбой".

вы и дальше будете упорствовать, вас тоже ждет *положение*, но только иного рода — положение во гроб". Довольный своим плоским каламбуром[15], он откинулся на спинку кресла и захохотал.

Однако каламбуры каламбурами, а дело стояло на мертвой точке. Тогда Хмелевый тонкопряд зашел с другого конца — того самого, который французы называют cherchez la femme[16]. Только здесь и искать не требовалось — Перламутровка Аглая была под боком. Она, разумеется, знала о том, что дело Бабочки ведет Хмелевый тонкопряд, но пока что ничем не выдавала своего отношения к этому факту. Правда, и следователь редко теперь встречался с ней — дни и ночи проходили у него на допросах и поисках новых каверзных ловушек для Бабочки.

Когда Хмелевый тонкопряд обратился в сторону la femme, он — надо отдать ему должное — разработал тонкий план психологической обработки Перламутровки Аглаи. Для начала следователь вдруг разрешил ей постоянно навещать Бабочку в тюрьме (в чем раньше, ссылаясь на распоряжение министра, отказывал). Затем он стал превозносить в ее глазах Бабочку, говоря, какой это мужественный чешуекрылый и как стойко он держится, хотя речь идет лишь о пустяке, можно сказать, формальности — выдаче бумаги, содержание которой *в принципе* и так известно полиции, за исключением некоторых незначительных подробностей; и

---

15 Недаром из классического наследия XIX века Хмелевый тонкопряд более всего любил минаевское стихотворение — то, которое кончается строчками:

Даже к финским скалам бурым
Обращаясь с каламбуром.

16 Любопытно, что это выражение принадлежит полицейскому чиновнику Габриэлю де Сартину (1729 — 1801). Правда, нечто похожее говорит в шестой сатире Ювенал (ок.43 — 113 гг.н.э.): "Едва ли найдется тяжба, в коей причиною ссоры не была бы женщина".Ну, вот и я заразился дурною привычкой каламбурить по делу и без дела.

что у него, Хмелевого тонкопряда, просто сердце кровью обливается оттого, что он, разрываясь между чувством и долгом, вынужден допрашивать такое благородное существо; и что теперь он понимает, что из них двоих, конечно, только Бабочка достоин лапки Аглаи.

Даже Бабочка был поражен поведением Хмелевого тонкопряда и смягчил свое к нему отношение, правда, предупредив, что никакие послабления не заставят его пойти на сделку с властями. "Ну, что вы, какая сделка! — возражал следователь. — Я вижу, что вы мне по-прежнему не доверяете. А я, между тем, хлопочу о том, чтобы вам разрешили обручиться с вашей любимой. Это может значительно облегчить вашу участь, если дело дойдет до суда. Вы ведь знаете, как сентиментальны наши присяжные. Помню, однажды они оправдали одного убийцу, потому что накануне его жена родила сразу четверых близнецов!"

Перламутровка Аглая, отчасти по велению сердца, отчасти стараниями Хмелевого тонкопряда, так влюбилась в придуманный ею образ Бабочки — страдальца за правду, что и вправду подала Министру правосудия прошение о заключении брака с заключенным[17]. Тогда следователь сделал следующий шаг — накануне разрешенной регистрации брака он прилетел к Перламутровке Аглае в страшном волнении. "Я только что был у министра, — объявил он прямо с порога. — Обстановка в правительстве ужасная. Требуют немедленного суда, и, как мне стало известно, прокурор намерен добиваться смертной казни. Но даже если Бабочку не приговорят к смерти, пожизненное заключение ему гарантировано."

---

17 Ну, вот и я заразился дурною привычкой каламбурить по делу и без дела.

Аглая в ужасе схватилась за сердце. "Что же делать? Помогите нам, вы такой добрый", — пролепетала она. "Выход есть, но он не прост, — сказал Хмелевый тонкопряд. — Сударыня, я буду с вами откровенен. Вы знаете, — он ударил себя по грудине, — что здесь бьется честное и преданное вам сердце. Конечно, можно было бы попробовать организовать побег, но... Тюрьма тщательно охраняется, а, главное, вступая в должность, я давал присягу и не могу ее нарушить. Сейчас только вы одна можете спасти Бабочку". — "Но как?" — изумилась Аглая. "Нужно найти Большой Протокол и принести его нам. Постойте, не возражайте! Если его принесете *вы*, Бабочка будет здесь ни при чем. На него не ляжет ни малейшей тени. Обещаю вам, что его имя вообще не будет фигурировать в деле. Мы тотчас выпустим его, и вы сможете улететь вместе с ним в теплые заморские края. Узнайте у него, где хранится протокол — и вы спасете его!" — "Да ведь он..." — начала было Аглая, но тут же прикусила язык. "Вы хотите сказать, что он доверил Протокол вам?" — мгновенно догадался Хмелевый тонкопряд. "Ну да", — вынужденно согласилась Перламутровка. "Тем более, сударыня, вам и карты в руки! Вспомните, наконец, что Бабочка не только ваш жених, но и выдающийся писатель нашего времени, и мы просто обязаны спасти его — для искусства".

Последний довод окончательно убедил Аглаю. Она вышла в другую комнату и через несколько минут вернулась с коконом куколки. "Берите!" — сказала она. "Что это?" — изумился Хмелевый тонкопряд. "То, что вы искали". Следователь схватил куколку и потряс ее. Из кокона с шелестом посыпались вниз бумаги. "Господи! — пораженный Хмелевый тонкопряд хлопнул себя по лбу. — Да ведь она лежала в доме Бабочки, когда мы произ-

водили обыск. Но мы и представить себе не могли, что там могут быть рукописи. Она выглядит совсем как живая. Вот уж действительно — куколка![18]"

Хмелевый тонкопряд сдержал свое слово. Как только в руки его попал разыскиваемый документ, он сейчас же выписал постановление об освобождении Бабочки. Выйдя на волю и узнав, какой ценой куплена его свобода, Бабочка пришел в ярость. Объясняясь с Перламутровкой Аглаей, он не удержался от самых едких слов. "Боже мой, что вы наделали! — в сердцах восклицал он. — Неужели вы не понимаете, что погубили мою репутацию! Кто поверит, что это не я выдал протокол? Нет, лучше бы мне крылья спалило огнем, чем такой позор!" Робкие попытки Аглаи оправдаться, объяснить, что Хмелевый тонкопряд сумел запугать ее, а затем ловко воспользовался моментом замешательства и отчаяния, ничему не помогли. Бабочка даже хотел вступить в Клуб самоубийц и ждать, когда ему выпадет туз пик, но тут другие события отвлекли на себя внимание общества.

Вначале разразился скандал с Адмиралом, который, как оказалось, присвоил себе часть казны Лиги разнокрылых, а затем Мертвая голова переметнулся к противникам и стал главою Партии равнокрылых[19]. На этом фоне история с Большим протоколом померкла, а вскоре о ней и вовсе забыли.

Бабочка, однако, так и не смог простить Аглаю, и помолвка была расторгнута. Некоторое время спустя, встретившись в Литературном клубе с

18 На уголовном жаргоне "кукла" означает стопку чистой бумаги, нарезанную по формату денежных купюр и заклеенную как в банке. Сверху и снизу кладется по одной настоящей купюре. "Куклой" подменяется подлинная пачка денег во время купли-продажи.

19 Он тут же объявил через газеты, что последние точные измерения зафиксировали абсолютное равенство его крыльев — по 56 миллиметров в размахе каждое.

Хмелевым тонкопрядом, Бабочка совершенно случайно споткнулся и выплеснул ему на крыло бокал мартини. После взаимного обмена эмоциональными восклицаниями последовал вызов на дуэль. Секундантом со стороны Бабочки был я, со стороны Хмелевого тонкопряда — Древоточец саксауловый (*Holclcerus campicola*), которого Бог знает каким ветром занесло в наши края. Стреляться положили в пяти усиках, сходясь одновременно. Оба противника промахнулись, после чего поехали в клуб допивать коньяк.

"В конце концов, — сказал Бабочка в тот вечер Хмелевому тонкопряду, — вы были не так уж и неправы с вашими рассуждениями о тождественности "да" и "нет". Как подумаешь об относительности нравственной парадигмы мира, так все остальное уже кажется сущим пустяком. Давайте-ка выпьем еще по одной. Я угощаю".

Они чокнулись, а я, глядя на сверкающую влагу в их бокалах, вдруг припомнил, что так же матово блестели чешуйки на крыльях моей умирающей матушки. Это было на первый год после Большого Взрыва. Мы никак не могли получить разрешения на выезд из Страмура, еды же в стране становилось все меньше и меньше, и, понятное дело, в первую очередь ее распределяли по муравейникам, среди муравьев. Помню, как в почти сомнамбулическом состоянии сидел я в нетопленной квартире и, монотонно раскачиваясь в вольтеровском кресле, часами наблюдал, как с крыльев матушки отваливаются чешуйки — точь-в-точь, как черепица с ветхой крыши. "Раз... два... три..." — машинально считал я их про себя. Изредка я вставал, чтобы подоткнуть выбившуюся из-под матушки грязную простыню, и снова в полузабытьи падал на кресла... Сейчас, когда я думаю об этом, бросает в нестерпимый жар, а тогда...

тогда не было сил даже на слезинку.

"А куколка? — слышу я голоса обманутых читателей. — Вы же обещали рассказать историю про этот скандальный роман — о паталогической любви взрослой бабочки к куколке-подростку". Друзья мои, каюсь, грешен. Надеюсь, вы простите мне маленький обман, единственная цель коего — заинтриговать вас. Иначе кто прочтет эти воспоминания благополучно забытого нынешней литературной молодежью старого, нудного Голубянки Икара (*Polyommaatus icarus*) с его вечным стремлением к моралите и обстоятельной описательностью, давно вышедшей из моды в наш динамический век? Мне хотелось осветить не скандальные страницы жизни Бабочки, а те, которые рисуют его высокие человеческие (*Homo sapiens*) качества. Что же касается интимной жизни Бабочки, то я не охотник рыться в чужом белье, увольте.

(Roma — Termini)

ЛАВРИН Александр Павлович родился в 1958 г. в гор. Советская Гавань. Учился в Московском гос. институте культуры. Работал переплетчиком, библиографом, журналистом. Выступает как поэт, критик, прозаик. Автор книг "Кто есть кто в перестройке" (Marburg, 1990), "Поднимается ветер" (Москва, 1991), "La mort d' Egor Mitch" (Aix-en-Provence, 1991). Председатель инициативной группы Международного общества воздержания от смерти.

СТРАНСТВИЯ

Жар. Каникулы. Детство. Реверс.
"Левис" дудочки. Розан. Ремиз.
Не будь ослом.
Красная шапочка ищет волка.
Подвешенный за волосы Авессалом
покачивается на новогодней елке.
Стрелки движутся ощупью. Ты в раствор
окунаешь лакмус;
лакомое воровство,
Себастьян Бахус.
Тяготея к прозрачности, каждый знак
тяготеет к прозрачности
посвященья.
Произведение строится как сквозняк:
Дух и щели.
Медитирует на Восток
воздух утренний в позе "лотос".
Чем незримей — тем ближе Бог.
Чем прозрачней — тем выше плотность.
Упираясь в предел Семи,
мысли гнезда свивают в числах.
Ио сказал Он ему: "Возьми
семь пар чистых и две нечистых.
Дзынь — бокал об бокал и — дзынь.
Красным стол заливает воском.
Ты гадаешь мне на "И цзин".
Луй[1] — мой символ. Ты ищешь сноску.
Осторожнее! — луч звезды
спит, уткнувшись в твое колено.
За стеною трещат кусты:

1 Луй — странствие. Книга перемен.

снова греки крадут Елену.
Не усни на златом руне!
Луч скользит по твоей ключице.
Сталь высверкивает в окне,
видишь — перья роняют птицы
Стимфалийские; и перо
на бумагу, кружась, ложится
и бежит, превратясь в Пьеро
по горящей под ним странице.
Кто ты, щупальце жизни, где
цель нельзя отличить от средства?
В этом призрачном "ты", в среде
обитанья руки и текста
ты не можешь быть бегством от
одиночества или хора.
Путь назад = путь вперед.
Ты есть точка иной опоры
или поиск ее. Не бес
(да не минут его дары нас!),
но великий соблазн обрести
до-бытийную андрогинность.
Преломляется сверху вниз
света чистого Эпинойа,
но в колодце из тонких линз
твое место под самой дольней.
Диффузирует Дух на дне,
и лучи его здесь — как ниндзи.
Есть единственный путь к Тебе:
восхожденье от линзы к линзе.
Междуречье (пробел) Руси.
Отмель мелоса. Дух и тело:
между ними — период мела,
челозаврия. Моросит
лунный свет на твои цепы.
Бог с тобою, но вам уже не
в силах выбраться из цепи
искажения искажений.

Изумрудный метет в лицо
снег. Под шкафом шипят авгуры.
Утлый дом наш берут с торцов
два циклопа в беретах бурых
и на ремнях несут, и пол —
словно скатерть — вползает в губы.
Заборматывайся на пол-
тона тише. Играют трубы,
кракелюры на потолке
распускаются, Дух и тело
в румбе стелются, мир Микен
манекенствует... Сменим тему.
Помнишь? — бухточки Казантипа,
гуталиновый рай бычков,
на телеге сидит Ксантиппа
с алюминиевым бачком,
цедит чачу ворча и люто
недовешивает виноград.
"Здравствуй, тетка! почем цикута?"
Буркнет глухо: "Один сократ".
Меж бидонами — пес на сене
прянет ухом и, желтый глаз
приоткрывши, в парах косея,
блеванет содрогнувшись. Аз
грешный искал спасенья
в этом царстве из ковыля,
аз в бинокль следил, как сейнер
год до пристани ковылял:
он, убогий, трубил Ковчегу,
уплывающему на Крит...
Больно вольному печенегу
наблюдать, как плывет семит.
Эй, кудлатый, куда ж нам плыть-то?
Палец в небе рисует Крым —
контур млеющий, точно клито...
(прости, Господи, караим)...
Троеточье. Задуй свечу.

С новой строчки, абзац: и рушась.
Полночь, волны, ни зги, но — чу:
...подкрадывалась к берегу
и, рушась,
закусывала губы и, как шторм,
накрывши с головой, влекла в глубины.
Мне не хватало крыльев голубиных!..
Твое лицо похоже ни на что.
И речью не настичь тебя. Недаром
двоился пред тобою каждый слог.
О, царственное зренье Буридана,
не будь ослом,
остынь!

Дзынь...

Покачивается

Авессалом.

СОЛОВЬЕВ Сергей Владимирович родился в 1959 году в Киеве. Окончил филологический факультет Киевского университета. Работал художником-реставратором. В Киеве небольшим тиражом выпустил книгу стихов "В зеркале отца" (1987). Живет в Москве.

А. Медведев

НОЧЬ ИЛЬИЧА

Август. Ночь. Илья Ильич Семуков, ожидая поезд, прохаживался туда-обратно по остывшему перрону, сшитому, как и все вокруг, из неровных клиньев темноты и обильного света. Один, самый длинный шов, соединял светлое с черным по верхнему краю галечной насыпи, другой, покороче, перечеркивал пути поперек, от высокой прожекторной мачты на той стороне станции до здания вокзала, где его режущая глаз четкость теряла силу, разбавляясь жиденькой подсветкой синеватых неоновых фонарей и желтых окон зданий. На небе звездный космос. Уставший командный голос, одинаково плохо со всех сторон слышный, требовал поставить Ставрополь на пятый путь, а мастера Шиктова пройти к диспетчеру. Пахло дынями и солидолом, но не очень.

Семуков, в просторечии Ильич, пошевеливая рукой в кармане клетчатого пиджака, поигрывая, как четками, надетыми на кольцо ключами, то смотрел под ноги на плоские окурки, шелуху семечек, палочки от эскимо, то, подняв голову, водил взглядом по крупным лоскутьям света, по звездам, по фигурам редких пассажиров, как и он, медленно прогуливающихся, но ничего из перечисленного не замечал. Останови его сейчас, тряхни за ворот, спроси: "Ты что тут делаешь? Что сейчас видел?" — быстро не скажет и даже не сразу поймет, где находится. Дело не в возрасте — Ильичу сорок девять, не в профессии — он инженер, а в обстоятельствах, которые, как ни крути, сильнее нас.

Брат его, Валерий, умерший три года назад от рака желудка, и мама, умершая ранее с таким же диагнозом, начинали болеть, как он. И хотя врачи, собрав после обследования том убедительных бумаг и снимков, утверждали, что ничего, кроме обычного гастрита, у Семукова нет, он таки им не поверил и направился в Вологду, где жил приятель-онколог. В первый день как стукнуло подозрение, утром, он противно похолодел, натыкаясь на углы, ходил быстрым шагом по пустой квартире, падал лицом вниз на кровать, кусал губы, поносил и много пил; потом, справившись с внутренним холодом, взял себя в руки, и в семье, и на работе, он полагал, ни о чем не догадались. Покололся, обследовался, попил пилюли — боли прошли, но такое, как привкус, не сплюнешь, и страх, страшок кой-какой, остался, лишил Ильича свободы, стронул что-то, и, повторюсь, дерни его за рукав, спроси "Что сейчас видел?" — не сразу скажет.

Отправление в одиннадцать двадцать, уже одиннадцать, а ничего не объявляли. В справочном сухая девушка в пилотке и с носом, смахивающим на маленький перевернутый унитаз, сверху которого криво крепилась отечественная оптика, грубо велела ждать. Семуков хотел послушно отойти, но, повернувшись, ткнулся лицом в широкую грудь подходившего к окошку мужчины. Лицом в грудь не потому, что мужчина очень уж высок, а потому, что сам Ильич мал ростом, метр шестьдесят пять, а мужчина с большой грудной клеткой, стало быть, за метр восемьдесят. Как часто бывает у скромных людей, они хотели уступить друг другу место, которого с полвокзала, оба сделали шаг в одну сторону, потом оба в другую, оба понимающе улыбнулись — и познакомились тем легким до-

рожным знакомством, что не требует напряжения и ответственности.

Тихон Тимофеевич Косенко, начальник цеха ремонтно-механического завода, несмотря на респектабельную внешность, оказался простым, общительным мужиком, знающим жизнь, — виски седые, семейный, татуировка "не забуду мать родную"; плотно сложен, но не толст, лицо добротной резьбы широким резцом, глаза в красивых очках смотрят вдумчиво и серьезно, но, бывает, лукавят.

Ильич худой, подвижный, подверженный резким сменам настроения, что называется, не смотрелся рядом с Косенко. У Ильича и черты лица невыразительны, и глаза выцвели, и волос мало, а те, что держатся, мышиного цвета; улыбка всегда виноватая и усталая, а когда не улыбается, углы рта отвисают грустной подковкой; ходит косолапо.

Опять прогуливаясь по черному и по белому, слыша, но не слушая Тихона Тимофеевича, Ильич думает о черном, белом и цветном, о том, что утром рассветет, расцветится, мир проявит краски, зазеленеет черная сейчас трава, фильтр вон того растоптанного окурка будет оранжевым, фасад вокзала окажется кремовым с бело-голубым верхом, а небо мягким и синим, ночью же красок не хватает.

Начал он сравнения чтобы отвлечься, но, постепенно, детское занятие понравилось — для него не надо напрягаться. Он любил самотек мысли — это лучший отдых. Ночь интересна контрастностью, как шахматы, шагнул — черный асфальт — тень, шагнул — белый асфальт — свет, горизонта нет, все близко: огоньки далеких машин, окурки, звезды, Тихон Тимофеевич, рассказывающий о своем племяннике, остро блестящие рельсы, палочки от эскимо. Днем не так, днем растекаешься

вниманием по полутонам и зрительным малостям, окружающее кажется взаимосвязанным, не видишь граней и швов, цвет их стирает, затушевывает, кроме горизонта, который, конечно, нужен, чтобы соизмерять расстояния и наводить ясность. Так бывает и с человеком: то ночь — черно-бело все, близко, резко; то день — цвета, громкие звуки, понятность, нужный каждому горизонт. В ночном Ильиче время смешалось — светили звезды, на горизонте оранжевели корешки огромных сигарет, от которых болеют, а может, привыкший за жизнь к режиму, он на ходу засыпал.

Тихон Тимофеевич тем временем успел рассказать о случае с его пятнадцатилетним племянником. Поджариваясь с матерью на сочинском пляже, паренек щурился от удовольствия. Чистый, мягкий песок, ноги облизывает сытое море, стройные женщины ходят, почти голые — тащился юнец. Скосив и прищурив глаза, он поглядывал, как рядом резвятся две перезагорелые девушки и три крепких парня. Девушки повизгивали, парни похохатывали, но и те и другие напряженно. Через время игра стала жестче, с полненькой был снят лифчик, и она, прикрывая одной рукой сметанные груди, другой удерживала трусишки, которые ребята и вторая девушка содрали уже до колен. Побледнев, жертва громко и истерично закричала, оглядываясь по сторонам. Племяннику — кровь в голову. Бросился защищать, но был избит, раздет, и та полная девица, только что жертва, не надевая лифчик, нервно смеясь, видимо, в благодарность, приколола ему к шкурке красивую брошь.

Мальчик немного помешался, мама его слегла с сердцем, а Тихон Тимофеевич собрался им по-

мочь морально и материально, за тем и ехал в Вологду.

Семуков пожалел паренька, но спокойной, общей жалостью. В нашей современной информационно-музыкальной жизни столько всего страшного происходит, что Ильич, как все, очерствел душой, а может, растерялся. Он в шестьдесят восьмом году был на Арале, такое чудесное море было, а смотрит газетные фотографии — нет моря, нет красоты, пустыня на дне, мимо высохшего корабля едет трактор. Мальчишки забрались в морг, отрезали трупу голову и, греясь у костра, варят ее, чтобы поиграть черепом. По Сибири горят тысячи гектаров великолепного леса, мало где такой сохранился, а газеты пишут об этом в конце, вместе с заметками о курьезах. Внуку Павлику согласились колоть импортное лекарство только после того, как дед Илья заплатил "сестре" двести рублей, хотя та знала, что кроха при смерти. Оно и раньше так было, даже хуже, но Ильич жил спокойно, беда это его или вина, но он верил во временность безобразий, в то, что вот поднатужимся пятилетки две — четыре — и прорвемся, все поправим, обиходим, помягчаем сердцем, повеселеем от достатка, наладим в стране порядок, а тут смотрит: разруха, наркомания, фашисты появились, проститутки, миллионеры, хоккеисты проигрывать стали, фрукты с отравой, СПИД, радиация — приехали, слезайте. И у него, возможно, в животе рак. Ох-хо-хо.

Поезд на станцию втянулся одновременно с объявлением о его прибытии. Втянулся, натужно скрежетнул несколько раз, облегченно выдохнул из невидимых ноздрей молочный, быстро расплывшийся легкими виньетками пар; замер, ожидая, пока суетливые пассажиры выйдут-зайдут, усадил

их по местам, подождал лишнюю минуту опоздавших; отдохнув, снова, на этот раз резво, фыркнул парком, лязгнул железными суставами, сначала незаметно, затем шустрей и шустрей заскользил мимо почти пустого перрона, вползь, гремя начинкой, в спящий темный лес, и повез людей дальше на север, ближе к утру.

Обычный купейный вагон, как водится, плохо освещенный; проводник, так тоже водится, с похмелья, — сворачивающие билет серые пальцы трясутся; расписание из-под треснутого стекла вытащили, длинный коридор и ряд дверей, все на одну сторону, облицованы синим пластиком; всемирно известный запах особой железнодорожной пыли, и только на северных дистанциях встречающаяся, специальная, липкая грязь.

На север в августе не рвутся, в полупустом вагоне Ильичу не трудно оказалось поменять место на двадцать второе, выше Косенко. Тихон Тимофеевич с верхней полки мог упасть по причине своей крупности, с ним, он говорил, случалось. Семукова верх устраивал.

Третьим в купе оказался преподаватель пединститута Александр Львович, худой, высокий, с аккуратной бородкой, модно одетый. Он часто моргал, коротко и неубедительно улыбался, все поправлял что-то в вещах, перекладывал с места на место, кудряво выражался, но попутчикам понравился.

Ильич сначала не хотел ложиться, застелил постель ломкой, твердой простыней и сел рядом с временными приятелями, а Косенко, вроде так и надо, распечатывал консервы, резал кровяные помидоры и нежно-розовое сало, снимал чехол с бутылки "Русской". Ильич и Александр Львович

доложили к закуске свои припасы, тоже вроде так и надо. Косенко разлил, и все трое замерли.

— Ну, за знакомство, мужики, — поочередно, внимательно оглядев спутников, сказал Тихон Тимофеевич и опрокинул на два пальца налитый стакан.

Александр Львович сделал то же, но молча. Ильич вздохнул и пить отказался, сославшись на самочувствие. После второй и предварительного знакомства затеялся разговор. Семуков его слушал уже лежа на полке, куда он, извинившись, взобрался. Александр Львович и Тихон Тимофеевич, видя придавленное состояние Ильича, к разговору и выпивке его привлекать не стали, а он и рад.

—...ну что ты, Александр Львович, хочешь? Разве Горбачев за всем уследит? У нас в экономике сейчас все решает среднее и нижнее звено, до мастера, а оно-то, понимаешь, и не меняется. Его не на что менять...

— Не скажи.

— Что "не скажи"? Выборы?

— А почему нет? Люди — народ умный, разберутся, выберут.

— Ты ведь педагог, Александр Львович?

— Да.

— Вот. А скажи, почему на Западе без производственной демократии справляются? Они что, отсталые?

Косенко смотрел на педагога по-доброму, но как старший. Оба, беседуя, жевали тонко нарезанное сало, лук и помидоры, посыпая их солью из спичечного коробка, призывающего пользоваться чековой книжкой. Ильич смотрел в окно. Светились звезды.

— Там, — Косенко имел в виду заграницу, — на заводе есть хозяин — в этом суть, в этом дело, демократия нужна только в политике.

— У нас тоже к этому идет, как я понимаю. Они, мне кажется...

— Горбачев с Рыжковым?

— Да. Они, мне кажется, хотят начать с мелочей — кооперативы, аренда всякая, подряды и тэдэ, а когда люди привыкнут к тому, что без труда не вынешь из пруда, тогда и отпустят на вольные хлеба всю промышленность. Они понимают — без рынка никуда, а рынок постановлением, сразу сложиться не может, это система, а не закон.

— Может быть, может быть. Посмотрим. Но смотри, что выходит: у меня в цеху хороший слесарь получает триста, а какой-то засранец с бабочкой стоит в баре, как... коктейли мешает, а получает шестьсот — как, моему слесарю не обидно, думаешь? Кто без труда рыбку достает, слесарь? Хоть бы не врали про справедливость. Какая, к черту, справедливость.

— Пусть слесарь идет работать в бар.

— Ему стыдно, он честный человек. За бугром хороший слесарь больше бармена получает — там справедливость.

— Но как-то перейти, — Александр Львович покрутил перед собой кистями рук, — к рынку надо...

— А не боишься крови?

— ?

— Крови, говорю, не боишься?

— В каком смысле?

— В самом простом смысле, в красном смысле. Гражданской войны не боишься?

— Слесаря с барменом?

— Не только. Причин навалом, причины растут, пухнут, и...

Они говорили такое, а Ильич, мельком слушая, думал о своем, вспоминал бабушку, она учила: "Не говори, Илюша, чего не понимаешь — грех, внучек, головку портишь, правильным человеком не вырастешь..." Его, в основном, бабушка и воспитывала, богомольная такая щупленькая старушка, с руками в сетке из синеватых жилок под пергаментной кожей, с выцветшими, как у него сейчас, глазами; все хлопотала, хлопотала целый день в фартуке из ситцевых незабудок, а поздно ввечеру оденет беленький платочек, сядет у кровати, натруженными руками подол поправляет и сказки рассказывает, учит внука жизни, учит вере в Бога, а внук, пионер, на нее смеется. Бога, говорит, нет, его, говорит, капиталисты придумали, чтобы легче было рабочих эксплуатировать. Бабушка, как правило, не злилась, смотрела понятливо, улыбалась морщинками, а все свое продолжала, про Бога, про грех, и клала крестное знамение на внученка и себя, глядя вверх верящими — как хорошо они помнятся! — глазами. Щемит у Ильича сердце, помнит он не только глаза, помнит сколько злого бабушке сделал, обидного наговорил, но помнит, что любила она его, легко прощала. Дорисовал пионер ангелам и святым в красивой книжке с ятями, под названием "Чудесный сад", папиросы с щедрым дымом, рога коровьи, шляпы, половые отличья больших размеров, а бабушка плачет взаправду, кончик платка использует, причитает: "Ой, плохо тебе будет... Спаси и сохрани неразумнова раба твово..."

— "Это кто? Это я-то раб?!" — возмутился Илюша, вырываясь из хрупких рук бабушки, а она ругает вдогонку, потрясая кулачком: "Антихрист ты! Пропагандист!" Вот проиграл подросший Илья в три листа двести двадцать рублей старыми, платить не чем оказалось, други долг простили, вошли в положение, но с его согласия двадцать два раза, по разу за червонец, отложили по лбу должника мокрых с оттяжкой, старательно отложили — аж пальцы припухли. Дошел, качаясь, картежник до дому, сел на пол и стал помирать не на шутку. У бабушки большей беды не бывало, роднее Илюшиного лба она лба не знала, тихонько плакала и причитала, накладывая олуху на поврежденное место примочки фирменной рецептуры. А раненый про себя думал, даже щептал вроде, покрытыми первым мягким пухом губами: "Бабушка, родная, прости пропагандиста. Злой я, бабушка, жадный какой-то, много выиграть хотел, но я только снаружи такой, правда, ты же знаешь, на самом деле я добрый, я же люблю тебя, я машинку швейную тебе перед отъездом хотел купить, я...я..." — и плакал вместе со старушкой, не трясясь, чтобы не потерять сознание.

В резиновой траурной раме вагонного окна плыл медленно нарядный ночной город. На многочисленных стрелках поезд сильно качало, сбивало с воспоминаний, отвлекало. Мягкими одуванчиками цветут фонари, редкие машины светом фар отрезают от темноты то какого прохожего, то темный угол здания, то ограничиваются дорогой. Горят змеистые рекламные надписи, светятся редкие окна живых квартир. И за каждым окном живут люди. И за каждым временно... бабушка... бабушка.

А Тихон Тимофеевич с Александром Львовичем, еще на три пальца опорожнив бутылку, ели одним ножом скумбрию в масле и говорили о вещах и категориях менее конкретных, чем в начале диспута.

— Так не может быть, — говорил убежденным голосом Александр Львович, мелко мотая красивой головой, мелькал его строгий нос, — не бывает так, это сплошной идеализм. Человек — продукт природы?

— Угу, — прожевывая скумбрию, соглашался Косенко, хотя заметно, что соглашается он только для того, чтобы прожевать спокойно и проглотить рыбу.

— Значит, на общество действуют те же законы, что и на живую природу?

— Угу. Положим.

— Но природе зло присуще как инструмент развития, как способ существования. Эгоизм — зло природное, нужное. Чтобы люди становились лучше и лучше, они должны развиваться, напрягаться, а без эгоизма это невозможно...

— Чепуха. — Начальник цеха посмеивался. — Никто не говорит, что не должно быть борьбы зла и добра. Дело-то в том, где проходит фронт, кто наступает. До двадцатого века добро наступало, а сейчас, думаю, зло.

Педагог педагогов задумался, не жевал. Косенко поднял веселые глаза на Семукова и подмигнул, призывая в соратники по борьбе. Ильич ничего не понял, но ответно улыбнулся и на правах старого знакомого, опустив руку, постукал Тихона Тимофеевича согнутым указательным пальцем по голове, а потом большим пальцем показал: "Во!" Втроем посмеялись, и Семуков снова

отвлекся. Окно на ладонь было открыто, но он лежал по ходу поезда, и ему почти не задувало. Видимое уплывало от него на юг. Внизу курили, дым сизыми струйками медленно, сопротивляясь тяге, цепляясь за раму, тянулся к ночи, за кромкой окна струйки срывались и стремительно неслись, уже невидимые, в черную бездну бесконечности.

Заныл желудок.

Чуть-чуть остыла кровь.

Семуков осторожно сполз с полки, не мешая спору о конституциях и свободах; надевая штаны, поймал слухом забавную фразу: "...застой с тысяча девятьсот четвертого года тянется" — и вышел из купе.

В проходе вагона никого. За окнами, как уже было сказано, светились звезды, на угольно-чистом полотне ночи их посеяно густо. Ильич, прижав лоб к ледяному стеклу, сощурился — звезды запутались в ресницах, стали крупней; открыл глаза — и засмотрелся, не моргая, замер, глядя в космос.

Редко, но бывало, что он не мог спокойно смотреть на ясное ночное небо, его охватывало неподвластное разуму чувство оцепенения, оно останавливало или раскрывало душу, и он, видя основу вечного, понимая ее, слушая что-то древнее, обезьянье, должно быть, в крови циркулирующее, в другое время молчащее, растворялся, рассыпался по атомам, на звезду по атому, чувствовал себя как часть сущего, понимал все, его пониманию не было тогда предела, сердце ломало ребра, не страшна становилась смерть, но не радовала и жизнь, сами эти понятия, имеющие начало и конец, ничего не значили перед величественной и торжественной всеохватностью бесконечности.

Он, человек с изрядно поношенной душой, в такие минуты не осознавал даже, а, скорее, ощущал, что мир умом не понять, не объяснить, даже не подступиться, не оценить малость и пустяковость того, что происходит на Земле — в окрестностях крохотной пылинки — Солнца, которая вместе с мириадами других пылинок образует пылинку — галактику, которая вместе с мириадами других образует большую, но все равно пылинку — вселенную, которая вместе с другими пылинками — вселенными является лишь легкой пыльцой непостижимой, как ни тужься, не имеющей меры Вселенной. Он и не тужился, он, всего-то человек, трепетал, радовался, что жив, что может силой воображения разместить по атому на звезду, раствориться в безвременье и не существовать как материальное тело, видя с одной звезды другую, с другой — третью, все остальные, Землю нашу, себя, выглядывающего из четвертого вагона на гудящую безмолвием Вселенную.

Ильич закрыл глаза — слишком громко стучало сердце, слишком сильно напряглись нервы, но под опущенными веками продолжали светиться яркие, колкие точки. Опускаясь со звезд на землю, собирая воедино свои атомы, снова включая в работу поверхностный ум, он протяжно вздохнул. Семуков, конечно не думал о звездах такими высокими словами, он только чувствовал так, не имея возможности и желания передавать другому открытое, и себе объяснить не мог.

Боль становилась сильней и сильней, тошнило, а он по инерции думал: "...жизнь — это не так серьезно, как кажется..." И вдруг страшно, до испарины страшно крикнул внутрь себя: "Что я несу!? Мне же осталось чуть-чуть, меня не будет... Больно. Хочу жить! К черту звезды, пусто там, не-

нужно..." По мере того, как становилась на место душа, тело начинало болеть все больше.

К четвертому вагону подкатила, тормозя, внушительная станция со стоянкой в двенадцать минут. Семуков, покачиваясь, сошел на твердый, гладкий перрон, машинально помог затоваренной женщине выпрузить вещи; его стошнило на колеса поезда, он вытерся платком, бросил его туда же и медленно побрел вдоль состава, гоняя по скулам желваки.

"Два пустых киоска, чугунная урна тюльпаном, ограда из арматурной стали, — упрямо называл про себя Илья Ильич видимые случайные вещи, чтобы вернуть спокойствие и унять боль, — погрузочное отделение, тележка с почтой, пьяный лежит на скамейке, фонарь с гусиной шеей, восьмой вагон... надо обратно — не успею". Пошел обратно. "Фонарь, пьяный на скамейке, почта, ограда, урна тюльпаном, два пустых киоска"ю Часы с подсветкой — подарок старшего сына показывали еще пять минут стоянки.

"Что меня задело? Что взвился? Врачам нет резона врать — видят — не мальчик. Спокойно, Семуков, спокойно, смотри какие сосны, девушка какая красивая идет, веселая. Улыбается смирно, такая брошку не приколет, а впрочем, их сейчас не разберешь". Действительно красивая девушка подошла, спросила: "вам плохо? Вас качает". "Вот умница", — подумал Семуков, а ей ответил: "Все в порядке, дочка, укачало немного". Девушка, обернувшись, улыбнулась опять смирно и пошла себе. Он зацепился вниманием за улыбку, начал отходить, успокаиваться. Как любой потребитель погоды, он с удовольствием дышал чистым ночным августом. Тихо. Далеко-далеко слышна гармошка, делово постукивает молоток обходчика, тот же за-

пах дынь с солидолом, что и на родной станции, те же швы между черным и белым — нет, что ни говори, а на земле хорошо, незачем по звездам шастать. А улыбка счастливой девушки, оказывается, может лечить. Громыхнули поочередно, вздрогнули вагоны — цепляли тепловоз или дополняли состав. Из окна вагона, не заходя в купе, Семуков улыбнулся и помахал девушке рукой. Она, отставая от состава, ответно покивала головой, еще раз улыбнулась, и улыбалась пока он ее видел — что-то у нее хорошее произошло в жизни. Все любят быть счастливыми. И вскользь мыслишка у Семукова: "Тихон Тимофеевич хороший мужик, а не спросил про здоровье..."

Когда Илья Ильич, подкрепившись кусочком пупырчатой небритой курицы и жилистым помидором, забирался снова на полку, попутчики продолжали — ох, и говорливы! — дискуссию о эгоизме, но в другом плане.

— Эксплуатация, — икая, доказывал преподаватель, — результат необходимого для нормальной жизни эго-ик-изма. Люди не могут жить без эксплуатации — это же форма разделения труда, как в семье. У нас, в Стране Советов, все друг друга эк-ик-сплуатируют, а врут, что на общую- ик, черт! — пользу ишачат. И сверху врут, говорят:"бесклассовое общество, бесклассовое общество". Да какое, Тихон Тимофеевич, оно бесклассовое?

Оратор замер с гипнотизирующим взглядом, как бы давая время начальнику цеха овладеть всей глубиной до того сказанного. Он, чувствуя силу производственника, налегал на жестикуляцию и мимику, но тщетно.

— А кто тебе, Александр Львович, сказал, что там, — Косенко ткнул пальцем в полку Семукова,

но имел в виду другого человека, — ничего этого не понимают? Понимают, понимают, дорогой, не волнуйся, но зачем им вот этот фронт — помнишь, я говорил? — сдвигать ко злу, отступать?

— А как быть? Правду скрывать? Мало врали?

— Не надо врать, все надо как есть сказать, — Косенко почему-то разозлился и покраснел, — сказать всему миру, что у нас нет, но будет новая наука про жизнь. А всех теоретиков, что с двадцать четвертого года зря хлеб едят, выгнать к чертовой матери! Трутни, тупицы, трусы! До одного!.. Давай еще по сто...

Слив в большой рот водку из стакана, Косенко успокоился, снова улыбнулся, продолжил:

— А набрать новых, молодых, с крыльшками, чтобы ничего не боялись, а как напишут — обсудить всем миром. Мало будет, не понравится народу — по новой пусть пишут, пока всем подойдет.

— А как вековой опыт?

— Как? Учесть — ясное дело, но чтоб люди работали молодые и, главное, с крыльшками, не трусы.

— А...

"С крыльшками, говорят...— думал Ильич, рассматривая потолок купе с тусклой голубой лампой. — А у меня были крыльшки?"

На четвертом курсе Семуков изобрел могилокопатель забивного действия. Стальной ящик с нижними острыми створками должен был забиваться в землю дизель-молотом, а лебедкой вытаскиваться. Получалась нужных размера яма с ровными краями — гениально получалось, но его обсмеяли всем студенческим КБ, кроме доктора Киселева, — тот похвалил за нетривиальность.

Похвалы всегда огорченного лысого руководителя хватило, чтобы вдохновиться и изобрести не много и не мало как подземный танк. Тут и многие коллеги похвалили, а Киселев похлопал по плечу. Семуков уже размечтался, сам себя засекретил, думал о подземных войсках, но неожиданно и удачно женился — и пошла жизнь обычная — теперь воспоминания: свадьба — родился старший сын — вышибли из общаги — диплом — работа за кульманом — нищета — работа с приработками — родилась дочь — работа на заводе — родился младший сын — работа — получил квартиру — работа — родился внук Павлик — работа — работа — работа — поездка в Вологду — мало живем. Крылья, может, у Семукова и были, не хватало в нем тщеславия — того эгоизма, о котором говорили попутчики, который в медицинских дозах нужен всем. А нет тщеславия — нет и нужной для полета длительной горячности и целеустремленности. Зато есть болезненная тяга к отвлеченному, вроде только что случившегося звездного приступа.

Вспомнил Ильич, как годовалый Павлик свел глаза к переносице, словно хотел одним глазом увидеть другой, испугался внучек, по лицу ребенка пробежала рябь ужаса; закрыл лицо пухленькими ручками, потихоньку убрал ладошку, посмотрел одним глазом, другим, двумя; обрадовался еловек, возликовал. За секунды ребенок испытал смертельный страх и бурный восторг. С годами способность к этому глохнет, задавленная бытом и ленью чувств. Но есть немногие, кто ее сохраняет до старости, чаще русские, это у нас или частушки, или страдания. Так и у Семукова.

— Ильич, а Ильич, — трогая за свесившийся с полки локоть, спрашивал веселый Косенко, — как ты думаешь, сколько стоит кило мамонтятины?

— Чего?

— Мяса мамонта?

— Не ел, Не видел, а что?

— Да вот Александр Львович говорит, для начальства продают по пятьсот рэ.

— Мамонт?

— Не-е-э — кило.

Кроме означенной, попутчики решали и такие проблемы: "Что имела в виду Тетчер, говоря, что каждый должен иметь право на несправедливость?" "Можно ли Остапа Бендера считать рэкетиром или правильнее отнести его к гамлетам? Кто такая апчественность?" Решение столь глубоких и важных вопросов потребовало большого интеллектуального напряжения, что, в свою очередь, потребовало большого количества сигарет. Непродыхаемо накурено. Дым в приоткрытое окно тянется уже не струйками, а сплошным потоком, и вываливает его из окна столько же, столько из трубы тепловоза, тянущего состав по северным хвойным лесам, раскачивающего ночь, считающего стуком колес свежевыбеленные столбики километража, столбы электропередач, редкие деревеньки и мосты. Успокаивающе звякают стаканы. Косенко с Александром Львовичем, хмельные оба, что называется, нашли друг друга, разговору их конца не видно.

А Семукова тошнит от дыма, ему хочется уснуть. Пробуя это сделать, он глотнул, не запивая, таблетку и повернулся к стене, на которой вырезано крупным, довольно ровным шрифтом:"нет в жизни счастья коля печора 1979". "Конечно, сы-

нок, — ответил Коле Ильич, — нет в жизни счастья, если понимать ее как способ получения удовольствий". Не то чтобы Семуков так подумал, а почувствовал так, вместо того, чтобы заснуть. И от надписи, вырезанной на синей пластиковой стене, мысли его прыгнули к другому, к давнему, застрявшему в памяти случаю.

Тогда, на рыбалке, тоже была ночь. От скрытой тучами, но видимой сквозь них луны чуть заметно светилась вода озера. Справа видно было, если очень приглядеться, лодку с положенным поперек веслом и брошенным на палубу якорем. Бархатная тишина в мире. Слева едва-едва, намеком, различались кусты в форме чуда. Неба не было. Времени тоже. Ничего вокруг не было, ни земли, ни людей, ничего. Все волшебно и зыбко. Клевало редко, но крупная рыба. Он, не двигаясь, ждал поклевки, до рези в глазах всматривался в неподвижный фосфорный поплавок собственной конструкции. Поплавок постепенно перестал слушаться уставшего взгляда и то удалялся, превращаясь в мелкую, светлую, похожую на звезду точку, то приближался к самым зрачкам, заслоняя зеленоватым светом ночь. А когда он поднял глаза, оторвал их от поплавка, чтобы проморгаться, и увидел лодку, кусты, таинственно светящуюся гладкую поверхность озера, то почувствовал, поймал в себе нежданную и совсем не к месту думавшуюся мысль: до чего же скверно, что нет Бога, насколько бы легче было с ним жить. И даже поверил, что он, Всевышний, есть, что он присутствует в этой спрятанной тучами луне, в кресте из лодки и весла, в самом Семукове, и что это он, двадцать миллиардов лет назад, взорвал, умышленно, частицу и раздул из нее все, что есть, и...и, если бы не поклевка, то, опять же, Бог знает до чего бы

еще додумалась его не спавшая вторую ночь, замученная поплавком голова.

Сейчас, в вагоне, то ощущение воспринималось еще резче, серьезней. Семукова опять пытался опутать страх. Он, как мог, сопротивлялся.

Ильич еще до больницы приготовился к самому плохому. Написал жене и сыну по письму, вложил их в документы, чтобы нашли, когда будут оформлять свидетельство о смерти. Деньги перевел на счет жены, и другое проделал по мелочам. Даже Павлику купил и припрятал красный трактор на батарейках, с дистанционным управлением, и часы с дарственной надписью "Любимому внуку Павлу от деда Ильи в день совершеннолетия". После больницы Семуков ободрился, постыдился приготовлений, а сейчас снова счел их не лишними — болело.

Вспоминая лодку, озеро, поплавок, свою догадку или, вернее, пожелание Бога, он не находил его странным, ему сейчас казалось, что пожелание-догадка была верной, вернее мелких знаний о мире, вроде разрушительных глупостей:"материя первична, а сознание вторично" или "бытие определяет сознание", а после его недавнего полета к звездам и вовсе разгулялась растревоженная, больная мысль, билась в вопросах:"А что ты раньше думал, кто тебе раньше мешал верить пусть не в Бога, его нет, а в предопределение, в то, что человек не может знать о себе и других ничего полностью верного, что знания не могут быть руководством и опорой, они малозначащи, что только вера во что-то, пусть в своего, придуманного Бога, Бога-предопределение, может дать спокойствие, смелость жить и умереть, горизонт, к которому можно двигаться без страха достичь его, уважением к себе и к своему месту в мире?" Он,

опять же, не думал так сложно, такими словами, он понимал это без размышлений, чувством и, не будучи атлетом духа, мучился. Ему ясно, что Бога нет, но тогда человек и люди вообще суть ничто в сравнении с тем, что он углядел молитвенно поднятыми глазами в глубинах звездного неба из светящегося окна четвертого вагона, тогда нет смысла в человеческой жизни и придется признать правильной мысль, вырезанную в 1979 году неким Колей из Печоры на пластике купе. Выход один — верить в Бога, которого не может быть, чтобы не свихнуться до того, как придет конец, и отличаться верой от остальной материи, которая не должна признаваться первичной, если человек хочет собой гордиться. Раньше Семуков успакаивал себя соображениями, сводившимися к абсолютности обычного. Жил-де мой дед, пахал, сеял, трудился, я вот живу—тружусь, и Павлик драгоценный так же будет — вот и вся недолга — просто и надежно. Опираясь на обычность, как на фундамент, он и жил, а может, прожил уже назначенное. Но сейчас, но боль, но рак, но звезды, но страх всеохватный перед своей конечностью взбунтовали его, перевернули десятилетиями слежавшиеся и не тронутые пласты.

Холодным умом со стороны наблюдая неразумность его, его лихорадочный поиск незнамо чего, какого-то большого смысла такой мелкой жизни, можно расценить это как малодушие, но он не только о себе думал, переживал, другим тоже помирать предстоит, все обречены на одиночество, и хорошо ли им, другим, всем, всяким подходить к краю безо всякой веры. И, главное для него, Павлуше предстоит. А как бы, как бы хорошо было бы не знать научных правильностей, думать бы как в старину. Зря Земля круглая!

Нервно мотая головой по плоской, комкастой подушке, зажмурив мокрые глаза, Ильич простонал довольно громко:"Господи! Ну почему тебя нет?!" Внизу затихли, переглянулись. Косенко встал, качнувшись, заглянул к Семукову.

— Ты что, Ильич? Нездоровится? Мешаем?

— Да что-то не того. Голова разболелась.

— А мы это... разболтались. Ба! Да уже светает, надо соснуть.

Они, кстати, тоже дискутировали на религиозные темы, но с иной направленностью. Преподаватель утверждал, что плотник Иисус не важно как в миру жил, важно, что людям открыл, то есть, что практически сделал. А Косенко упрямо доказывал, что, если человек или мессия жил грязно, убивал, обирал ближнего, то хоть какие заслуги, а грош ему цена, пусть палестинскому плотнику, пусть любимому вождю, пусть телепроповеднику, нахваливающему всякого рода добродетели.

Утихало купе. Шелестел бумажками Александр Львович — прибирал со стола. Тучный Тихон Тимофеевич, придерживая дюжим плечом свою поднятую полку, неудобно согнувшись втрое, кряхтя, что-то вытаскивал из чемодана. Сигаретный дым улетучился, а с ним еще что-то. Семуков, чувствуя, как отпускает боль, избавлялся от страха, расслабился, начал успокаиваться и приходить в себя. Там еще позвякали посудой, щелкнули наконец-то тумблером, и свет погас. Боль прошла. Вернулись дальние звуки. Где-то быстро пискнула птичка, робко. Мелькнул шум автомобиля. За стенкой требовательно крикнул ребенок. Мерно и мирно позванивала о стакан чайная ложка. Ильич быстро, как когда-то Павлуша, успоко-

ился, вроде и не заглядывал в пропасть, вроде и не переворачивал в себе ничего.

Он заснул, может, навсегда, а поперек незакрытого окна, заслоняя горизонт, громко и грозно строчили колкие верхушки траурных елей. За ними, начиная небо, крася алым голубое, незаметно глазу всплывало над уютной землей долгожданное солнце — заурядная звезда окраины галактики.

А.МЕДВЕДЕВ проживает в г.Инта. Другими сведениями об авторе редакция, к сожалению, не располагает.

Дорогие соотечественники!

Сохранение, изучение, популяризация пушкинского наследия и связанных с ним памятников отечественной культуры — возрожденного в феврале 1990 г. Всесоюзного Пушкинского Общества.

Долгосрочная программа общества по подготовке к 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина включает в себя обширную издательскую деятельность, защиту и поддержку государственных музеев, охрану памятников культуры, методическую и материальную помощь региональным отделениям общества, пушкинским клубам, кружкам, народным и школьным музеям, отдельным энтузиастам изучения и пропаганды творчества Пушкина.

Ждем Ваших предложений и помощи!

Наш адрес: 121019, Москва, Гоголевский бульвар, 6.

Наш текущий счет:700647 в МГУ Жилсоцбанка код Н-7 МФО 0202865.

Валютные пожертвования могут перечисляться на счет Советского фонда культуры во Внешэкономбанке СССР 70200002 с указанием: для Всесоюзного Пушкинского общества.

Евгений Рейн

КАБИНЕТ

"А в походной сумке спички и табак,
Тихонов, Сельвинский, Пастернак!"
Э.Багрицкий

"Мой сын, мой сын, будь тверд,
душою не дремли,
Поэзия есть Бог в святых мечтах земли".
В.А.Жуковский

Я видел сотни этих фотографий
в альбомах частных или в госархивах,
для кинофильмов их перебирая.
Там были и шикарные — от Буллы,
от Оцупа, от москвича Паоло,
а были жалкие любительские фото,
на лейках, кодаках и фотокорах
когда-то где-то снятые. Я свой
несвежий хлеб имел в киноискусстве
научно-популярном, для чего
экранизировал литературу.
Я сочинил сценарии такие:
Куприн, Чуковский, Лермонтов,
Чаадаев, Валерий Брюсов, Пушкин
как создатель "Онегина", конечно,
Маяковский, "Поэты на войне",
"Поэзия в двадцатые", — и вот
теперь писал сценарий "Клим Поленов".
Всегда работа начиналась с фото,
фотографироваться все тогда любили,
но русские писатели особо
(читай у Бунина об этом),

а поэты особо средь писателей.
О, Боже, что только видел я:
Блок на балконе, темный, загорелый,
с открытым воротом, и Люба рядом,
Есенин и Дункан на пляже в Биаррице,
в руках бокалы, пестрые пижамы,
плетеная кабинка, словом, "люкс",
вот Маяковский с Лилей в зоопарке
берлинском, Пастернак окучивает
грядки с огурцами, Ахматова на
неизвестном камне гимнастику проделывает,
поэт Бальмонт у Эйфелевой башни.
А вот они — советские поэты:
Багрицкий смотрит в микроскоп,
Сельвинский натягивает нарт
постромки (челюскинский поход),
вот на диване в Чистополе трое —
Асеев, Пастернак, Сельвинский в портупее —
когда б на фото появлялись духи, я
думаю, Цветаевой пятно осталось бы
на этом негативе. Вернемся
все-таки туда, к своим двадцатым,
к своим тридцатым. Боже, Боже мой —
какие плечи, лацканы, улыбки!
В Париже группа — шестеро поэтов
и рядом два посла. А вот они
в кавалерийских галифе и крагах, вот
в гимнастерках, в пряжках и ремнях,
и на них висят револьверы, а также
холодное оружие. Они в песках Туркмении,
на пляжах Черноморья, на пленумах,
на съездах, на банкетах — все, все останется
векам, и даже фотография с билета сезонного
поэта Мандельштама на электричку,
год тридцать шестой...
Поленов мой был рекордсмен по фото.
Работа шла успешно. Кое-что

я присмотрел и в собственном архиве.
Я вырастал в забавнейшее время —
умер Сталин! Дверь приоткрылась,
мы вошли — пустыня! Вернее —
русская затоптанная пустошь
лежала перед нами. Вот обрубок,
обломок, щепка, ржавое болото
припахивало трупами, поди-ка
разберись. И что же, пришлось нам
разобраться. Все одним, почти
без консультантов. Какие консультанты?
Глушь, туман. Кое-что, конечно, попадалось.
Кое-как во тьме энциклопедий, примечаний
к другим энциклопедиям, куски в журналах,
строчки из статей погромных (это, впрочем,
одни из самых верных нитей). Наконец
пошли и сами книги! Помню, помню,
как я обшаривал шкапы и сундуки,
поездки к барахолке на Обводный,
забытые библиотеки (ибо библиотеки
высшего калибра очистили от книжек
прежде нас в масштабе государственном).
Я до сих пор немею, принимая в руки
легчайшие бумажные изделья, первоиздания
десятых и двадцатых. Боже мой,
не будь я идиотом, что за суммы
нажить я мог на этих книгах,
в одном укромном месте я нашел
Поленова штук восемь первых книжек.
Поленов был поэтом талантливым,
случалось — гениальным
(коль гениальность бычий есть напор),
везде на форзацах, на титулах, обложках
красуется его чеканный профиль
как некий знак масонский.
Поленов был неслыханно красив.
Актер в каком-нибудь забытом фильме

Ханжонкова, а может, Фрица Ланга,
когда б задумали они поставить "Илиаду"
иль что-то римское, — так вот, актер,
игравший Ахиллеса, а может, Ромула,
а может, Сципиона. Таким вот поразительным
лицом отмечен был Поленов. Лоб и нос
одною апеллесовой чертой, а профиль
императорской монетой. Держалось это
до военных лет. Через двадцатые
прошел Поленов в первых, в тридцатых
просто первым стал, поскольку в это время
иные перешли на перековку, а кой-кого
закрыли на учет. А он писал, писал,
писал, писал. О Средней Азии, о
черноморских бурях, о Лондоне,
Берлине и Париже,
куда он ездил, словно бы на дачу, —
взял чемоданчик, чистая пижама
да смены две сорочек, и махнул!
Московский фраер, бабник, алкоголик,
он издавал двухтомники, он книги
свои прекрасными гравюрами украсил.
Их и сейчас приятно в руки взять!
И все-таки он был большим поэтом,
я знаю двадцать пять стихотворений,
которые он сможет принести на Страшный суд
литературы, и может статься, —
все ему простят!
Бег времени, о марафонец наш!
Уже другие годы, я оброс товарищами,
и теперь картина прояснилась в известной
степени. Однажды возвращаясь из Карпат
через Москву, я с Голышевым Митей,
набрав в Горсправке кучу адресов,
отправился узреть своих кумиров.
И оказались живы все почти. Живут в Москве,
в Репейном переулке, что на Таганке,

многие на дачах в поселке Перепелкино,
и все доступны и гостеприимны.
Нам Луговской показывал знамена,
мы пили чай Сельвинского, читали
на кухне у Кирсанова стихи, нам
Тихонов рассказывал про Будду,
Христа и Зороастра, Пастернак
своей рукой яичницу готовил
из десяти яиц (мой аппетит,
куда ты удалился?),
Олеша занял три рубля до завтра
(но это область прозы — замолкаю!),
Асеев пошутил примерно так:
"Коль не имеешь осязанья, братец, —
ни слова о Сезанне!" Дело в том,
что за статью о выставке Сезанна
меня из института исключили,
Поленов месяцами жил в отеле
в поселке Перепелкино, и мы его
застали за бутылкой водки.
Расплылся, размягчился наш кумир,
обмяк, оброс махрой домашней пряжи,
свисали брови, алые прожилки
набухли и пульсировали. Он
был явно добрым и широким человеком.
— А ну, ребята, выпьем, а потом
прочтем друг другу лучшие сонеты.
Июньский вечер, запахи, природа,
поет соловушка, и нам Поленов
читает книгу двадцати поэм.
Там есть необычайные места,
исполненные ярости и силы,
есть пластика рембрандтовой замашки,
есть многое, но все это провал.
Нельзя всю жизнь прожить, как жил Поленов,
и "Фауста" под занавес создать!
Потом читаем мы. Он шутит, хвалит,

еще бутылка водки. Мы в угаре —
такое счастье, сам Поленов нас
и выслушал, и, выслушав, одобрил.
На электричке мы спешим в Москву,
и грузный наш Поленов, на свежую
дубину опираясь, до полдороги провожает нас.
И снова — годы, годы, годы!
На дне рождения известного повесы,
все в том же Перепелкино меня
сажают рядом со вдовой Поленова.
Ее зовут Августа (по поводу ли Байрона,
а может, иному поводу — не знаю,
но забавно — по паспорту она
Полина Львовна).
Она мне нравится, в ней что-то есть такое...
что я, и в гроб сходя, скажу: в Августе
такое есть, что нынче уж нигде, ни за какие
деньги не укупишь. И снова год, а может,
полтора...
И я пишу сценарий "Клим Поленов"!
Я прихожу к Августе. Вот квартира
в домишке, что в Репейном переулке
вознесся на двенадцать этажей
над домиками в полтора аршина.
Она ведет меня по кабинету Поленова —
какая красота! Коллекция оружия —
клинки дамасские, гурда и золинген, божки
и будды, идолы Востока и негрская скульптура,
даже маски каких-то эротических мистерий,
но главное — шкапов пятнадцать книг,
гравюры в палисандре и ампире,
коллекция старинных орденов, подсвечников
семнадцатого века, петровское стекло
и книги, книги — чудовищное что-то —
эльзевиры. И стол огромный, мощный у окна.
А у стены диван. Мне объясняет Августа:
он, диван, набит особым волосом туркменского

сайгака, и потому на свете нет предмета,
где было бы удобнее лежать.
Ночую у Августы на диване,
набитом волосом туркменского сайгака,
и верно, этот молодец — сайгак.
И вот, дабы пресечь теченье мыслей,
я достаю из глубины журнал,
какой-то там журнал годов двадцатых:
нормальная белиберда — Иван Катаев,
вот Эренбург, дискуссия Полонского
и Фриче с иудой Гроссман-Рощиным,
статейка о враждебном Заболоцком,
и вдруг я замираю — что такое?
Статья какого-то Авдеева
"Тогда в Тобольске и Екатеринбурге" —
да это о расстреле Николая и всей семьи,
и это написал тот человек, что нажимал курок.

Я выписал лишь несколько абзацев:

"...Когда мы предложили предъявить для осмотра ручные вещи, Александра Федоровна начала протестовать на ломаном русском языке, — оказывается, бывшая русская царица и говорить-то по-русски не умела. И доктор Боткин объяснил нам ее протест. Она кричала "истефательство", "хосподин Херенский" и еще что-то. По объяснениям Боткина, это значило, что она указывала на Керенского как на образец вежливости, а наш осмотр считала издевательством. Николай Романов молчал... Бывший царь сам приходил в комендантскую и торговался насчет увеличения штата по каждой единице мирным путем... Первые две-три недели были еще затруднения с арестованными в смысле стирки белья. Привыкли они белье менять ежедневно, и надо было эту массу белья тщательно просмотреть, прежде чем сдать его прачкам, при возвращении — та же история. Согласовали

мы этот вопрос с тов.Белобородовым и предложили заняться стиркой белья самим дочерям царя совместно с фрейлиной Демидовой, да и на кухне было удобно отгородить помещение для прачечной. А делать-то им было нечего, не мешало немножко поучиться работе, хотя бы на себя. И действительно, после оборудования прачечной тов.Андреев, бывший матрос-балтиец, оказался хорошим учителем, и дело со стиркой наладилось, с тем только лишь, что менять белье они стали гораздо реже... Однажды Алексей услыхал, как красногвардейцы поют "Вы жертвою пали в борьбе роковой", Алексей спросил меня, знаю ли я эту песню, и, получив утвердительный ответ, попросил списать слова, так как ему очень понравился мотив... Оставалось одно — бывшего царя Николая Романова, его семью и приближенных расстрелять. В ночь с 16 на 17 июня это и было приведено в исполнение..."

Не просто объяснить, при чем здесь это:
Поленов, фильм о нем и Николай с Алисой
и детьми (уж вы поверьте, я — кто угодно,
но не монархист и, если надо, сам проголосую
в конвенте или трибунале). Но все-таки
история и честь ста поколений унижены
заметно униженьем всего одной семьи.
Здесь не о казни речь, она иное дело,
убили всех, убили миллионов двузначное число
во всех концах планеты, но триста лет Романовых
семья была гербом и именем России.
Вот это ужас, ужас. Кто не чтит своих гробов,
тот падаль, тля и падаль. И тут я вспомнил,
что Поленов сам был выходцем профессорской
московской (едва ль не богословия) семьи.
Он кончил поливановский лицей,

романской филологии начала постиг,
посередине курса он ушел в чрезвычайные
курсанты, поскольку восемнадцатый был год.
Не воевал он, так в Москве голодной
курсировал по темным переулкам,
ночной патруль, — какие пустяки
сравнительно с Деникиным, и Фрунзе,
и Колчаком, и штурмом Перекопа,
кронштадтским мятежом, провалом польским, —
но все это Поленов описал,
особенно события в Сибири.
Как это там: "Снега тайги молчат, разбит Колчак,
И адмиральский повар из парабеллума
палит по снегирям".
И что-то в этом роде дальше. О Поленов,
я не хочу столь позднего суда, нелепого,
твой сын родной и пылкий, я все, что мог,
принял из рук твоих, но именно
сыновнее зазнайство
мне говорит: "Поленов, ты не прав!
Поэзия есть Бог в мечтах земли".
И прав Василь
Андреевич Жуковский, который это написал
в поэме "Камоэнс", не ты, Поленов.
Сегодня днем закончу я сценарий,
потом уеду в Вильнюс, в глухомань, в Одессу,
в Ленинград, в Смоленщину, на нянину могилу.
Вагонов полных хочется, вокзалов,
случайной водки, девок, городов,
еще мне неизвестных, но набитых
моим добром... и здесь, и здесь я сын
Поленова, и мне не отпереться.
Покойся с миром, добрый Клим Поленов,
ты сделал все, что смог, — ты проиграл.

1975

***

Видение — килька в томате,
лук репчатый, плавленый сыр,
сощурившись подслеповато,
гремит медяками кассир.

И, с грохотом медным сливаясь,
стук весел и скрежет колес
в меня свое жало вонзает,
как будто комар-кровосос.

Как если бы Господом Богом
ниспосланный мне за грехи,
всю ночь книгочей твердолобый
талдычил мои же стихи.

"Больница, церквушка, сторожка...
то роща... то речка..." — и так,
чем дальше, тем больше — до дрожи,
до боли долдонил дурак.

Но кто виноват... неужели
тому и не хлад и не зной,
тому и не стук и не скрежет,
а скверные рифмы виной?..

***

Во дни торжеств антинародных
и всенародных похорон —

о, что тогда мы станем делать?
Дразнить гусей?
Считать ворон?

С трудом по Яузке злосчастной
баржа плывет и подает
гудки так страшно, так протяжно,
как михельсоновский завод.

Как на заводе Михельсона —
земля дрожит, чадит труба,
то раздается рев мотора,
то револьверная стрельба.

И я, ушам своим не веря,
иду куда глаза глядят,
иду, пока ворон считает
московский пролетариат.

— Одна! — кричит водопроводчик.
— Вторая! Третья! — вслед за ним
кричат Анисим, слесарь-токарь,
и лекарь-пекарь Никодим.

***

Всю ночь таращишься в окно,
жжешь дневники и ждешь ареста —
еще куда как далеко,
еще лет сто до Бухареста.

Вот и стараешься чуть свет,
уж коль остался на свободе,
махнуть за тридевять земель
на самолете, пароходе,

верхом на муле, на осле,
шажком, ползком, на пятой точке,
ни сном, ни духом, как на грех —
что дело в шляпе, камень в почке.

— Сейчас помру! — кричу.
— Помрешь!—
шуршит крылами белокурый
голубоглазый паренек
с неразвитой мускулатурой.

На тонких ножках — каково —
вприпрыжку с кафельного пола,
сквозь двор больничный, снег и дождь —
к подножью Божьего престола!

***

Во-первых, ложечник Митрейкин
Никита Яковлевич или
не он, а ты по меньшей мере
за командира эскадрильи.

Во сне летишь — руками машешь,
сучишь ногами под простынкой,
паришь ночами над Полянкой,
над Якиманкой, над Ордынкой.

Подумать только — чашки, блюдца,
тазы, корыта, клизмы, грелки...
венерианские кастрюли...
и марсианские тарелки...

Бог мой, чего здесь только нету!
А всяка бяка во Вселенной
с двояким смыслом — с цепью-крепью,
с параболической антенной.

***

Бомбометатели... а может —
и Христа — ради дураки —
калики, лазари, пророки,
есть без ноги, есть без руки.

С несчастной склонностью к раздору
когда не с Богом — так с Царем,
со стихотворцем больно скорым
или с горланом-главарем...

Шинелку скинул. Глаз прищурил.
Пророк... поэт... и так и сяк
он целит в сердце... ну а пуля
который раз летит во мрак.

Который раз, раскинув руки,
с размаху шлепаясь об лед,
над ухом слышу:
— Так-то лучше.
Мне показалось — недолет.

— Отличный выстрел! — скрипнут сани. —
Благодарю вас, господа!..
...Нет-нет, о том, что он промазал,
пусть не узнает никогда...

***

Ах шуры-муры, трали-вали
да на гитаре: тень да брень,
а за окном — жасмин китайский
или персидская сирень.

Китайцы, персы... На поверку
ты сам китаец или перс...
Так для каких стихов и песен
Господь уста твои отверз?

Что делать — песня чужеземца
всегда горька и солона,
и так сладка одновременно,
как черноморская волна.

Глаза зажмуришь — скалы, сосны,
фаросский мыс, судакский пляж,
плечом к плечу столяр и плотник,
таксидермист и метранпаж.

На островке вечнозеленом,
срамное место кое-как
прикрыв ладошкой, муж ученый
лежит под солнцем, сир и наг.

***

Всего делов-то: стул да стол,
комод да койка, кот да кошка,
но кот чуть свет махнул во двор,
а кошка юркнула в окошко.

Она с карниза смотрит вниз —
на дно двора, на дно колодца,
хвост поджимает и дрожит,
все кажется — вот-вот сорвется.

Вот-вот обрушится карниз,
и вслед за кошкой, вслед за нами
к чертям собачьим полетит
весь этот город вверх ногами.

Заводы, фабрики, мосты...
Дворцы и хижины...
Едва ли,
чтобы на маковках кресты,
на шпилях звезды устояли.

САЛИМОН Владимир Иванович родился в 1952 году в Москве. Окончил географический факультет педагогического института. Работал учителем, лесником, заведовал клубом. Опубликовал книги "Городок" (1981), "Страстная неделя" (М., 1989), "Уличное братство" (М., 1989). Живет в Москве.

Владимир Леус

ИСТОЧНИК ЗООЛОГИЧЕСКОГО РАВЕНСТВА

Посвящается В.В.Конецкому

"Смейся и плачь..."

От змеи к лошади перекатило время. Под грифом "хранить вечно" лег на полку Истории 1989-й год, отягощенный социальными конфликтами, межнациональными распрями, техническими авариями, экологическими бедствиями. Вот об этих последних, вернее, об одном из них (быть может, самом грозном) пойдет речь.

1.Статистика знает все

Трусливому здоровью смелость духа
противопоставляю — и курю.
(Татьяна Щербина. "No smoking!")

План 1989 года по производству товаров народного потребления вообще, а продуктов питания в особенности, не выполнен даже в денежном выражении (при 7-процентном темпе инфляции), зато налицо выдающиеся успехи в алкоголической области. И без того форсированный план выпуска спиртных напитков еще и перевыполнен на 6% в физическом исчислении. Теперь среднестатистический советский человек на каждые три проеденных рубля рубль с гривенником пропивает

только в "монополькe". Будем благодарны Госкомстату за откровенность: страна должна знать свои геройства.

Разглядывая итог, можно вспомнить и недавнюю предысторию. В августе 1988 года Совмином СССР было принято Постановление №990 "О мерах по увеличению производства и улучшению снабжения населения продовольственными товарами в 1988 — 1990 годах", где в не предназначенном для обнародования 31-м пункте предусматривалось увеличение производства и продажи населению спиртных напитков в среднем на 30% к 1991 году. Не успели, как говорится, чернила просохнуть, а Новосибирское радио предоставило микрофон и обширную аудиторию врачу-психиатру, который в продолжение часа пел осанну вину и его культурному употреблению. Конспективно позиция психиатра сводилась к следующему. Винный спирт не является чуждым человеческому организму веществом. Древние эллины были вообще не дураки, коли дали миру великих мыслителей, и, в частности, не дураки были выпить натурального виноградного. Умелому потребителю вино дает возможность наслаждаться вкусом, букетом, игрой светового луча, обостряет внутреннее самоощущение и восприятие окружающей обстановки, делает яркими все краски мира, дарит необычные эмоции.

Психиатр, правда, забыл уточнить, что все вкупе это называется синдромом наркотической эйфории, зато привел оригинальную классификацию человечества и уточнил местоположение своей профессиональной ниши в социальной структуре. Оказывается, люди делятся на три категории: а)те, кто вообще не пьет; б)пьющие культурно; в)те, кому питие абсолютно противопоказано, то есть потенциальные алкоголики. Кровное дело общества — это спасение алконеустойчивых людей, чем и занимается наркологическая служба. Таково мнение психиатра. Выявлением же кандидатов в спасаемые и поставкой пациентов наркологам занимаются, надо полагать, Минпищепром с Минторгом.

За последовавшую осень "новая" философия завоевала уже всесоюзные печатные страницы и эфир. В последний вечер уходящего 1988 года на голубом экране вновь "вино лилось рекой, сосед поил соседа":

— Бокал шампанского?! — бодро восклицает тот, что моложе.

— Нет, что ты. Я только сок, — смущенно ответствует тот, что старше.

— В новогодний-то вечер! Обижаешь, — возмущается тот, что помоложе.

— Ну, уж так и быть, — поддается тот, что постарше. Только если моя жена видит сейчас нас на экране, то я уж буду к тебе апеллировать, предусмотрительно подстилает он соломки.

— Конечно, вали на меня, — покровительственно индульгирует молодой, с шиком пуская пенную струю в чешское стекло...

С нетерпением и, признаюсь, с замиранием ожидал я новогоднего обращения главы государства к нации. Когда уже слушал, то плохо воспринимал сказанное, ибо мозг жгла одна мысль: "Поднимет или не поднимет?" Но вот президент поздравил всех с наступающим, пожелал всего лучшего народу и... исчез с экрана. Уфф!

Все ясно. Разыгранная перед тем и ввергнувшая было меня в недоумение и растерянность "интермедия подшофе" была, оказывается, ничем иным, как мастерски разыгранной сценой классического алкогольного совращения. Какой яркий контрпример преподнесли талантливые актеры в назидание десяткам миллионов юных телезрителей, слетевшихся словно мотыльки к огню! Наконец-то Центральное телевидение делегировало свои безграничные возможности делу отрезвления общества. Да здравствует великая сила искусства! Браво, "Голубой огонек"!

С тем пьянящим ощущением оптимизма и приступать бы к встрече 1989 года, но на полпути между телевизором и праздничным столом мне попался на глаза свежий номер "Комсомолки", где на первой страни-

це поэт А.Вознесенский наглядно призывает зачеркнуть в предновогодний вечер розовые очки прошлого и "оглянуться вперед", то бишь со вниманием посмотреть на предстоящее сквозь... бокал розового искристого! "Людской опыт связал змею с добротой излечения. Склонясь над чашей, она символизирует медицину. Думаю, из новогодней чаши змей выпьет с нами шампанского", промедитировал поэт. Мне же вдруг совсем расхотелось следовать его оксюморонному призыву. Мудрая змея над чашей в эмблеме вызвала медицинскую реминисценцию, имеющую мало общего с добротой исцеления: в сознание вплыла фамилия слышанного летом радиопсихоратора, заплетенная в странный вензель с именем другого жреца Эскулапа и Молоха — некоего Иозефа фон-Менгеле...

Воспользуюсь старой, восходящей к Пушкину, российской традицией мысленного перевоплощения, преодолевающего социальную дистанцию, той традицией, что эпигонствует нынче под кодовым наименованием "если бы я был директором". Так вот, когда б я был царь, то обратился бы к народу со следующим манифестом:

— Милые девушки!

Природа не зря создала различие полов. Мужчина постоянно воспроизводит в себе следующие поколения, так что если взять самого распоследнего выпивоху да выдержать его месяц-другой на безалкогольно-бестабачной диете, то от него, такого обновленного, можно ожидать нормального (не считая врожденной слабости к спиртному) потомства. Вам же, красавицы, природой назначено от рождения носить в себе будущее народа (народ — от народить), и каждые даже самые развеселые ваши рюмка и затяжка неизбежно ложатся тяжким мутагенным бременем на слабые плечики еще не родившихся детишек. Потуги "не отстать" от "сильного" пола в бражно-никотинном деле ценой потери женского начала — это абсурдное равенство и дурно понятая эмансипация. Вот глава государства Елизавета и глава правительства Маргарет — это подлинное равенство. Вот руководительница магометанской (!) стра-

ны Беназир Бхутто — это истинная эмансипация. Берите пример с этих ваших сестер.

Дорогие юноши!

Глубокомысленно и многозначительно закуривающий на экране дядя представляется вам образцом мужественности. О, если бы вы увидели сей образец, когда он в продолжение нескольких часов оказывается лишенным своей "соски". Он уподобляется тогда младенцу, лишенному соски, и бывает готов, как шкодливый школьник, на мелкое преступление. Самый сокровенный секрет всякого курильщика — это зависть и стыд. Зависть к некурящим, к их свободе и независимости. Стыд за свои столь глупо утерянные свободу и независимость. Эти-то стыд с завистью, отодвинутые в закоулок сознания и инстинктивно камуфлируемые напускной бравадой, вы принимаете за мужественность. Вот и просовываете свои маленькие головенки, неокрепшие и любопытствующие, в это манящее оконце. Когда же покров тайны наконец спадает и вместо притягательной музыки становится слышен собственный надсадный кашель, на вашей шее уже сидит крепко засупоненный хомут. Остается делать вид, что это рыцарский колет. Круг замыкается, чтобы тут же начаться сызнова.

Почтенные мужи!

Помните! Когда вы делитесь сигаретой с подростком, когда вы горланите "пей-до-дна!" женщине, вы не одариваете, а обворовываете. И себя и своих детей тоже.

Но я не царь, поэтому вместо воззваний обратимся к статистике.

— Знаем, знаем. Грамм никотина убивает лошадь. Да какой дурак заставит лошадь курить!

— Ну, если уж речь зашла о статистическом уме, то найдутся куда более впечатляющие факты.

Под табачные плантации в нашей стране заняты сотни тысяч гектаров лучших южных земель, где сезонно используется детский труд. "В Киргизии, Молдавии, Алма-Атинской области широкое распростране-

ние получил труд детей на уборке табака, что очень вредно для их здоровья и запрещено законом", — утверждает зам. генерального прокурора СССР ("Комсомольская правда" от 14 апреля 1989). При всем том большинство детей по стране не знают, что такое настоящий виноград и настоящие цитрусовые. Папы и, увы, мамы буквально пускают их на ветер, хотя 90% умерших от рака легких — курильщики, а из числа страдающих облитерирующим эндартериитом, мучительной и безнадежной болезнью сосудов — курильщики составляют даже 99%. Как тут не вспомнить бисмарковское: "Глупость — дар Божий, но не стоит им злоупотреблять".

Ладно бы еще если глупость, а то ведь дело не столько в глупости, сколько в бездумности, так же как и не в одном никотине. Скажем, если потребности никотиноманов удовлетворить прямыми инъекциями в кровь, то статистика легочного рака у них выровняется с таковой у некурящих. Не говоря уж об избавлении ни в чем не повинных людей от так называемого пассивного (а по сути — насильственного) курения. Ведь по данным Национального института медицинских проблем окружающей среды (США), один курящий в семье увеличивает в 1,4 раза вероятность заболевания раком (не обязательно легких) своих домашних, а при двоих курящих шансы повышаются в 2,3 раза. Тем, кто скептически относится к заморским сообщениям, хорошо бы посмотреть программу "Панорама" Новосибирского телевидения за 24 апреля 1989. Специалист-медик заявил в беседе, что наш город занимает первое место в Союзе по курению и по нарушениям мозгового кровообращения, обобщенно именуемым инсультами.

В подкрепление статистике "хладных чисел" — немного статистики "горячего слова".

"— Разрешите хотя бы пока здесь, в батальоне, ужин подготовить! — сказал расстроенный Баглюк.

— Слава богу, догадался! — весело сказал генерал и, не вполне уверенный, что Баглюк догадался до конца, добавил: — Поужинаю со всеми награжденными.

— Он повернулся к Караулову: — Как, Караулов? Одна чарка не повредит перед разведкой?

— Мне-то не повредит, товарищ генерал! — сказал Караулов. — Да вы, боюсь, свою чарку не выпьете.

— Опоздал. — Генерал рассмеялся. — Опоздал, Караулов! Раньше привычки не имел, верно! Но с тех пор, как нарком норму положил, пью в приказном порядке" (К.Симонов. "Живые и мертвые").

"Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармоника в верхнем конце деревни, голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат — не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы" (Ф.Абрамов. "Пелагея").

"Дома матери не было. На столе записка, крынка молока и граненый стакан, прикрытый ячменной лепешкой. Володька приоткрыл стакан, понюхал: вино. "Ешь, пей, отдыхай, а это от меня праздничное. Меня вызвали на ночное дежурство"" (Ф.Абрамов. "Безотцовщина").

"Собачка Пуха не любила праздников. Она не понимала, почему люди вдруг ни с того ни с сего начинали орать на всю деревню, падать, кататься по земле, а то и дубасить друг друга" (там же).

Еще бы. Где ж простодушной животине Пухе понять деяния богов.

Божок вселенной, человек таков,
Каким и был он испокон веков.
Он лучше б жил чуть-чуть, не озари
Его ты Божьей искрой изнутри.
Он эту искру разумом зовет
И с этой искрой скот скотом живет.

Не согласны с Гете? Возмущены? Да, конечно, все это дела давно минувших сороковых — пятидесятых. И наркомовский шнапс разведчику перед вылазкой за "языком" (не иначе как для обострения внимания и ускорения реакции), и вино пятнадцатилетнему сыну от матери в праздничный гостинец, искренний и бескорыстный. Так перенесемся на несколько десятилетий вперед.

"В Караганде после совместной пьянки в семье Бекиных отец убил топором сына Владимира и нанес ранение младшему сыну Евгению. В Калининском районе Алма-Аты 16-летняя Служенко Ольга после употребления алкоголя, поссорившись с сестрой Ириной, удушила ее кожаным ремнем. В Кзыл-Орде после совместного распития Оспанова А.А. убила ножом своего мужа. В колхозе "Образцовый" Астраханкского района Целиноградской области рабочий Зиганшин Р. напился до невменяемого состояния и изнасиловал свою пятилетнюю дочь" ("Ленинская смена" от 30 января 1987).

"Из 55 обитателей Орского специализированного дома ребенка Оренбургской области у одних оба родителя алкоголики, у других регулярно употребляют спиртные напитки мать или отец. Поэтому здоровых, полноценных детей здесь нет. Изуродованные алкоголем гены — самая страшная плата за эту социальную болезнь. На снимке: для Светланы Д., 1961 года рождения, матери восьмимесячного ребенка, это не первое "посещение" медвытрезвителя" ("Труд" от 7 сентября 1988).

"У меня есть брат, ему 6 лет. Есть мать и отчим. Они каждый день пьют вино, водку, самогон. Напьются и начинают скандалить. Избивают брата, обзывают его разными словами. Не проходят и мимо меня... А сейчас мне хочется уколоться, чтобы на несколько секунд забыть о скандалах, не слышать пьяных криков, не видеть, как избивают брата. Марина К." ("Семья" № 20, май 1988).

У меня нейдет из головы одна радиопередача. Уникальный случай трансляции по Всесоюзному радио 8 апреля 1987 года женского плача. Нет, не актрисы, а

обычной девушки, обратившейся в редакцию "Звоните нам". Рассказывая о совместной жизни с матерью-алкоголичкой, девушка жаловалась на то, что никакие инстанции (ау! где вы, менгеле?) не желают ей помочь, и рыдала на всю страну.

Девяносто процентов девушек, содержащихся в воспитательно-трудовых колониях, имеют алкоголиков-родителей. Но еще ни одной из этих несчастных "Комсомолка" не предоставила первой страницы для рассуждений о целительных свойствах шампанского, Андрей Вознесенский же, по-видимому, никогда не слышал их рыданий. Впрочем, антигуманная глухота поразила многих гуманитарных деятелей, среди коих оказались известные журналисты, ученые, писатели и, увы, выдающиеся поэты. Ну а мудрый змей тогда не устоял перед тонкой поэтической метафорой — "из новогодней чаши выпил с нами" — и теперь, судя по статсводке, пьет уже как лошадь: намеченная Постановлением №990 трехлетка реалкоголизации выполнена досрочно.

2.Самый подлый из химических наркотиков

Благодетель мудро связал нас по рукам и ногам благодетельными тенетами счастья. Бог несовместим с машинами, научной медициной и всеобщим счастьем. Так ведь люди не поросята, их по одной стежке не погонишь, они разные.
(Е.Замятин, О.Хаксли, С.Залыгин)

Распространенная как в художественных, так и в научных текстах метафора "общественный организм" отражает тот несомненный факт, что и общество и человек сам по себе являются сложными системами. Сложная система — это многофункциональная динамическая структура с огромным числом элементов, коммуникаций и отношений, увязанных между собой по управлению и сбалансированных по энерго-вещест-

венному обмену. В довольно широких пределах изменчивости окружающей среды сложная система живет и сохраняет внутреннюю стабильность благодаря гениально простому механизму — циклу регулирования с отрицательной обратной связью. Этот замечательный механизм состоит из директивного и исполнительного органов, соединенных двумя связями, прямой и обратной. Наглядный пример — шофер за рулем: рулевая колонка — прямая связь с поворотными колесами, зрение — обратная связь. Назначение всякого цикла регулирования — поддерживать в заданных пределах некоторую переменную величину (для движущегося автомобиля таковой будет расстояние от осевой линии шоссе). Обратная связь передает информацию о состоянии регулируемой величины, а директивный орган сравнивает фактическое значение с имеющимся у него эталоном. Как только рассогласование начинает превышать допустимый предел, директивный орган по прямой связи воздействует на исполнительный так, чтобы уменьшить рассогласование. Обратная связь потому и называется отрицательной, что передаваемое ею сведение об увеличении рассогласования приводит к его уменьшению. В сложной системе постоянно крутится необозримое множество циклов регулирования, которые обеспечивают внутренню устойчивость и внешнюю адекватность.

"Боль — всего лишь обман чувств" — изрек один персонаж Олдоса Хаксли. Такой взгляд естественен для человека, пребывающего в "новом доблестном мире", но не для нас. На самом деле с болью все обстоит как раз наоборот. С точки зрения представлений о кибернетике сложной системы, боль — это великое природное изобретение, необходимый элемент обратных связей многих циклов регулирования в организме. Болевая сигнализация об опасном рассогласовании ослабляет и может полностью подавить все прочие стимулы, кроме одного — стремления умерить муку. Посредством адекватной реакции на сигнал это стремление приводит в конце концов к уменьшению отклонения от нормы, вызвавшего болевое ощущение.

К сожалению, возможна и извращенная реакция на болевой сигнал, состоящая в сиюминутном приглушении болевого ощущения за счет создания предпосылки возобновления его в ближайшем будущем. Это, так сказать, наказание с отсрочкой исполнения составляет сущность подлинной наркомании. Механизм действия типичного наркотика состоит в следующем. Сам по себе наркотик является веществом чуждым организму качественно или количественно (винный спирт, например, присутствует в человеческом организме, но в ничтожной концентрации), поэтому организм защищен от него несколькими барьерами. Самый внешний из них сооружен на уровне простейших ощущений (вкус спирта, запах табачного выхлопа) и в соответствующей обстановке, при определенном настрое ("ты меня уважаешь?", "будь мужчиной!", "вот вам всем назло" и т.п.) сравнительно легко преодолевается. Барьер может быть подавлен нестерпимым страданием, физическим или нравственным, которое заглушают, принимая наркотическое средство. Как бы то ни было, а попадая с током крови в мозг, наркотическое вещество включается в сложнейшие физико-химические процессы, лежащие в основе функционирования элементов мозговой ткани, искажает их течение, нарушает связи между клетками и их коллективное поведение. На психическом уровне это приводит к необычным восприятиям окружающей обстановки и внутреннего мира. Личностные ощущения складываются в радужные видения, сопровождаемые положительными эмоциями.

Вторым барьером организма против наркотика служит абстиненция, или похмельный синдром, иными словами, отвращение к наркотику, связанное с неприятными ощущениями и даже тяжелым состоянием от действия конечных продуктов химических превращений введенного вещества. Третий барьер сродни иммунитету. Он представляет собой активную реакцию организма на введенное чужеродное вещество: организм как бы спешит выработать антинаркотик, т.е. комплекс реагентов для связывания, нейтрализации и скорейшего вывода наркотика из своих пределов. Вот здесь-то,

на третьем барьере, заложена мина с сюрпризом. Процессы выработки антинаркотика инерционны, поэтому его производится больше, чем необходимо для отражения врага. Избыток антинаркотика болезненно отражается на психическом состоянии, а средство "лечения" под рукой: согласно свойству логического отрицания антинаркотиком для антинаркотика служит наркотик. Повторный прием последнего снимает неприятные ощущения, что само по себе уже дает положительную эмоцию, и вдобавок возвращается состояние "кайфа". Круг замыкается, но движение по нему продолжается, да еще и с дополнительным импульсом (положительная обратная связь!). Основанием для признания данного вещества маниакальным наркотиком является именно механизм положительной обратной связи, подгоняющий чертово колесо "наркотик — антинаркотик — наркотик" в бездну, из которой нет возврата. Коллапс неудержимо развивающейся физиологической зависимости оставляет черную дыру на месте личности. Сладостные грезы лишь сопутствуют губительному вихрю, да и то не всегда. С этой точки зрения табак — истинный наркотик, а марихуана — нет, поскольку курение ее, хотя и сопровождается галлюцинативными эффектами, ведет лишь к психологическому привыканию.

Индивидуальные особенности физиологии организмов отвечают за различную степень податливости к разным наркотическим средствам. Существуют такие "удачные" пары "человек — наркотик", что двух-трех приемов хватает, чтобы пара закружилась в беличьей клетке наркомании. Насильственно оградить такого человека от "его" наркотика значит обречь его на муки, превосходящие внутренние резервы воли и терпения. Булгаковский сельский фельдшер в рассказе "Морфий" утверждает, что ситуация заживо погребенного ничто в сравнении с адом, в который попадает лишенец-морфинист. Нарастающий вал терзаний сметает даже самые твердые устои нравственности, и наркоман фактически перестает быть человеком задолго до того, как

все новые поступления яда разрушат его телесную оболочку.

"Электрическое раздражение центров удовольствия, находящееся в мозге, подавляет волю, приковывает внимание любого животного. Например, крыса с электродами, вживленными в центр удовольствия, нажимала и отпускала педаль, включающую электростимул, в течение суток в среднем с частотой 2000 раз в час, отказываясь при этом даже от пищи. Подобные опыты с одинаковым успехом были повторены на кошках, обезьянах, дельфинах..." Нетрудно догадаться, куда ведет многоточие, заканчивающее отрывок из статьи члена-корреспондента АН СССР Г.Иваницкого "Достаточно ли разумен гомо сапиенс?" ("Наука и жизнь", №3, 1988).

Трудно уважать раба, готового на все по одному лишь шевелению мизинца своего господина, презрение к подобному состоянию человеческого существа сконцентрировано в слове "холуй". Наркоман — холуй неодушевленного предмета, его сюзерен — это белый порошок, или прозрачная жидкость, или сушеная листва. Возможно ли состояние более унизительное для "царя природы" и "венца творения", более жалкое и ужасное? В качестве пронзительной иллюстрации высказанным соображениям здесь уместно было бы привести рассказ В.Астафьева "Яшка — лось", но по понятным причинам ограничусь строкой из Гоголя: "Быстро все превращается в человеке; не успеешь оглянуться, как уже вырос внутри страшный червь, самовластно обративший к себе жизненные соки" ("Мертвые души").

Из всех "бытовых" наркотиков винный спирт уникален по нескольким параметрам. Прежде всего по массовости употребления. Далее, он действительно вырабатывается в человеческом организме и содержится в крови в концентрации 0,001 грамма на литр, но чтобы почувствовать легкое опьянение, его концентрацию необходимо довести до 0,5 г/л, что в тысячи раз больше, чем концентрация морфина при состоянии "кайфа". Метаболическая родственность спирта человеку, как упоминалось выше, используется для оправдания

его употребления, хотя кому, как не врачам, должно быть известно, что в организме имеется много разных соков: моча, желчь... Однако разлитие желчи, например, всегда считалось дурным, болезненным признаком. Современная терапия даже переливание собственной крови из русла в русло применяет с опаской. В отрегулированном организме всему свое место, время и количество. Естественно образующийся в ходе жизненных биохимических процессов этанол (винный спирт) никогда не дойдет до мозга в заметной концентрации.

Как раз с мозгом связана поистине неповторимая особенность винного спирта как наркотика. Академик Ф.Углов в своих публичных лекциях рассказывал о личных наблюдениях при вскрытии умерших алкоголиков "ссохшихся" до размеров кулака мозгов. Современные методы компьютерной томографии дали возможность провести статистическое обследование на этот предмет большого количества живых людей. Как сообщил журнал "Сайнтифик американ" (№4, 1985), у 95% алкоголиков и у 85% "пьющих умеренно" отмечено уменьшение головного мозга. Это происходит из-за массовой гибели нейронов под влиянием возлияний. Зафиксировано прекращение "усыхания" мозга при введении личного "сухого закона".

Может возникнуть сомнение — как же так, лишаясь после каждого опьянения тысяч и тысяч нейронов в головном мозге, отрезвевший человек, тем не менее, полностью восстанавливает свою память и свои способности? Объяснение этому очень простое: все дело в сложности. Природа запрятала в черепной коробке информационно-логическую машину, устроенную куда более хитро, чем самые совершенные компьютеры, не только в количественном (сотни миллиардов элементов-клеток), но — что самое существенное — в качественном отношении. Принципы порождения сознания человеческим мозгом до сих пор (к счастью?) не раскрыты, однако определенно можно утверждать, что информация, ее обработка и преобразование не локализованы по кусочкам в отдельных нейронах, словно

биты в транзисторах. Скорее, в мозгу происходит нечто подобное ассоциативному кодированию, когда мыслительному образу ставится в соответствие целая структура из многих нейронов и их отношений во времени и пространстве. С другой стороны, один и тот же нейрон участвует в создании, хранении, воспроизведении и реализации не одного, а многих образов, навыков, талантов.

Что происходит с такими сложнопереплетенными пространственно-временными конструктами, когда их владелец и господин наобум вымарывает с помощью этанола отдельные элементы-носители? Очевидно, что структуры не исчезают сразу, они сереют и бледнеют постепенно, раз за разом разъедаемые алкогольной эрозией. Вот почему родные и знакомые пьяницы, да и он сам, могут долго не замечать исподволь прогрессирующего душевного оскудения. Исход души из тела протекает с интенсивностью в миллион нейронов на стопарь.

Представим себе на стене два одинаковых новых текинских (или ширазских) ковра, тонко и красочно орнаментированных ручным искусством. Закроем оба ворсистые двойника плотными чехлами, причем один из них опечатаем, а из другого начнем, приоткрывая в случайных местах чехол, выдергивать по одной шерстинке каждый час. Разумеется, мы годами не будем замечать в терзаемом ковре существенных изменений, окидывая его взглядом как целое. Но когда через десяток лет мы сломаем печати и сдернем чехол с законсервированного соседа, то убедимся воочию, что двойник исчез, а перед нами — оригинал и... его карикатура.

По странной прихоти природы головной мозг лишен болевой чувствительности, так что при каждом возлиянии наши нейроны гибнут пачками абсолютно безмолвно: соответствующий цикл регулирования оказался не замкнутым дугой отрицательной обратной связи на подсознательном уровне. Быть может, нам таким образом предоставлен шанс замкнуть его на уровне сознательном и тем опровергнуть утверждение поэ-

та о том, что "случая нелепое творенье разумным не является отнюдь". Но пока этот "просчет" природы имеет трагическое следствие. Безгласное побоище изощренно выкашивает именно те области коры больших полушарий, которые, собственно, и отличают человека от животных. Экспериментальная наука подвела, стало быть, объективную базу под гениальную догадку, содержащуюся в народной мудрости "нет такого молодца, чтобы обманул винца" и в высказывании Ф.М.Достоевского "вино скотинит и зверит человека".

Ни один другой наркотик не способен на столь утонченное коварство. Прочие наркотики опрокидывают устои нравственности и опоры совести, но, в принципе, после соответствующего лечения рухнувшие конструкции могут быть восстановлены, и у человека останутся только тягостные воспоминания о наркотическом капкане. Винный же спирт стирает еще и физиологическую грань, отделяющую нас от "братьев наших меньших", причем проделывает это самым фатальным образом: процесс алкогольного оскотинивания в целом необратим.

Русская рукопись XV века "Слово о хмеле" трактует: "Пианица приложен есть к свинии. ... Да се вы поведаю, братие, колико есть пагубы роду человеческому в злом пианстве. ... Аще кто пиан умрет, тот сам себе враг и убийца, а приношение его ненависно Богу". Только если самоубийца, преодолев животный инстинкт самосохранения, лишает жизни человека, то пьяница, систематически умерщвляя в себе человеческое, гибнет животным. От спиртоупотребления страдают многие органы. Однако ввиду страшной угрозы перехода из антропологии в зоологию иметь слабые желудок, сердце, печень для пьющего — благо: это дает ему шанс уйти из жизни прежде, чем прогрессивно сморщивающийся мозг сделает человека зверем. Да не обманет нас человекообразная оболочка алкоголика!

Антиутопии "Мы" и "Новый доблестный мир" рисуют по сути одну и ту же картину пораженного вирусом тоталитарности общественного организма: жесткая заданность иерархической структуры, строгая распи-

санность людей по ее ячейкам, почти полная утрата ими индивидуальности. У Хаксли это доведено до автоматического тиражирования человеческих экземпляров с наперед заданными свойствами — пресловутых "винтиков" определенных калибров. У Замятина говорится всего о двух часах "личного времени" в сутки, когда "миллионнорукое тело, ...единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки". Социальный коллапс устремлен к социальной сингулярности — к окостеневшей пирамиде из личностных коллапсаров. Так минимум структурности в единичном и минимум структурности во всеобщем гармонично сливаются в "идеальной несвободе".

Имеется, однако, пункт, по которому фантазии Замятина и Хаксли резко расходятся: это роль наркотиков. У Замятина они суть символ инакомыслия: нумер I — 330 (она) курит табак и пьет алкоголь, призывая к протесту. В канве романа "Мы" это лишь краткий эпизод применения, так сказать, классических снадобий. Совсем иная роль отведена Олдосом Хаксли беспрецедентному "государственному наркотику" соме (сома — от латинского somnus — сон): "Наркотик получился идеальный. Успокаивает, дает радостный настрой, вызывает приятные галлюцинации. Все плюсы христианства и алкоголя — и ни одного их минуса". В этой цитате из "Нового доблестного мира" приковывает к себе внимание глубокая параллель, которую кратко можно обозначить словом "спиритус". На повсеместном обязательном употреблении сомы зиждется вся античеловечная детерминированная конструкция. Для существования общества-коллапсара необходимо, чтобы люди были минимально разными.

3. Усилия...

Этиловый спирт — бесцветная легковоспламеняющаяся жидкость с острым запахом, относится к сильнодействующим наркотикам. (ГОСТ СССР)

Принятию постановления Совмина № 990 от 10 августа 1988 года предшествовал постепенно нарастающий поток выступлений в печати, по радио и телевидению культурпитейцев, недовольных реализацией политики отрезвления. Демаршей такого рода было очень много, но дисперсия мнений оказалась минимальной, так что нетрудно составить обобщающую "выжимку", от которой конкретные выступления отличаются в пренебрежимых деталях.

Существо волны алкопротестов таково. Борьба с пьянством и алкоголизмом дело хорошее, но... Запретительные меры привели к: 1) небывалому росту самогоноварения, так что стала остро ощущаться нехватка сахара; 2) росту токсикоманий; 3) варварской вырубке виноградников; 4) возникновению уродливого явления винных очередей.

Еще аргументы антитрезвенников. В 1984 году наше государство произвело около 9 литров алконапитков (в пересчете на чистый спирт) на каждую душу, включая женщин и детей, а в 1988-м — приблизительно 5 литров. Как поворачивается русский язык называть сие запрещением? И на французском, и на "американском" языках такое зовется ограничительной мерой. Что до Франции, то она каждый год имеет 50 тысяч смертей (при 55 млн. населения) от алкогольного цирроза печени, хотя спирт поступает во чрево среднестатистического француза не абы как, а в виде высококачественных вин и коньяков. Впрочем, судя по данным журнала "Эхо планеты" (№3, 1989), Франция, хотя и сохраняет незавидное первенство, значительно снизила за последние годы душевое спиртопотребление.

Рассмотрим пристальнее жупел наркомании, столь охотно поднимаемый алкофилами. Рост других видов наркомании, помимо алкогольной, у нас имеется, но абсолютный уровень пока невысок, а рост был и раньше примерно в том же темпе (надеюсь, меня не обвинят в апологии безалкогольных наркотиков). Детским наркологам хорошо известно, что билет в страну "опасных мультиков" — Токсиколандию подросткам вручает классический алкоголь, и при наркологическом обследовании ста подозреваемых школьников в Томской области у 65 выявлены признаки алкоголизма (см. "Строительную газету" от 14 марта, "Комсомольскую правду" от 14 апреля 1989). Так зачем же на трезвенническое движение всех собак вешать? Вот сейчас всех коснулась нехватка моющих средств, введены талоны, розовый параллелепипед, обретаемый в конце длинной очереди, иронически подмигивает глубоким тиснением — "ПРИЗ"... Нет ничего проще, как свалить ответственность за это безобразие на "проклятых трезвенников". Ну как же! Запретительные меры против спиртного заставили алкашей переквалифицироваться, и теперь весь стиральный порошок повдыхали новоявленные мыломаны.

Поговорим немного о пресловутой вырубке виноградной лозы. Современные приемы селекции, возделывания и хранения винограда позволяют растянуть срок его потребления до 9 месяцев. Не странно ли, что, имея в стране обширные древние виноградарские регионы, мы с вами не видим практически солнечной ягоды? Нет, не странно, ибо в годы застоя-застолья были безжалостно вырублены именно столовые сорта. Их место заняла неприхотливая и урожайная винная лоза: из винной кислятины выдавил сусло — и никаких тебе хлопот с хранением, а доход... Если бы теперешние "защитники" виноградников слушали не только друг друга, то из статьи "Не все ягоды сладкие" ("Правда" от 13 февраля 1988) они узнали бы, что Азербайджан, например, половину своего дохода имел именно от виноделия, а в изложении интервью с акад. А.Аганбегяном ("Наука и жизнь", №3, 1988) они бы

прочли, что "наше население потребляет фруктов втрое меньше того, что определено медицинскими нормами, и это особенно неблагоприятно сказывается на здоровье детей". А сколько типографской краски и печатных площадей истрачено в борьбе за здоровье детей — подневольных тружеников табачных плантаций, но киргизская крестьянка, развешивающая для просушки нанизанные на шнур табачные листья, просит корреспондента не отвлекать ее пустой болтовней. "Все равно, — говорит она, — даже если вы опубликуете статью, ничего не изменится: как работали на табачных плантациях, как травили свой организм, так и будем..." Табак — культура прибыльная. Культура! Слово-то какое.

Так не будем же больше лгать себе в связи с виноградарством! Если где-то вырубили пьяную лозу с целью заменить ее на изюмную или столовую, то это же шанс нашим детям и внукам отведать наконец солнечную ягоду как таковую, а не трупный яд из нее.

Теперь о главном козыре культурпитейства — сахарной лихорадке и самогоноварении. Основной тезис таков. За 1988 год 1,5 миллиона тонн сахара ушло "налево" и превращено в самогон. В различных тональностях и разном обрамлении этот тезис то и дело возникал почти во всех средствах массовой информации, но подлинной вершины мастерства достиг, на мой взгляд, известный экономист Н.П.Шмелев, не удовольствовавшийся страницами толстых журналов и экранами ТВ, но использовавший в качестве инструментов трибуну съезда народных депутатов. "Пить у нас меньше не стали. Это иллюзия. И пьют люди вообще не из-за цены — люди пьют от тоски, от лжи и безделья", — заявил он. Задумывался ли сотрудник Института США и Канады, от каких это тоски, лжи и безделья пала жертвой "зеленого змия" кинозвезда первой величины, красавица и миллионерка Элизабет Тейлор?

Итак, с высокой трибуны прозвучал хладнокровный призыв "не разрушать один из источников товарного и бюджетного равновесия в стране". Да, да, имен-

но тот самый источник зоологического равенства, источник моря слез и лавины страданий!

"Гармония" столь серьезного политического шага поверяется "алгеброй" экономической оценки. Подозрение в необоснованности сахарной паники вызывает уже следующий элементарный подсчет. При пятидесятипроцентном выходе из 1,5 млн. тонн сахара получается 75 млн. декалитров чистого спирта. Кто же выхлебывает этакое море, если масса культурпитейцев постоянно жалуется на нехватку? Уж не трезвенники ли по принципу — "крайности сходятся"? Оценим дебит "горького источника" в денежном выражении. Предположим, что дополнительным выбросом на питейный рынок государственного алкоголя по ценам 1984 года удалось полностью ограничить от посягательств самогонщика пресловутый сахар. Тогда те 75 млн. декалитров дали бы около десяти млрд. рублей в госбюджет, а годовые потери госказны составляют: 8 млрд. на экспериментах Минводстроя, 11 млрд. на дотациях заведомо убыточным предприятиям, 68 млрд. на соблюдении "наших интересов в Латинской Америке", 9 млрд. на строительной "незавершенке", 10 млрд. на неустановленных машинах и оборудовании и т.д. Расходы на содержание управленческого аппарата оцениваются в 40 миллиардов, простое закрытие радиоглушилок дало миллиард рублей годовой экономии! И на эдаком-то ослепительном фоне нам продолжают настоятельно рекомендовать в качестве спасительного источника бюджетного равновесия государственное оскотинивание граждан.

И еще "Кое-что о профессионализме". Так назвал свою статью в "Огоньке" (№48, 1988) С.Рассадин. "Много ль моей, нашей с вами заслуги в том, что я, сущий профан в экономике, с первой минуты отчетливо предвидел последствия традиционно волевого воплощения прекрасной идеи — борьбы с повальным пьянством? И унизительные очереди, и разгул самогонщиков, и утраты казны, и то, что этим утратам не суждено восполниться, ибо публика смекнула и разочла разницу стоимости казенного и самодельного зелья", — чи-

таем мы в этой статье. Дорогой Станислав! В вашей добросовестности я ни на йоту не сомневаюсь. Однако и без предварительного признания ваш непрофессионализм в тяжелой проблеме отрезвления общества очевиден из приведенного краткого экскурса, представляющего собой причудливую путаницу экономики с социологией, пороков с добродетелями, причин со следствиями, виновников с жертвами. А между тем его прочли миллионы.

Попытайтесь разобраться без кокетства в своем "сбывшемся пророчестве" и понять, что же это такое происходит, коли 31-й пункт Постановления №990, являющийся "подтверждением выраженного в статье взгляда", вы (мы с вами) лишены возможности прочесть в открытой печати? В эпоху-то гласности, на пути демократизации и на пороге правового государства. Попробуйте хотя бы для себя рационально объяснить, как же оно так получается, что и самогонщик разгулялся, и публика смекнула, и до сухого закона еще целых пять литров дистанции, а очереди за спиртным не убавляются. Особенно впечатляюще звучат в ваших устах элегические сетования в связи с "утратами казны".

Кто-то из критиков трезвеннического движения, возможно, вознегодует: "Ну, автор! Совсем превратил нас в поборников дурмана. Даже параллель с государственным наркотиком сомой провел. А ведь мы тоже против пьянства, только смотрим на проблему шире, учитываем экономический интерес государства, теряющего ежегодно миллиарды рублей на сокращении производства и продажи спиртных напитков". Все это, вероятно, так и есть, только нельзя забывать.

Отчего мои пальцы словно в крови,
И вино, как отрава, жжет?
(А.Ахматова)

Нравственно ли вообще поверять бухгалтерскими весами доходы от продажи спиртного и расходы на гибели и уродствах? Морально ли подогревать экономическую машину на пламени проспиртованных мозгов?

Кто Россию травит? Кто Россией правит?
Барыня стеклянная — водка окаянная.
Е.Евтушенко. "Суббота"

В царское время русские потребляли втрое меньше спиртного, чем они потребляют теперь. Так к какой же России обращены эти вопросы, Евгений Александрович? Какой Руси предназначены эти предостережения?

Итак, что мы имеем в "сухом остатке"? Винные очереди. Вот в этом отношении можно понять культурпитейца, которому обрыдло предпраздничное выстаивание в длинных хвостах вместе с алкашами, а возиться хотя бы изредка с самогонным аппаратом воспитанность не позволяет. Только не внушают доверия его ссылки на уродливый вид этих очередей, которые-де позорят нас перед всем миром.

Можно было бы поверить в ущемленное эстетико-патриотическое чувство, не будь у нас очередей за творогом, утюгами, колбасой, колготками, сушками, обоями, огурцами, лезвиями, которые (очереди) не менее уродливы, чем винные, и гораздо более постыдны. Винные очереди — это выставленная на позор беда.

Предпримем небольшой экскурс к истокам советской алкоголизации. "В.И.Ленин счел необходимостью ввести государственную монополию на торговлю спиртным в трудный период выхода из разрухи", наивно полагает член президиума Новосибирского облсовета

ВДОБТ Л.Семенова ("Советская Сибирь" от 27 октября 1988). Но есть и другие, опирающиеся на документы мнения: "Ленин согласия на введение винной монополии не давал; противоположное заверение не имеет никаких подтверждений, кроме неубедительной ссылки в 9-м томе сочинений Сталина, зато имеет многочисленные опровержения" (С.Шевердин. — "Трезвость и культура", №10, 1988). Кандидат исторических наук А.Колесник пишет в "Военно-историческом журнале" (№2, 1989): "У отца была привычка давать детям грузинское вино. Это вызывало недовольство матери, которое игнорировалось. Усвоенная с детских лет, казалось бы, безобидная привычка впоследствии перейдет в порок и приведет сына к смерти". В данном свидетельстве историка отец — это Сталин, мать — Н.С.Аллилуева, сын — Василий Иосифович Сталин. Хотя молва и окрестила "рыковкой" массовый государственный наркотик, вся история наша с 1925 года метит шельму, развернувшего в стране нескончаемый валтасаров пир, продлившийся даже на полях сражений жесточайшей из войн. Пока же очень помогает отличить причину от следствия глава "Пиры Валтасара" в романе "Сандро из Чегема" Ф.Искандера: "За столом каждый ел, что хотел и как хотел, но не дай Бог сжульничать и пропустить положенный бокал. Этого вождь не любил. Таким образом, за столом демократия закусок уравновешивалась деспотией выпивки". Так все-таки нечеловеческие условия потребовали введения спиртовой анестезии или, наоборот, перманентная социально-физиологическая анестезия породила нечеловеческие условия? Заплетающийся язык, оловянные глаза, потерявшие чувствительность руки, а главное — замутненное сознание общественного организма, и — "В своих дерзаниях всегда мы правы!". Политические анестезиологи свое дело знали.

Всего 240 граммов шотландского виски влиты в бравого кэптена — и 240 тысяч баррелей (бочек) нефти вылиты в залив Аляска из танкера "Экссон Валдиз". Ах, это далеко, там, у них? Ну вот, пожалуйста, поближе, совсем у нас.

"Машинист пригородной ленинградской электрички резко затормозил, увидев трех девочек, отчаянно машущих кусками красной материи. Это спасло поезд и его пассажиров от неминуемой аварии. Через несколько десятков метров участок рельсов был "перепахан" трактором, за рулем которого находился пьяный тракторист" ("Труд" от 7 сентября 1988).

"Пьяный тракторист застрял на железнодорожном переезде. Только чудом машинисту удалось затормозить и предотвратить крушение пассажирского поезда" (Новосибирское радио, 4 января 1989).

В США с употреблением алкоголя связано 67% убийств и 54% изнасилований, а по данным Новосибирского УВД за 1-й квартал 1989 года в состоянии опьянения совершено было 81% умышленных убийств и 77% изнасилований. Что ж, уважаемый культурпитеец, можешь спать спокойно, до ста процентов еще далеко. Жаль, нигде не удалось узнать, какую часть небогатого бюджета Минздрава СССР урывает наркологическая служба.

5.Я не боюсь, но мне страшно

Я спорить не берусь,
Но, думаю, мы можем
Так жить, чтоб стала Русь
Нестыдной жизни ложем.
(В.В.Хлебников)

В финале мне довелось вновь обратиться к статистике. Отмечу два события, сделавшие год Змеи весьма отличным от его предшественника — года Дракона.

Первое — местного масштаба. Новосибирское радио в августе, как и за год до того, предоставило микрофон врачу-психиатру, на этот раз сотруднице облпсихдиспансера. Но какой, прямо-таки полярный

контраст прошлогоднему горькопамятному "психвыступлению" явила радиобеседа в передаче "Мы и наши дети"! На примере обследованного поселка Линево И.В.Ширяева поведала о жуткой цепи самоубийств 10—12-летних подростков, не вынесших существования с родителями-алкоголиками, о несовершеннолетних "боевых" группировках, где лишенные алкоголем семейной среды подростки ищут себе единомышленников и коллективной защиты: "Проблема пьянства в области недооценивается... Целое поколение алкоголиков. Кому это нужно?" Глубокоуважаемая Ирина Викторовна, да, например, кое-кому из ваших коллег. А что, написали же недавно сотрудники наркодиспансера в "Вечерку": "Многие новосибирцы знают, что здесь располагается областной наркологический диспансер, учреждение нужное и перспективное" ("Вечерний Новосибирск" от 6 марта 1990).

Второе событие имеет всесоюзную значимость. Предложения Госагропрома и Минторга СССР об увеличении производства и продажи спиртных напитков были приняты Совмином "исходя из необходимости сокращения расхода сахара на непищевые цели". И вообще, спасение сахара от посягательств самогонщика было главным аргументом сторонников снятия ограничений на алкоголизацию. Так вот, первая годовщина их победы ознаменовалась официальным признанием того факта, что "в последние годы мы просто-напросто сократили производство сахара" (телепрограмма "Время" от 12 августа 1989). Как сообщили потом газеты, только в 1988 году его выпущено на 12%, т.е. на 1,6 млн. тонн меньше, чем в 1987-м. Вот оно, горькое пробуждение от сладких грез создателей самогонного мифа, любовно взлелеянного на страницах "Литературной газеты", "Московских новостей" и в некоторых других средствах массовой информации.

Миф-то развеялся, а Постановление второй год уж действует и действует — "О мерах по увеличению производства и улучшению снабжения населения продовольственными товарами в 1988 — 1990 годах". Как увеличилось и улучшилось снабжение нас продтовара-

ми, всем хорошо заметно и без сводок Госкомстата. Получается, вся мощь правительственного указания сосредоточилась на ма-а-аленьком последнем пунктике.

Теперь, в гуле коллективных речей шмелевского типа ощущаются почти легендарными не такие уж давние высказывания: "Кто еще любит Россию, должен бросить водку и растить наших мальчишек в трезвости. Вино убивает талант совести, талант гордости и талант любви" (В.Конецкий. — "Нева", №4, 1986); "Водка играла колоссальную экономическую роль; уничтожая рабочего, она давала возможность выплачивать ему зарплату" (Ю.Нагибин. — "Октябрь", №2, 1988).

Что-то не по себе мне стало, как девочке Оле из Петродворца, когда она села с подружкой в автобус: "В нем были почти одни пьяные, а немногие трезвые везли мешки с пустыми бутылками... Я не боюсь, но мне страшно!" ("Комсомольская правда" от 25 марта 1990).

Страну сотрясают забастовки, межнациональные конфликты, экологические бедствия, а тут все бубнят о вреде алкоголя. Допуская возможность и такого восприятия, позволю себе следующее превентивное реагирование. Кажущиеся на поверхности далекими, некоторые явления могут накрепко переплетаться в глубине. Напомню ставшие достоянием гласности факты: едва образовавшись, кузбасские забастовочные комитеты стали тут же закрывать винные лавки и выставлять антиалкогольные кордоны на въездах в населенные пункты; в ходе ферганских событий погромщикам раздавалась водка, специально подвезенная на грузовиках. То, что принято называть конфликтом на межнациональной почве, тоже штучка не простая. В этом смысле знаменательны февральские события в Душанбе, разрушившие начавший было складываться образ "нецивилизованного азиата". Именно таджикистанцы противопоставили так называемой "национальной розни" беспрецедентные отряды самообороны, сформированные по месту жительства на интернациональной основе. Честь и хвала этой самой трезвой республике.

В феврале 1990 года, будучи в Гааге, академик Л.И.Абалкин, в частности, заявил: "Одной из самых крупных ошибок было неумелое проведение антиалкогольной кампании". Диалектика понятий не позволяет однозначно расценить это утверждение. Во всяком случае, инициатива снизу за отрезвление общества была весьма умело вписана в сложившуюся бюрократическую структуру. С другой стороны, не только не была разработана программа отрезвления, но даже маломальски серьезной финансовой поддержки со стороны государства народное движение не получило. В создавшейся ситуации надежду стоит возлагать на материальное поощрение государством личной трезвости труженика. Это можно было бы осуществить следующим образом.

Вводятся единые банковские алкогольные билеты, которыми выплачивается определенная (научно обоснованная) часть трудовых доходов населения и на которые можно покупать только спиртное по низкой цене. Наряду с отовариванием алкобилетов в винных магазинах ведется неограниченная продажа спиртных напитков за обычные деньги, но втридорога. Вместе с тем госбанк принимает от населения алкобилеты, выдавая взамен обычные деньги по номиналу с коэффициентом, равным отношению высокой и низкой цен спиртного. Доля алкобилетов в трудовом доходе и соотношение цен на спиртное — вот два рычага, умело манипулируя которыми, правительство действительно поведет страну к отрезвлению. Подобная финансово-психологическая мера, объектом которой является народ, а субъектом выступает государство, нуждается, конечно, в тщательной детальной проработке. Вот где могли бы непредвзято и созидательно объединить усилия экономист Н.Шмелев и социопсихолог И.Бестужев-Лада.

Вопрос "Пить или не пить?" — несомненно из ряда гамлетовских.

ЛЕУС Владимир Александрович родился в 1936 г. в Хабаровске в семье врачей. В 1939 году родители переехали в европейскую часть, и все детство прошло в Туле, там закончил десятилетку, потом — МГУ имени М.В.Ломоносова. Работает в Институте математики СОАН старшим научным сотрудником. Живет в Новосибирске.

Печатается в сокращении.

ОТ РЕДАКЦИИ. После незабытого еще провала антиалкогольной кампании статью эту можно посчитать почти неуместной. Особенно сейчас, когда всеобщее разочарование идущими от КПСС полуреформами, прогрессирующий пессимизм, видимая безысходность, в котором находится общество, лучше любой агитации "культурпитейцев", стимулирует спрос на окаянное зелье. Оно же само даже в Москве возведено в ранг новейшего дефицита, что вызывает законное неудовлетворение тех, кого цирроз печени не пугает.

Справедливости ради стоит заметить, что на Елисейских полях, где-нибудь на обочине, непредвзятый взгляд отыщет куда меньше отошедших в мир иной от этого бичуемого автором недуга, чем на Тверской, — тех, кто всего-навсего потерял человеческое обличье. А сердце все ж подсказывает, что надругательство над душой и разумом своим гаже всего того, что можно сделать со своим телом...

Но написана статья обстоятельно, аргументирована весом, цифры эмоциями не перешибешь, сама проблема, увы, налицо... Что тут возразишь? Да и надо ли? Разве что позволим себе напомнить один небезинтересный опыт над крысами.

Крысы, как многим известно, существа весьма незаурядные. Род их относится к числу древнейших, живучесть их исключительна. Едва ли не единственные на Земле они способны чувствовать радиацию. Об их способностях предвидеть крупные неприятности мы наслышаны от моряков.

Живучи — значит более других способны противостоять смерти. Но если стая может быть спасена це-

ной жизни одной особи, то обязательно найдется крыса-самоубийца. Все роли распределены, каждая крыса делает что-то свое. И среди них обязательно выделяются крысы-лидеры, своего рода хозяева жизни, равно как и крысы-работяги (если угодно — крысы-"шестерки", крысы-аутсайдеры). Крысиное сообщество живет по своим весьма непростым законам, но главным из них остается установка для стаи в целом: любой ценой выжить.

Опыт, о котором идет речь, заключается в следующем. Крыс принудили пить воду с добавлением алкоголя. Предлагали на выбор воду со спиртом и чистую воду, но в последнем случае наказывали животных легким ударом тока. В конце концов к алкоголю привыкли они все. Самое интересное произошло потом. Наказание электрическим током было отменено. И вот крысы-лидеры вернулись к поилке с чистой водой, что касается крыс-аутсайдеров, то они этого не сделали...

Такие вот невеселые, все той же наукой выявленные аналогии.

НОВЫЕ КНИГИ;
ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ГАЛИЧ Александр. Стихи и песни. Красноярск, Изд. Красноярского университета, 1990.

ГОРДОСТЬ И ГОРЕЧЬ. Поэзия 70 80-х годов о войне. Сост.М.Л.Грозовский.М., "Советская Россия", 1990.

ЕРОФЕЕВ Венедикт. Моя маленькая Ленииниана, Илл. Виталия Стацинского, Париж, "Русский болтун", 1990.И. Сост. и предисл. Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991 (Из Архива Русской Революции).

Георгий Ефремов

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПОТЕРЬ

Из книги о Литве "Мы люди друг другу"

1.

...28 сентября 1939 года был подписан германо-советский договор о дружбе и границе. Лига свободы Литвы (ЛЛ) решила отметить годовщину этого события в самом центре Вильнюса.

Замечу, что руководство Лиги оказалось излишне возбудимым. Еще и поэтому все выгоды конкретного выступления использовали другие партии, в первую очередь "Саюдис".

Вильнюсская "Вечерка" в корреспонденции от 5 октября 1988 г. сообщала:

"Как известно, 28 сентября сего года в Вильнюсе произошло или было спровоцировано печальное событие. На несанкционированный митинг собрались люди, против которых была применена грубая сила. Пострадали и участники, и должностные лица, о чем можно лишь сожалеть. Для расследования создана правительственная комиссия, в состав которой входит группа членов Литовского Движения за перестройку".

Я считаю, что произошло следующее: Лиге свободы на сей раз выпала роль тарана. В первые дни октября выяснилось, что устои прежней партийной власти расшатаны почти полностью. Руководители "Саюдиса" в этом случае сориентировались чрезвычайно быстро и, что делает честь политикам, обошлись без лишних реверансов. Лига была поддержана вовремя и

крайне решительно. Этот шаг придал Движению ("Саюдис" означает согласованное, совместное движение) новый авторитет, привлек массу сочувствующих, поднял его престиж в глазах многих, к тому времени колебавшихся. Словом, это была великолепная политическая победа.

Но противник еще должен быть добит. Добивали его методично и основательно...

Вспоминая тогдашнюю вспышку антисоветских и антирусских настроений, думаю вот о чем. Присутствие русского в республиках СССР, в восточноевропейских странах как бы позволяет местным патриотам списывать на этот счет все горести и многие собственные ошибки. Русский в роли пугала, русский в положении вечного виновника — вот к чему объективно привели Россию те, кто воплотил в живую историю мессианские идеи русской избранности.

Скажу еще о гнилостности имперского духа. Неудовлетворенные подчиненным положением, деятели новорожденных национальных движений обычно пропитаны жаждой доказать свое право на старшинство. В условиях семидесятилетнего тотального подавления окраинного патриотизма идеологи кровной чистоты всячески подчеркивали свое отличие от нечистых. Вот в качестве иллюстрации коротенький, всей Грузии известный анекдот, уместившийся в одной фразе:

— Выпьем за нерушимую дружбу между грузинским и абхазским народами!

Смысл очевиден: абхазцы — никакие не грузины. Примерно то же самое думали и говорили литовцы о поляках, населяющих Литву. Но стоило чуть измениться политической погоде, забрезжила возможность всерьез вступить в права владения своей землей, — и посыпались постыдные изыскания, призванные доказать, что абхазцы — это грузины, позабывшие о своих корнях, что никаких поляков на территории Литвы нету и быть не могло, что все тутейшие этнические литовцы, и т.д.

Следует заметить, что власти перестали контролировать ситуацию. Члены Инициативной группы свободно и оперативно действовали на виду и при содействии административных органов. Л.Пангоните даже вела киносъемку в зале судебных заседаний! По всему было видно, кто победил в неравном споре.

...А тем временем у нас в райцентре, в Молетай, проходил митинг, приуроченный к подъему национального трехцветного флага. Тот день, 4 октября, был ветренный и какой-то рваный. Люди собрались на площади перед местным домом Советов и кинотеатром, было более десяти тысяч человек. Для такого района, как наш, толпа получилась грандиозная.

Выступающих набралось до трех десятков. Говорили местные интеллигенты: врачи, учителя, агрономы. Вспоминали неладное прошлое бывшие ссыльные и зэки. Из Вильнюса приехал Витаутас Ландсбергис с женой и внуком. Помню, весь этот влажный ветренный вечер Ландсбергис простоял, обнимая десятилетнего мальчика, прикрывая его от ненастья полой плаща...

Когда наша машина свернула на грунтовую дорогу, ведущую к моему родному совхозу, мне показалось, будто кто-то "проголосовал" с обочины. Время было позднее, а вечер смутный, и по стеклу растекались капли редкого дождя.

В машину попросился человек на костылях.

Безногий, на двух протезах, он пешком возвращался с митинга!

Мы немного поговорили.

— Верите, что все не повернется, как было?

— Не верю. — Он повертел в руках папиросу, но прикуривать не стал, потому что ехал недалеко. — А все равно, никуда не денешься, хоть год прожили как люди.

— Какой год, еще трех месяцев нет! — поправил я.

— Они трех лет стоят.

Он долго выкарабкивался из машины, ковылял до своей избы.

Я вспомнил строки Альбинаса Бярнотаса:

Шагами землю мучай,
под зноем не робей,
в тени травы дремучейб
реди, как муравей.

Веди в потемки грунта
свою лесную рать
тебя унизить трудно,
но просто растоптать...

***

5 октября Вильнюсский совет "Саюдиса" распространил такую рекомендацию:

"Ввиду того, что ни одна советская конституция, как бы заманчиво ни звучали ее статьи, не была в достаточной степени воплощена в жизнь; более того, советская юридическая практика скорее напоминает глумление над Основным законом; учитывая, что празднование Дня конституции выливается в проявление солидарности с брежневским режимом, рекомендуем всем, сочувствующим идее свободы и права:

бойкотировать День советской конституции 7 октября 1988 года путем выхода на работу. Просьба ко всем — обеспечить не формальную, а действительную трудовую активность в этот день..."

И все-таки: что же способствовало столь молниеносному развитию политической ситуации?

Прежде всего, безусловно: национальный характер Движения. Пружина национального самолюбия была сжата до такой степени, что накопленная ею энергия оказалась гигантской. Эта пружина была скована и деформирована постоянным безжалостным воздействием

— стоит ли удивляться, что произведенная работа не всем и не во всем представляется идеальной?

То, что случилось, я бы назвал не распрямлением, а раскривлением пружины. Для того, чтобы заработать нормально, механизму необходимо время, необходимо прекращение вредных и вообще каких бы то ни было сверхсильных влияний. Вряд ли столь благоприятные условия будут когда-либо предоставлены свободно развивающемуся общественному организму...

Принято сетовать, что вместо свободы и демократии литовский народ предпочел своеволие "Саюдиса". Я когда-то сочинил эпиграмму:

Народ лежал в пыли, ничтожестве и лени.
"Восстань!" — ему рекли. И встал он на колени.

Что ответишь на это? Разве что возвратишь сетования по обратному адресу: что делали остальные партии, когда народ валом валил в "Саюдис?" Пеняли, кривились, вздыхали, шептались по углам. Гадливо отворачивались от "оголтелых националистов". Ну и поделом, как говорится.

2.

Статью М.Я.Гефтера "Навстречу Хартии согласия" мне не удалось напечатать — в уже почти свободной Литве, в условиях практически полной гласности. Это был еще один довод — хлопотать об издании собственной газеты.

Воззвание М.Гефтера с одинаковой решительностью отвергли все приметные издания — от радикального "Возрождения" до консервативных "Вечерних новостей". Конечно, статья была не прямо ко двору: человек ратовал за объединение, а мы еще не вдоволь наругались, нас призвали к миру, а всем так хотелось

повоевать! Как это — винить во всем себя, когда мы точно знаем, кто виноват во всех наших бедах? Примитивность, плоскостность, худосочность политической жизни низводит даже самых ярких и сложных людей до той простоты, которая воистину хуже воровства...

Это заключение не относится к нижеприведенной цитате. Вот что писал Ромуальдас Озолас в руководимой им же газете "Возрождение":

"Даже если Горбачев будет произносить более жесткие слова, мы его политику вынуждены поддерживать. Не ту, которая на словах, а ту, что кроется за всеми словами. И если мы хоть на иоту ее принимаем, то обязаны понять, что она не могла измениться в корне: будучи русским патриотом, М.Горбачев озабочен прежде всего спасением России (кто, если не он, лучше всех знает, что Россия от контрреволюций Сталина и Брежнева пострадала больше любой другой союзной республики!), но он не может добиться обновления без помощи других союзных республик.

Мы должны поддерживать провозглашенную Горбачевым перестройку, даже если он сам от нее откажется".

Золотые слова!

***

В те месяцы и недели мне приходилось много ездить по школам, заводам, институтам, конторам. Не знаю, как у меня получалось вести пропагандистскую работу, но времени она отняла уйму и не дала ни малейшего морального удовлетворения. Если в коллективе преобладали русские и поляки — меня осыпали бранью. Если в зале (во дворе, в коридоре) большинство составляли литовцы, разговор был достаточно спокойным, но с известной долей восторгов и слезливой приподнятости. И то и другое можно было себе представить, понять и оправдать. Боюсь, что в те дни люди были способны воспринимать только какую-то одну

грань мира — и все призывы к спокойствию, ответственности и согласию пропадали даром.

В декабре 1988 я получил письмо, в котором были такие строки:

"Литовцы хотят назвать всех по именам — и жертв, и палачей. Пусть помянут и моего деда. Он был крестьянин, кончил всего 4 класса, но школа, которую он построил там, на Оби, простояла до недавнего времени памятником ему. Я ненавижу насилие. Я не прощаю большевикам, не могу. Я не хочу, чтобы их развешивали на фонарях вдоль дорог, я только хочу, чтобы их назвали по именам и занесли на все века в черную книгу позора. Я считаю победу партии Ленина самой большой трагедией России. Мне, как и миллионам других, хочется понять этот кошмар насилия. Как сделать, чтобы этого больше никогда не было?.. Желаю успеха всем, кто выпускает газеты "Саюдиса". Сейчас — это наш духовный хлеб, без них мы не выживем...

Забегаева Елена Николаевна, Клайпеда".

Приведенный отрывок я собирался напечатать в первом номере "Согласия", но не получилось. Первый номер запоздал, искали бумагу, уламывали директора типографии.

Я тот номер вынянчивал бережнее, чем собственного ребенка. И когда он вышел, я от счастья ходил как ошалелый.

Увы, радость была не чересчур долгой. Увы, многими моими соратниками, людьми замечательных талантов, владела оголтелость, способная любое обновление превратить в обнагление. Убежден, что идея общественного согласия была и осталась от них чрезвычайно далека. И по сей день выходит газета под названием, ни в коей мере не отвечающим содержанию.

Мне хотелось, чтобы предпринимались попытки установить согласие всех со всеми. Но победил другой принцип: согласие всех с нами.

Возможно, во мне говорит обида. Я, например, так и не смог в "собственной" газете опубликовать такое стихотворение:

Ты человек. Ты вправе
сгореть или согреть,
но почему ты жаждешь
убить и умереть?

Ты говоришь: да сгинет
неправедная власть!..
Смири себя, не требуй,
чтоб снова кровь лилась.

Все было — боль, и гордость,
и злые времена.
Кому нужна победа,
тому мила война.

Первую неделю января я везде и всюду, на ходу и во сне сочинял передовую статью для первого номера "Согласия". Как будто предвидел, что скоро буду отторгнут от газеты, что надо несколько раз настойчиво повторить, зачем она, эта газета, необходима.

"Врачу, исцелися сам!" Следуя этой мудрости, мы постараемся поддержать любые попытки самоуглубления, самопознания, самокритики — и противостоять стремлению взваливать вину и ответственность на кого бы то ни было и на что угодно, кроме себя. Мы надеемся разоблачать любые интриги, направленные против отдельного человека, общественного движения, партии, нации, государства. Ложь и лицемерие — вечные враги согласия.

Низкая культура, слабая осведомленность, недостаточная самокритичность — враги всякого согласия.

Озлобление, высокомерие, отсутствие самообладания — враги любого согласия. (Станислав Ежи Лец отметил: "Чем слабее доводы, тем крепче позиция".)

Непримиримость, воинственность, стремление к верховодству во что бы то ни стало — вот главные враги свободы. А несвободный человек, подневольный народ — не может быть счастлив.

Насилующий чужую волю, затыкающий ближнему рот — не может быть ни свободен, ни счастлив.

Призываем всех к общему праведному труду — созиданию радости, блага и справедливости.

За нашу и вашу свободу!"

***

Часто приходится наблюдать превращение единичных личностей в стадо. Почти никогда не бывает скорым и успешным обратный ход: распад толпы на мыслящие и независимо чувствующие единицы личностей. При этом негативная сторона общения так сильна, что и двое могут образовать стадо, если каждый из них склонен передоверить другому свою личную, независимую ответственность.

Толпа необходима политике и политикам для нанесения мощных таранных ударов с использованием огромной массы. Тут слово "масса" имеет почти физический, природный смысл.

Основные действующие лица на театре политических действий — толпа, стадо, стая.

Стая, не умеющая выделить из своей среды вожака, наделив его некоторыми безусловными правами и ограничив возможные крайние проявления, — обречена на вымирание. Умение подчинять и подчиняться — именно в совокупности этих искусств заключен политический гений. Необязательно гений государственной политики, просто политики — экономической, социальной, культурной, правовой, даже бытовой...

Мы напрасно путаем с политикой явления, не имеющие ни малейшего к ней отношения. Требования свободы, голодовки, пикеты, самоубийства — все, вплоть до сочинения политических трактатов, — это еще далеко не политика. Но зато любое человеческое (и нечеловеческое) действие или слово претворяется в политику, когда оно используется кем-либо для устранения соперника и достижения власти.

Суть партизма — в использовании стадных особенностей психики. Политик без связей, поддержек и уловок не в состоянии добиться необходимого веса — вновь употреблю термин в прямом смысле. Чем больше вес — тем легче протаранить оборону противника. Обилие сторонников составляет необходимую массу, которая и приводит обладателя к вершинам политической власти. Для упрощения, облегчения вербовки и удержания сторонников создаются партии, союзы, лиги. Убедить в чем-то независимых отдельных людей — дело трудоемкое. Легче породнить единичных представителей общества фетишами классов, партий, национальных претензий.

Взрывы, подобные румынскому, поразительны. В Литве революция началась и шла иначе: она вполне подконтрольна вождям народного движения. Их несколько, они известны. Но именно в этой ситуации ценность каждой независимой позиции возрастает многократно. Наличие несогласных — благо в первую очередь для "монолита", для стада и стаи. По ним, по отношению к ним можно выяснить качество того или иного сообщества, да и всего общества, крепость личных и социальных, множественных факторов, способных влиять на судьбу нации, союза, континента, да и мира в конце концов. Но это истины здравого смысла (определение А.Блока), которые даются с трудом.

***

Законопослушные иноросссы (так я называю русских, живущих в иноязычной среде и не полагающих для себя обязательным приспосабливаться к этой среде), за долгие десятилетия привыкшие к культу безличности, были готовы ко всему, даже к постепенному возникновению народнодемократических монархий (КНДР), но только не к сознательному самоослаблению центральной власти, всей имперской структуры. Всесильный и динамичный лидер сверхдержавы, чьего предшественника впору было именовать "ваше ильичество!", сам превращает страну из империи в обыкно-

венную политическую и географическую единицу. За что же, как принято говорить, боролись?

Напрасно они подозревали, что Горбачев действует по неразумению.

3.

16 февраля 1989 года День независимости. Накануне сейм "Саюдиса" провел выездную сессию в Каунасе, на которой была принята Декларация, содержащая пункт о стремлении к политической независимости. Я рано уехал из Каунаса, и текст Декларации обсуждался и утверждался без меня. Я не смог и трех часов высидеть в "приподнятой обстановке" внеочередной сссии. Меня вообще огорчает и настораживает стремление к помпезности, к выдавливанию патетической слезы из простодушного обывателя. Помнится, была такая идея: при проведении заседаний сейма ведущие облачаются в старинные одежды, председательствующий шествует с посохом, открытие происходит под звуки свирелей и фанфар... Когда я пытался подтрунивать над этой особенностью, многие всерьез обижались, защищая подобную роскошную сентиментальность как национальное достояние. Литовцу так понятнее! Один знаток даже сказал: таковы проявления нашего исконного пантеизма.

Не берусь решать. Мне подобная ритуальность представляется использованием запрещенных приемов. К сожалению, эта сторона пропагандистской работы нашла поклонников и в парламенте республики, и в других высоких инстанциях.

***

Перед празднованием Дня независимости в Литву приехало множество репортеров. В их числе — Бернар Гетта, корреспондент газеты "Монд", мой знакомый.

Он попросил найти для него переводчика, хорошо знающего французский. Это удалось устроить. Радушный и целеустремленный Бернар буквально впивался в каждого собеседника, добывая из него не какие-то мелочные подробности, но ту суть, которой обладал и дорожил очередной интервьюируемый и которую вовсе не желал раскрывать. Мне врезался в память разговор с Озоласом, на втором этаже издательства "Минтис", в кабинете заместителя главного редактора. Беседа текла вполне мирно, Бернар довольно лениво записывал в блокнот какие-то фамилии, даты, суждения. И вдруг он спросил:

— Вы член коммунистической партии?

— Да, — ответил Озолас.

— Я мог бы догадаться, — рассмеялся Бернар, — вряд ли беспартийному в старые времена доверили бы такой кабинет... Могу я узнать, зачем вы вступили в партию, если отбросить естественные причины — честолюбие и т.д.?

— Не знаю, насколько хорошо вы себе представляете положение интеллигента в старые времена. Не было иного пути реализовать свои гражданские потенции.

— Но почему вы сейчас состоите в партии, с которой вас как философа, насколько я представляю, не связывает ничего?

— Партия в настоящее время сохраняет определенную структурную жесткость. Нет иного политического механизма, способного принять на себя всю тяжесть государственной машины...

— Как, а "Саюдис"?

— "Саюдис" — это партия партий. В идеале — это зародыш всей политической жизни будущей Литвы. На его основе будут созданы, разовьются и отпочкуются отдельные политические организации. Пока же — это общественный союз, весьма неоднородный и все-таки недостаточно сплоченный для неотложного решения столь ответственной исторической задачи.

— Трудно со стороны судить, но у меня, — заметил Гетта, — сложилось ощущение, что "Саюдис" достаточно сплочен и однороден. Вообще политическая картина в Литве удивительна тем, что в ней четко и ясно прописан центр и правая сторона, но совершенно незаметны левые силы. Однако, если я правильно понял, вы связаны с партией, идеологически абсолютно вам чуждой, по соображениям чисто прагматическим? Наступит день, когда она перестанет быть вам нужна, и вы покинете ее?..

— Не хотелось бы отвечать на вопрос, таким образом поставленный. Партия — не отечество, не мать и не жена. Вы мне как будто заранее инкриминируете некую измену, а измена с моральной точки зрения всегда позорна. Тут же дело в другом: переход из партии в партию, уход из партии — вещи допустимые и довольно частые. Пример — Черчилль. Человек меняется, меняются убеждения, меняются способы защиты этих убеждений.

— Я не состою ни в какой партии, — ответил Гетта, — но ваш подход мне кажется не совсем корректным...

***

Уже в конце февраля 1989 г. я получил очередное разоблачительное послание:

"Ну што предатель русского народа

Конец скоро вашему саюдису. Ваш промах в том што решили революцию совершить без других национальностей Если-бы вовлекли русских то ваши дела были бы лучше. Единство показало на митинге свою силу Сто тысяч а надо будет и двести тысяч соберется весь Вильнюсский край А такие как Ефремов которые чистят ботинки Лансбергису, у которого отец был Гитлеру друг. Народ скоро поймет за кем он пошол. Вам надо вернуть деньги народу у которого вы украли как гробители Мы их вам не давали Скоро опять наступит дружба литовского и русского народа За дружбу! Бур-

жуев саюдиса всех вон из Литвы За единый Советский Союз!"

***

Знаю, что мой уход многие склонны считать бегством, чуть ли не дезертирством. Пусть так. Думаю, что я бежал из тюрьмы, которую сам для себя построил. Суетная, сумасшедшая, площадная жизнь напоминала тюрьму в стендалевском, наиболее точном ее понимании:

"В тюрьме хуже всего то, что нельзя затворить свою дверь".

А у меня и двери-то не было.

Мне в эти месяцы пришлось часто и много трибунствовать, обращаться к значительным скоплениям людей. Думаю, я сам от этого стал хуже.

У меня вызывают недоверие и отвращение поступки, продиктованные желанием самоутвердиться. И — упрямство проигравших, просозидавшихся, которым случайно или закономерно удалось пробиться наверх и закрепиться там. Многие, стоящие у власти и при власти, считают, что их охрана и окружение — это, собственно, и есть народ.

Меня угнетает и запал, захлеб, нахрап ниспровергателей, которые рвутся туда же — в просозидавшиеся, глупея на глазах и оглупляя самые мудрые идеи, огрубляя самые мирные народы.

"Настоящая ответственность бывает только личной. Человек краснеет один", — говорит герой повести Фазиля Искандера.

Пусть эти взъерошенные заметки получат запрятанный в текст подзаголовок — "Записки виноватого". Я писал их, краснея и стыдясь.

Когда я попытался в очередной раз урезонить не в меру разошедшихся соратников, мне пришлось услышать в ответ, что победителей не судят. Не могу передать, как я обрадовался, услышав, уже не помню от кого:

— Победа — истина негодяев.

***

Завершить эти заметки я хочу стихотворением, строки из которого дали название книжке о двух годах жизни Литвы:

Л.Г.

Как эта боль проста:
с картона,
холста
тянемся легким прахом
к объятиям,
плахам.

Не можем одни
без родины
и родни.

В эти скудные дни
мне и всем протяни
руку —
мы люди друг другу.

Январь 1990

ЕФРЕМОВ Георгий Исаакович родился в 1952 году в Москве. Поэт, переводчик. Учился в Вильнюсском педагогическом институте. Работал санитаром, продавцом в книжном магазине. Переводил литовскую поэзию: С.Нерис, С.Гяду, М.Мартинайтиса, Ю.Марцинкявичюса, Э.Межелайтиса и др. В Вильнюсе небольшим тиражом вышли книги его стихов "На ветру" и "Эти людные времена". Был одним из зачинателей движения "Саюдис", входил в совет сейма, редактировал газету "Согласие". Заместитель председателя редакционно-издательского общества "Весть". Живет в Молетском районе Литвы.

О ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ПРЕМИИ ЖУРНАЛА "КОНТИНЕНТ"

На наших глазах уходит в прошлое долгая эпоха, гражданской войной порожденная и идеологией гражданской войны пронзенная — с упрощенным видением мира в красно-белых цветах, с утверждением собственной правоты через уничтожение инакомыслия.

Вместе с тем начали иссякать и неумеренные восторги по отношению к дозволенным верховной властью свободам в печати. Происходит то, о чем наиболее проницательные предупреждали заранее: плюрализм идей, являясь противовесом тоталитаризма, не может быть самоцелью общественного развития.

Не стоит сетовать, что многоголосие оценок и суждений не складывается в единое целое — это естественно. Однако досадным заблуждением представляет укореняющееся обыкновение принимать за истину некое суммарное среднее этой шумной многоголосицы. Подобный принцип, перенесенный в плоскость практической политики и экономики, означает паллиатив, безоглядное упование на компромисс, который почти всегда желанен, но далеко не всегда осуществим — особенно в нынешнем кризисном положении, требующем определенности оценок в решимости социального выбора.

Более того, что ныне понимается под компромиссом, таковым не является вовсе: это практика взаимных уступок, ведущая не к поискам конструктивных совместных решений, а к временному перемирию на основе отказа от таковых. Непризнание этого оборачивается двойными издержками: все громче заявляет о себе насилие, к которому прибегают и новорожденные национальные движения, и нынешнее правительство.

Нельзя не признать, что немалая доля ответственности за сложившееся положение лежит на интеллигенции. Упоение возможностью высказать наболевшее затенила главное — общественное содержание публичных выступлений.

Продвижение к истине — это не только и не столько самореализация интеллектуального потенциала индивида, не умение найти тот ракурс видения проблемы, который позволяет осознать ее многогранность, найти ее первопричины — и тем самым снять противоречия и предупредить или хотя бы смягчить возникающий конфликт.

Как известно, с этого года "Континент" начал свободно распространяться в СССР. В январе в Москве 100-тысячным тиражом отпечатан его 66-й номер. Общественно-политическая жизнь в Советском Союзе всегда находилась в центре внимания журнала, однако нынешняя ситуация, чрезвычайно сложная, вызывающая крайнюю тревогу за будущее страны, очевидный кризис власти, кризис экономических реформ обязыва-

ет"Континент" занять еще более активную общественную позицию.

По счастью, журнал никогда не был втянут в литературные междоусобицы внутри СССР и готов сотрудничать с литераторами полярных воззрений, "Континент" не только остается открытой трибуной для публицистических выступлений самой разной ориентации, но и объявляет о намерении ежегодно присуждать литературно-публицистическую премию за наиболее значимые публикации, которые бы содействовали преодолению последствий тоталитаризма, разрешению национальных и экономических проблем, установлению гражданского мира, возрождению утрачиваемых культурных и религиозных ценностей.

первая премия — 10.000 рублей

вторая премия — 5.000 рублей

третья премия — 3.000 рублей

Премии будет присуждаться авторам, представивших свои рукописи в редакцию журнала (напоминаем, что журнал не принимает к рассмотрению ранее публиковавшиеся произведения). Выдвижение на премию общественными организациями не предполагается. Отмеченные премиями рукописи будет в обязательном порядке опубликованы "Континентом". О первом присуждении премий будет сообщено в последнем номере "Континента" за 1992 год.

Витторио Страда

ПОСТКОММУНИЗМ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ И СССР

По материалам Римской встречи

Здесь, в Риме, собрались русские и нерусские, советские и несоветские, чтобы поставить вопросы по национальной проблеме, как она в настоящее время стоит в России и СССР, и попытаться найти на них ответы. Поэтому не будет странным, если я начну с самых элементарных и при этом самых трудных вопросов: что значит сегодня быть русскими? Что значит сегодня быть советскими?

Претендовать на бесспорные и окончательные ответы в этом вопросе нельзя — это были бы лишь самые банальные ответы. К тому же можно сомневаться в возможности обоснованного и конкретного ответа на эти вопросы, поскольку в характеристику национального или государственного всегда привносится оценочный момент, порой чересчур идеализирующий, порой чересчур критичный. Словом, создается некий стереотип, вдобавок изменчивый, в зависимости от того, воспринимается ли нация глазами того, кто к ней принадлежит, или же глазами принадлежащего к другой национальности, как в моем случае. Думаю все же, что эти сомнения можно преодолеть и поставить наши два вопроса, учитывая высказанные выше соображения в качестве элементов для самоконтроля.

Быть русским сегодня, как и в прошлом, — значит, в первую очередь, принадлежать к определенной

языковой общности, которая, однако, сама по себе недостаточный признак для определения национальности. Например, английский, немецкий, испанский языки — родные для народов, не составляющих Англию, Германию, Испанию. Иначе обстоит дело в случае русского языка, который является родным только для русских, но на нем говорят и другие народы, обладающие собственным языком и входящие в состав государственного образования, в прошлом носившего название Российской империи, а ныне именуемого Союзом Советских Социалистических Республик. Русский язык является официальным языком многонационального государственного образования.

Если языковая общность — условие необходимое, но не достаточное для определения русских, то же самое относится и к русской географической общности. Известно, что география наций — и европейских, и неевропейских — носит исторический характер и что размеры наций, в Западной Европе по большей части уже установившиеся, меняются в зависимости от политических перипетий и войн в особенности. Но имеются случаи исключительно подвижной географии наций, и Россия как раз один из них. Дело не только в имперском и многонациональном характере России и СССР. Это отнюдь не уникальная ситуация: еще несколько десятилетий назад имперская структура была общей чертой многих европейских стран. Однако в случае России дела обстоят иначе, поскольку входящие в ее состав нации, независимо от того, Российская ли это империя или Советский Союз, — находятся в соседстве с нею, а не отделены морями или океанами, как это было с колониальными державами в прошлом. Сравнение с Австро-Венгерской империей верно лишь до определенной степени, так как Россия была и продолжает быть центром многонациональной системы, являющейся не только европейской, но и евроазиатской. Собственно Россия, после завоевания Сибири, — страна биконтинентальная, в силу чего знаменитая формула "Европа от Атлантики до Урала" перерезает Россию надвое, исключая Россию, находящуюся за Уралом.

Если для определения того, что такое русские, кроме языка, недостаточно и географии, то, может быть, на помощь нам придет культура, и тогда можно будет выявить собственно русскую духовную общность. В поисках ответа на поставленный нами вопрос в первую очередь должна помочь религия, ввиду специфичности христианства в России: в том образе самой себя, созданном Россией, религиозный момент, вместе с культурой в ее целостности, является центральным. Но и здесь все гораздо сложнее, чем представляется: ведь если справедливо, что национальная культура не что-то однозначное и однородное, а внутренне динамически-противоречива и даже подвержена внутренним разрывам, не менее значащим, чем ее единство, то в случае русской культуры дело обстоит еще сложнее, так как в ней сосуществуют по крайней мере два слоя: древний, средневековый, автохтонный и современный, послепетровский, "запáдный". Конечно, здесь упрощается специфическая черта русской культуры, которую, однако, в XIX столетии и в начале XX-го сами ее носители и создатели переживали именно в этой присущей ей дихотомии. Что же касается религии как специфического историко-социального института, то в России она, в отличие от других христианских конфессий, в особенности католической, не имела автономии и большей частью для нее была характерна подчиненность самому мощному из всех институтов в русской истории — государству.

Государство — условие возникновения и окончательного складывания европейских наций — в России имело еще больший и решающий вес, хотя до 1917 года оно не перечеркнуло развития гражданского общества, как уверяют некоторые историки, особенно на Западе, а только ограничило и задержало это развитие. Именно таким ограничением и задержкой в развитии гражданского общества в России, помимо многочисленных прочих условий, и объясняется революция, начатая государственным переворотом в октябре 1917 года, которая действительно привела к разрушению гражданского общества в этой стране и к беспрецеден-

тному в истории тоталитарному утверждению государства. Это уже не российское, а советское государство.

Эти наши размышления можно было бы заключить так: быть русским — значит, главным образом, принадлежать в качестве подданного или гражданина к российскому государству, а — аналогично — быть советским, принадлежать к советскому государству, поскольку русский язык — язык государственный, а русская культура если и не является государственной (каковой она была в советский период), — все-таки с государством связана больше, чем культура других европейских стран. Думаю, однако, что такой вывод был бы неверным, особенно сейчас, когда Россия и СССР вступили в труднейшую фазу своего развития: начался процесс распада, так как рушится искусственное, анахроническое единство, но в перспективе открываются возможности для нового объединения на иных принципах, более отвечающих национальным реальностям как самой России, так и других народов, которые сейчас именуются советскими. Национальный вопрос, который советская государственная марксистско-ленинская идеология выдавала за решенный, вновь встает во всей своей серьезности и драматичности в самой России. Отсюда необходимость нашего первого вопроса: "Что значит быть русским сегодня?" Но, столкнувшись с некоторыми трудностями в поисках ответа на этот вопрос и оставив пока попытки преодолеть их, рассмотрим второй наш вопрос: "Что значит быть советским сегодня?"

Если быть русским, как мы это частью увидели, проблематично, то быть советским сегодня — чистейший абсурд, если только не свести все к вопросу гражданства. Быть советским сегодня — значит быть членом общности или союза, которые больше таковыми не являются и не имеют оснований для того, чтобы существовать, по крайней мере, в известной до сих пор форме. Ведь что представлял собою СССР в период своего внутреннего и международного могущества? Поверхностно рассуждающие западные историки видели и продолжают видеть в СССР не что иное, как про-

должение Российской империи, а в советской политической системе — продолжение политической системы царизма. Этот тезис иногда принимает крайние, доходящие до самоутрировки формы, но в наиболее умеренных разновидностях он общепринят и в самом западном общественном мнении, для которого "русские" и "советские" — синонимы. Однако СССР, более или менее совпадая территориально с бывшей Российской империей, исторически возник как антитеза последней с целью ее разрушения Российская империя при всем ее своеобразии, о котором упоминалось выше, принадлежала к семье великих европейских империй, отличаясь от них главным образом авторитарным характером центральной власти, осуществлявшейся в деспотических формах и в самой метрополии Империи, где вплоть до начала 60-х годов прошлого века существовало крепостное право — основа всеобщего политического рабства.

То, что теперь называется "советской империей", первоначально представляло собой не преобразование царской империи в целях ее сохранения, а являлось форпостом и плацдармом мировой революции, которая после завоевания власти в российской столице должна была распространяться за пределами России, следуя собственной программе. Все расчеты этой революционной авантюры на поверку оказались ошибочными, но это не означает, что советская власть была "русской": она была именно советской и коммунистической властью, причем она состояла также и из русских, для которых, однако, их родина служила лишь базой метанациональной политики. Дух завоевания и аннексии, с самого начала продемонстрированный новой властью, был оборотной стороной готовности идти на попятную, проявившейся в "похабном" Брест-Литовском мире: уступки и приобретения, компромиссы и упорство, защита и агрессия — все это было не что иное, как моменты стратегии и тактики, целью которых была мировая революция, и перед лицом этой задачи все было ничем иным, как средством. Существенно положение не изменилось и во второй фазе революции — сталин-

ской (или фазе "социализма в одной стране"), которая, несомненно, частично отличалась от первой, но по-прежнему направлялась революционной идеологией, для которой Россия, более того, главным образом Россия, была простым материалом для проведения советской и коммунистической политики. Так называемый "советский патриотизм" был искусственным гибридным образованием, и его нельзя отождествлять с русским патриотизмом, хотя с некоторого момента он включал в себя, наряду с другими ингредиентами, и элементы русской культуры, предварительно подвергнутые отбору и фальсификации. Дело в том, что родилась новая форма национализма, парадоксальная по сравнению с традиционным, которую я бы назвал "идеологическим национализмом". Этот национализм, когда дело касалось Советского Союза, был также и интернационалистическим, подчиняя все интересам СССР как мирового центра становившейся все более мифической революции.

Если это так, то по-прежнему остается открытой проблема природы революции, впервые угнездившейся в России и превратившей Россию и всю бывшую царскую империю в собственное орудие борьбы и материал для своих экспериментов. То, что так называемая "октябрьская революция" была государственным переворотом, который подготовило по-военному организованное незначительное меньшинство, известно. Но остается фактом, что в этот период Россия была чревата разрушительным насилием, и этим поворотом было положено начало непрерывной революции сверху, которая оказалась способной вовлечь широкие слои населения, создав на основе идеологии и террора своего рода "тоталитарный консенсус". Думать, как некоторые русские неонационалисты, что все это дело рук преступников-революционеров нерусского происхождения (главным образом евреев, о чем вопят новые антисемиты), дьявольски ловко уловивших удобный исторический момент, — значит обрекать себя на непонимание семидесяти лет истории и значит также сводить русский народ до пассивного ничтожества, кото-

рым может воспользоваться всякий. Объяснение тоталитарного феномена, благоприятной почвой для зарождения и созревания которого оказались Россия и Германия, можно найти только в русской, а также в европейской истории. В России новый коммунистический режим, основавший свою власть на двух исторических преступлениях: разгоне Учредительного собрания и убийстве царской семьи, — положил начало новой трагической фазе в истории России. С провалом коммунистического эксперимента, после ужасающих десятилетий, Россия начинает выходить сейчас из этой фазы, а вместе с нею пытаются выйти и другие народы, ввергнутые в ад коммунизма. Поэтому быть советским сегодня, исключая формальный аспект, уже лишено смысла. Но при этом и быть русским сегодня еще не обрело смысла, если Россию понимать не только как языковое, географическое и историческое явление.

Вопрос в том, чтобы возвратить бытию русских живую и действенную значимость, возобновив определенные традиции, после слишком затянувшегося и слишком трагического их перерыва. СССР, рожденный интернациональной революцией как многонациональное государство, превратился в империю, клонящуюся к закату, с тех пор как эта революция сама вынуждена была признаться в собственном колоссальном крахе. В русской истории открылся грандиозный провал, измеряемый семьюдесятью годами анационального хронологического развития, своей ответственности за который русский народ не может, однако, отрицать. Следовательно, быть русским сегодня — вовсе не значит осуществить своего рода музейную реставрацию, к тому же тенденциозную, собственного далекого прошлого с перенесением вины за собственное недавнее прошлое на других. Быть русским сегодня — значит стать русским заново, конечно же, путем критического возрождения своего прошлого, а главным образом, путем создания новой России. Быть русским — значит одновременно и вернуться к собственным корням и наме-

тить перспективу, преодолев сегодняшнее историческое зияние. Возможно ли это?

Чтобы это стало возможным, требуются многие условия. Речь идет о том, что интеллектуально-этически надо отказаться от внешне наиболее легкого, на самом же деле гибельного решения — обожествления мифической, непостижимой и мистифицированной "русской идеи", так как в действительности этим культивируются плоские и ложные стереотипы русскости. Не "русская идея" как фантастическая миссия спасения мира, но русские идеи, рожденные русской культурой во всей ее многогранности и противоречивости в горизонте европейской культуры. Следовательно, никаких претензий на исключительность и никакого неошовинистического изоляционизма, а открытость миру, так не похожему на тот, что был в прошлом. И дело не просто в культуре: культура всегда воплощается в социально-конкретных формах, хотя всегда сохраняет творческую автономию относительно всех форм своего претворения. А без этого она бесплодна. Сегодня и для России и для других народов, называемых советскими, экономические, социальные и политические проблемы настолько безотлагательны и ужасающи, что требуют исключительного напряжения сил, для того чтобы поистине спасти нацию. Распад былой "советской империи" — необходимое условие для создания фундамента, на котором возникнут новые многонациональные объединения, с учетом различных интересов и идей, на основе реального консенсуса.

Быть русским сегодня — значит прежде всего осознать трагизм новой ситуации, подобно тому, как это сделано Александром Солженицыным в его последнем выступлении, где, между прочим, в отказе от любых пережитков имперского сознания (или лжесознания) он видит принципиальное условие русского национального возрождения. Он справедливо считает, что для этого требуется не только сокращение государственных масштабов, но и подлинная децентрализация, чтобы развязать инициативу как низов, так и пе-

риферии, десятилетиями оставшихся порабощенными центром.

Быть русским сегодня — значит выявить и построить политические институты, отвечающие задачам национального возрождения: после авторитаризма самодержавия и коммунистического тоталитаризма, при котором этот авторитаризм стал даже казаться почти демократическим правлением, такими институтами должны быть институты подлинной демократии, либеральной в предпосылках и социальной по своей сущности.

Быть русским сегодня — значит открыть мир, не дореволюционный и не революционный, но мир, негативно унифицированный опасностью, сегодня немного уменьшившейся, ядерной войны и опасностью, сегодня возросшей, экологической катастрофы, а кроме того, чудовищной неравномерностью демографической и экономической ситуаций. Старые русские, как и многие европейские идеологии,оказываются абсолютно неадекватными сегодняшнему и завтрашнему миру.

В ходе тысячелетия Россия прошла через три основные фазы исторического развития: средневековую, допетровскую и послеоктябрьскую. Эта последняя фаза была самой катастрофичной с русской национальной точки зрения, и сейчас, когда она завершилась, Россия вновь ищет контактов со своими двумя первыми историческими фазами, но такая связь не может означать реставрацию прошлого, на что претендует определенного толка русский шовинизм, а должна быть творческой и критической: ведь игнорировать семьдесят лет истории нельзя, как нельзя игнорировать и новую мировую реальность. Старая русская идеология, к которой многие обращались в недавнем прошлом, а сегодня взирают на нее со скорее глупой, чем зловещей, ностальгией, — имперская идеология Москвы — третьего Рима, которую великий русский мыслитель Владимир Соловьев подвергал, наряду с любым узким национализмом, решительной и глубокой критике. Сейчас, на закате советской империи, надо не извлекать на свет археологию Москвы — Третьего Рима, а

думать о проекте Четвертой России, возможной новой России, свободной и современной, секулярной и христианской, демократической и проникнутой духом солидарности, России, возвратившейся в лоно европейской семьи, России, вырастающей из трех предыдущих, о которой я говорил выше. Но путь к новой России страшно тернист и может быть прерван. И все-таки только на этом пути бытие может обрести для русских новую значимость, после того, как бытие для советских утратило всякий смысл.

Воображению предстают два гипотетических будущих. В одном — Россия сама по себе (или в союзе на добровольной основе с Украиной и Белоруссией), отбросившая тяжкое бремя имперского величия, но связанная с другими народами нынешнего СССР отношениями свободного экономического и культурного сотрудничества и входящая в сообщество европейских государств. Или же Россия как часть Соединенных Штатов Евразии, основанных на свободном союзе нынешних советских народов, дополнительных будущим Соединенным Штатам Европы. В обоих случаях Россия перешла бы к новой фазе своего тождества и подверглась бы глубокому внутреннему преображению, вступив в четвертую фазу своей истории.

Но одно должно быть ясно: для того, чтобы переход России и других народов нынешнего Советского Союза к новой исторической фазе действительно осуществился во всех сферах: национальной, политической, социальной, культурной, — необходимо, чтобы он принял недвусмысленно посткоммунистический характер. И поэтому необходимо, чтобы в России и СССР был четко и конкретно поставлен вопрос об ответственности коммунистической партии и ее идеологии за все материальные и духовные катастрофы послеоктябрьского периода. Необходимо поэтому положить конец гротескной фикции превратить "сталинизм" и Сталина в единственно ответственных за то, в чем исторически надо обвинять марксизм-ленинизм и Ленина, то есть коммунизм. Необходимо реабилитировать понятие и имя демократического либерально-ре-

формистского социализма, коренным образом отличающегося от революционного и тоталитарного коммунизма. Следует не терять времени и не создавать путаницу в головах поисками мифического "третьего пути" между коммунизмом и капитализмом, авторитаризмом и демократией, марксизмом и свободным мышлением. Только в перспективе интеллектуальной, моральной, политической ясности Россия и СССР могут пойти дальше перестройки и вновь стать свободной частью Европы — демократической, социалистической, христианской.

Перевела с итальянского Клара Страда

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ЖИЗНЬ В ЛЕНИНСКОЙ РОССИИ. Сост. и предисл. Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991 (Из Архива Русской Революции).

ЗАРЯ СОВЕТСКОГО ПРАВОСУДИЯ. Сост. и предисл. Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991 (Из Архива Русской Революции).

КАРЕТНИКОВ Николай. Темы с вариациями. М., "Киноцентр", 1990.

Георгий Носков

ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ, ЗРЕЛОСТЬ

Размышления о взаимодействии русской и американской культур

"Can history show us nothing but pieces of ourselves?..."
Adrienne Cecile Rich.
Readings of History, IV.

Рассуждение о взаимодействии современной русской и западной литератур само по себе предрасполагает к сугубо академическому подходу: можно, скажем, уподобиться академику Михаилу Алексееву и более или менее детально исследовать русско-английские литературные связи, начиная с баснословных времен и кончая определенным временем[1]. Подобный подход вполне оправдан в отношении американской литературы, и нам в России, к сожалению, до сих пор не довелось подержать в руках книгу такого рода. Однако в данной статье предметом размышлений является скорее русский контекст в его взаимоотношениях с культурой Соединенных Штатов, и поэтому главенствующим в нашем случае будет принцип синхронического описания, точнее, описание наиболее принципиальной и актуальной проблематики, имеющей отношение к теме "современная Россия, Соединенные Штаты Америки".

I.

В своей знаменитой заметке "Дальнейшее о всемирной литературе", опубликованной посмертно в 1835 году, Иоганн-Вольфганг Гете пишет о неминуемом со-

здании в ближайшее время всемирной литературы, что, между прочим, увязывается немецким поэтом с "увеличивающейся быстротой средств передвижения"2. В высказывании Гете налицо коммуникативный аспект: совершенствование и развитие чисто коммуникационных систем приведет, по логике автора, к созданию своеобразного феномена "всемирной" скорее "всеевропейской" литературы (вряд ли веймарский мыслитель принимал в расчет литературу Нового Света!), подобно тому, как оно приведет к некоему общему европейскому рынку товаров, ценностей, даже денег вплоть до введения общеевропейской валюты. Попытки подобного рода у нас перед глазами достаточно пристальнее взглянуть на динамику европейского процесса и деятельность Европейского экономического сообщества. Открывая самые различные журналы разнообразных государств, мы видим сегодня рекламу одних и тех же товаров, причем даваемую без малейших изменений, будь это реклама французских духов Кристиана Лакруа или новой марки BMW

речь может идти лишь о вариативности языка рекламных текстов, сообщающих одно и то же (отметим также интернациональность рекламной визуальной информации). После очередного вручения "Оскаров" мы можем обнаружить сходные материалы о награжденных как во французском "Пари-матч", так и в испанском "Эль паис", как в итальянском "Эспрессо", так и в германском "Шпигеле". Европейский контекст порой становится унифицирующим: перечисленные двумя строками выше журналы действуют практически синхронно и имеют чрезвычайно похожее полиграфическое исполнение.

Применительно к современной культуре мы вполне можем воспользоваться финансовой метафорой: подобно тому, как Европа и мир в целом заинтересованы в создании конвертируемых валют, они заинтересованы в создании конвертируемых культур, культур, лег-

ко входящих в другие культуры, естественно действующих на, так сказать, чужих территориях. Конвертируемые культуры, собственно говоря, и представляют собой основу европейского процесса: если в Лондоне не воспринимают идеи итальянского дизайна одежды, вряд ли Версаче или Армани найдут спрос на берегах Темзы. На практике, к счастью, дела Армани идут достаточно хорошо как в Новом, так и в Старом Свете, что свидетельствует как раз о конвертируемости итальянской моды. Для того, чтобы те или иные деньги были конвертируемыми, необходимым условием является равномерность качества товаров: японские автомобили не хуже итальянских, американских или французских. Вместе с тем, должно существовать нечто, что выделяет ту или иную национальную продукцию по сравнению с другими, как, например, английскую шерсть, французскую косметику, германские автомобили, итальянские ткани и т.д. Причина очевидна: конвертироваться могут лишь те ценности, в которых есть необходимость. Тут мы подходим к сложной проблеме соотношения национального и транснационального.

С одной стороны, любая культура должна содержать в себе имманентно возможно больший спектр транснациональных возможностей, включая механизмы перевода с одного культурного языка на другой и с учетом реального многообразия культур, с которыми есть интерес взаимодействовать. С другой стороны, культурное взаимодействие возможно, как я уже заметил, лишь на основе интереса, а заинтересовать способно лишь национально-самобытное. В частности, итальянский теоретик говорит, что его отечественный интердизайн возник в результате взаимодействия идей Баухауза и европейского авангарда с местными ремеслами; именно поэтому итальянский дизайн оказался коммуникативно открытым, транснациональным, с одной стороны, и национальным, своеобразным, с другой[3].

В 1856 году известный теоретик славянофильства Константин Аксаков писал: "Разве воззрение народное исключает воззрение общечеловеческое? Напротив.

Ведь мы говорим, например: английская литература, французская литература, германская философия, греческая философия... тогда только и является произведение литературы, или другое какое, вполне общечеловеческим, когда оно в то же время совершенно народно". Аксаков в то же самое время сетует, что "именно этой-то народности, этого-то самобытного воззрения и недостает нашей умственной деятельности; а оттого, что в ней нет народности, нет в ней и общечеловеческого"[4]. Здесь нам недосуг вступать в споры с Аксаковым, и мы отметим лишь ясное понимание им того двойственного характера культуры, о котором речь шла выше. Вопрос стоял так: "Что же существует русского в русской культуре? Позволяет ли это русское претендовать России на внимание со стороны других культур?"

Если вдуматься в историю русской литературы XVIII — XIX веков, сразу же бросается в глаза та неистовость и судорожность, с которой шел поиск национально-самобытного. В своей государственности, искусстве, науке, в принятом среди образованных слоев населения этикете Россия оказывалась слишком многим обязанной Западу, что порождало, на мой взгляд, два комплекса, которые можно назвать отроческими: Россия заискивала перед Западом и подражала ему решительно во всем; и она же, как своенравный подросток, всячески открещивалась от Запада, настаивала на собственной, весьма отличной от западной, линии поведения в культуре, политике, экономике.

Мы без особого труда обнаружим многочисленные примеры отторжения западной культуры, обратимся ли мы к знаменитой критике "щегольства" (как правило, французского) в литературе XVIII века, вспомним ли всем известного грибоедовского "французика из Бордо" в комедии "Горе от ума" или не совсем справедливое суждение Пушкина о гувернере графа М.Бутурлина мистере Слоане в связи с собственным, пушкинским, положением в свете: "...мне наскучило, что в моем отечестве ко мне относятся с меньшим уважением, чем к первому попавшемуся мальчишке англичани-

ну, который является к нам, чтобы среди нас проявить свою тупость, развязность и свое бормотание"[5]. Другой великий поэт, Лермонтов, весьма язвительно описывает иностранцев в "Княгине Лиговской"; это описание весьма близко к описаниям светских раутов у Льва Толстого в "Войне и мире" по, если можно так выразиться, главенствующему настроению. В публицистике Ф.Достоевского, особенно в "Зимних заметках...", Запад с его публикой и его "Хрустальным дворцом" предстает уже почти в карикатурном виде. Даже много позже Александр Блок, в значительной степени, как все символисты, отталкивающийся в своем творчестве от достижений именно западной культуры (и признающий это, равно как признающий огромную роль поездок на Запад для формирования собственного творчества), не может сколько-нибудь четко определить свое отношение к Италии в "Итальянских стихах" (1909). В этом смысле даже самое рафинированное культурное сознание, более того, сознание европеизированного русского человека, как бы мечется между приятием и неприятием Запада, чаще всего впадая в крайности. Сын Иванушка в "Бригадире" (1769) Дениса Фонвизина говорит: "Я не скот, чтобы не последовать тому, что хотя один раз случилося в Париже". Однако на деле это сводится к тому, что Иванушка разгуливает "в дезабилье, кобенясь". На противоположном полюсе мы обнаруживаем злые и агрессивные проклятия Западу, исходящие от таких крупных писателей, как Толстой и Достоевский, хотя, конечно, первый из них вряд ли бы состоялся как писатель без Руссо и Стерна, а второй — без французского романа и Гофмана. В этом смысле толстовка Льва Толстого есть противопоставление себя Западу на бытовом уровне, как, например, экзотические одежды славянофилов.

Говоря о русской и советской культурах, необходимо всякий раз учитывать отроческую психологию этих культур — вот, если подытожить, наш вывод. Этот отроческий характер проявляет себя отнюдь не в одной литературе, но всюду и везде. Например, как по мановению руки члены советского Верховного Совета

надевают черные пиджаки и красные шелковые галстуки, выражая отрочески-наивное стремление походить на парламентариев развитых стран. Однако другая часть советских парламентариев продолжает появляться на трибуне, украшенной кондовым гербом, в рубашках непотребно-коричневого цвета и в отвратительных синтетических галстуках, приобретенных без разбора. Для отроческой психологии вообще характерно стремление быть таким, как все, плюс стремление выделиться; как правило, тут мы не видим еще способности дифференцированно относиться к тому или иному; перед нами сознание агрессивно-неразборчивое, во многом наивное и постоянно выдумывающее себе качества, почти всегда мнимые, благодаря которым это сознание может само себе присвоить первенство. Таким было, на наш взгляд, сознание русской культуры двух предшествующих веков, таким оно остается и по сей день. С одной стороны, Иванушка старательно и наивно воспроизводит то, "что хотя один раз случилося в Париже", практически "кобенясь в дезабилье", с другой стороны, сами современные русские писатели, художники, теоретики всячески настаивают на собственной исключительности, если не богоизбранности, пользуясь, в общем-то, достаточно наивной отроческой аргументацией.

II.

Мир, в котором мы живем, является, вместе с тем, взрослым миром. Обмен культурными ценностями предполагает их подлинность, и поэтому всякий блеф становится лишним. Во всяком случае, все труднее становится всучить гнилой или лежалый товар, а ведь в рамках отроческой блефующей культуры это чуть ли не правило. Любого отрока ждет возмужание. Муж, в отличие от отрока, живет более умом, нежели чувствами, и умом более в социуме, нежели в самолюбивых мечтах. В связи с этим становится понятной страсть открещиваться от "социальности" молодых и не слишком молодых русских писателей и художников: социа-

лизация означает в данном случае обнаружение собственного комплекса неполноценности. Какому подростку приятно узнать, что он глупее и наивнее взрослого человека? Может быть даже, такое осознание означает саморазрушение личности.

Таким образом, современная русская культура находится в чрезвычайно сложном положении: от нее требуют взрослых действий, в которых и правда есть потребность, однако в то же самое время эта культура не может разоблачиться, отказаться от юношеских амбиций, так как это, вероятно, означало бы ее разрушение. Как результат мы наблюдаем почти отчаянные хватания за все подряд, будь это православие, классическая русская литература, изобразительное искусство советских 20-х годов, крестьянские ценности, фольклор и т.д., и т.п. При этом не происходит необходимого соотнесения ценностей, необходимого для вступления на равных правах в европейское сообщество. Мифологизированное, вопиюще неподлинное национальное не перерастает в глобальное транснациональное. Это подобно тому, как в некоторых африканских племенах расплачиваются солью, соль обретает статус денег и даже иногда статус "конвертируемой валюты" при обменах между несколькими племенами. Однако измеряемая граммами соль вовсе не является валютой для европейца или американца.

III.

Приведенные выше замечания, которые у нас не превращены в доказательства по причине отсутствия места и времени, могут быть полезными при рассмотрении вопроса об американском и русском, их взаимоотношениях и конфликтах.

Дело в том, что американская культура, может быть, всего дальше отстоит от русской по своему характеру и устремлениям. Когда русские посетители Соединенных Штатов или американские посетители Советского Союза говорят о сходстве наших народов и

культур, это очевидное заблуждение. На одной фотографии, полученной Робертом Фростом от русского человека, есть надпись: "Как мы похожи!" Послав фотографию березки и прочитав "Березы" Фроста, русский читатель вполне добродушно предположил близость между американским и русским сознанием. Однако в случае, если бы этот читатель более внимательно ознакомился с поэзией Фроста, он с раздражением обнаружил бы нечто совершенно противное "русскому духу", например, индивидуализм и подчеркнутую обособленность, буржуазно-протестантский прагматизм и пуританизм, нерусское лукавство, совершенно обратное русскому представление о свободе. Это столь же чуждо русскому сознанию, сколь ему чужда роль Фроста — корреспондента "Спортс иллюстрейтед", наблюдавшего в 1956 году в Вашингтоне матч всех звезд бейсбола. Попробуем вообразить в этой роли Бориса Пастернака или Марину Цветаеву! Вероятно, прав Малькольм Коули, который писал об отношении Фроста к русскому следующее: "Новые идеи кажутся ему, Фросту, еще хуже, если они приходят из-за границы, и хуже всего, если из России. Он постоянно выступает с нападками на русских всех категорий: русских пессимистов, русских революционеров, русских коллективистов, русских авторов пятилетних планов. Кажется, он хочет их всех объять одной глобальной исторической неприязнью, которая простирается от Достоевского до Днепростроя"[6]. По сути дела, поэзия "противника Рузвельта, республиканца, консервативного янки" (Д.Кокс)[7], не ближе русскому читателю, чем поэзия рафинированных Эзры Паунда, Уоллеса Стивенса или Эдварда Каммингса, равно как более молодых Эшбери или Ретке, Стаффорда или Гинсберга. Влияние же творчества перечисленных поэтов на современную русскую поэзию практически равно нулю.

Вопиющие противоречия между русской и американской культурой начинаются с религии, ибо нет ничего более противоречащего православной версии христианства, чем новоанглийский кальвинизм, уделяющий столь пристальное внимание социальному и соци-

ализации. Слова отца П.Флоренского: "На небе — едина Истина; у нас — множество истин, осколков Истины, неконгруэнтных друг с другом"[8] — плохо соотносятся с реальным плюрализмом религий в Соединенных Штатах и с плюрализмом вообще (вполне в духе Флоренского плюрализм американского общества время от времени подвергается атакам Александра Солженицына).

Рационализм и прагматизм — черты, которые явно присущи в большей степени мужу, чем отроку, и, следовательно, отрок, в соответствии со своей психологией, отвергает их и подражает им одновременно. Поэт и теоретик русского авангардизма Сергей Третьяков писал в 1923 году об идеале "американизированного человека в электрифицированной стране"[9]. В эпоху, когда искусство стремилось обрести формы, способные стать "прообразами технических организмов будущего" (Казимир Малевич)[10], когда Алексей Гастев мечтал о "металлургии Нового Света", об "автомобильных и аэропланных фабриках Америки и Европы"[11], когда Игорь Грабарь с восхищением писал об "исполинских, чудовищных масштабах" "страны небоскребов"[12]). Соединенные Штаты в глазах передовых русских были своеобразным идеалом, страной, где нашли воплощение идеи конструктивности и рационализма. На русской почве эти идеи, тем не менее, в силу инфантильности самой культуры, довольно скоро выродились в политический тоталитаризм. Подмена рационализма элементарным функционализмом сопровождалась аналогичным упрощением и вульгаризацией марксизма. В подобных условиях принцип конструктивности был возведен в абсолют, что в дальнейшем спровоцировало прохладное и зачастую враждебное отношение к тем авторам-американцам, которые были в центре внимания русских писателей-авангардистов 10—20-х годов (Уитмену, Сэндбергу, Эптону Синклеру), ибо они принадлежали Америке, стране прагматизма и конструктивизма. Зато всем памятен всплеск интереса в советской России к американским романтикам,

Эмерсону, Торо, Э.По, позднее к Эмили Диккинсон, который наблюдался в 60—70-х годах.

Американская литература, конечно, присутствовала в советской культуре и в годы, когда не могло быть речи о публикации не только книг Сэлинджера, но и книг куда более "реалистических" писателей. В официальной советской культуре существовало две основных ниши, где располагалась часть американской литературы. Во-первых, это была ниша с произведениями классиков, таких, как Фенимор Купер, Марк Твен, Натаниэль Готорн, и другими, которые ни в коей мере не потрясали основ инфантильного мифа о собственной художественной исключительности. Настольными книгами многих русских людей, чье детство пришлось на 30—50-е годы, были книги о похождениях Тома Сойера и Кожаного Чулка. Из этих книг, естественно, вычитывалось лишь авантюрно-детское содержание, и дело не доходило до того, чтобы, например, анализировать предприимчивость юного янки Тома или рассуждать на тему американской концепции природы, что совершенно необходимо для уяснения смысла романов Фенимора Купера. Во-вторых, существовала особая ниша, где достаточно вольготно чувствовали себя авторы "идеологически близких" книг, такие, как Джо Хилл, Синклер Льюис или, например, Теодор Драйзер (последний удостоился в 1951—1955 годах двенадцатитомного собрания сочинений на русском языке). Вся эта литература читалась в Советском Союзе по причине отсутствия другой и в силу ее комфортности для одержимого манией национального величия сознания.

60-е годы были порой приобщения довольно значительных читательских масс к литературе Соединенных Штатов. Какое-то новое дыхание обрели книги Хемингуэя, оказавшего заметное влияние на литературу тех лет. Опубликованный в 1968 году четырехтомник Хемингуэя и книга И.Кашкина "Эрнест Хемингуэй" (Москва, 1966) весьма способствовали популярности американского автора в России. Почти все прозаики 60-х годов в значительной степени обязаны ему, будь то Юрий Трифонов, Юрий Казаков, Владимир

Маканин, да, собственно, и сугубо "официальный" Юрий Бондарев. В Москве и Ленинграде того времени распространился даже особенный "хемингуэевский" тип поведения. Вольнолюбивый тип в свитере, шутник и пьяница, бродяга и романтик, стал непременным членом кухонных посиделок и литературных вечеров. В этом смысле популярность Хемингуэя может быть сравнима с популярностью Э.Ремарка.

Может быть, с Хемингуэя и начинается широкая популярность американской прозы в советской России, ведь именно за публикациями прозы Хемингуэя последовали публикации заметных книг: Фицджеральда (трехтомник которого вышел в Москве в 1977 году), книги И.Галинской "Философские и эстетические основы поэтики Джерома Дейвида Сэлинджера" (М., 1975), предваряющей небольшой по объему сборничек самого автора (1983), "Избранного" Уильяма Фолкнера (1973), двух сборников рассказов и повестей Трумэна Капоте (1967, 1971), многих журнальных публикаций. Наконец, нельзя обойти молчанием публикацию на русском языке двух романов Джона Дос Пассоса в 1971 году, романа Р.П.Уоррена "Вся королевская рать" в следующем, 1972 году, а также фундаментальной "Литературной истории США" (перевод с английского, 13 тт, 1977—1979). Русская американистика пополнилась такими книгами, как "Американская сатирическая проза XX века" (1972) М.Мендельсона, "Модернизм в литературе США" А.Зверева (1979 в этой книге названы имена Эзры Паунда, Гертруды Стайн, Уоллеса Стивенса, Генри Миллера, Уильяма Карлоса Уильямса, которые, в общем-то, для официальной советской культуры того времени были вне закона), "От Уитмена до Хемингуэя" А.Старцева (1972). Кроме того, были опубликованы сборники работ, посвященных американской литературе, в том числе и новейшей, например, "Основные тенденции развития современной литературы США" (1973), "Проблемы новейшей литературы США" (1981), "Литература США в 70-е годы" (1983) и другие, в которых наряду с чисто идеологической критикой творчества А.Гинсберга и Т.Ретке, американской куль-

туры и американской идеологии, был целый ряд интересных наблюдений.

И все же официальная советская американистика в целом не смогла освободиться от власти мифа об американской литературе (и, если обобщать, культуре). Американская культура сплошь и рядом представала культурой все-таки периферийной, если принимать во внимание Европу, зараженной "массовой культурой", чрезвычайно "прагматической". Среди "пустыни американского общества" якобы возвышались одинокие фигуры Стайрона и Апдайка, Дос Пассоса и Фолкнера, Сэлинджера и Уоррена. Однозначно негативно трактовались как сам пресловутый "прагматизм" и "рационализм" американской культуры, так и ее "популярный", "массовый" характер. Иными словами, не признавалось существование некоего национально-культурного субстрата, питающего всю культуру в целом, и было совершенно неясно, каким образом перечисленные выше писатели смогли появиться на свет в стране со столь огорчающим "общим уровнем культуры".

Между тем, при самом поверхностном взгляде становится очевидным, что миф о "бедности" американского культурного контекста не более чем миф, равно как миф о "периферийности" американской литературы. В этой связи понятно то пренебрежение к американской поэзии, которое, несмотря на все многочисленные и часто талантливые переводы, так ощутимо не только в России, но и в Западной Европе в кругах писателей и интеллектуалов. Внимательное и беспристрастное прочтение американской поэзии XX века убедило бы в том, что эта поэзия по своим эстетическим и метафизическим качествам не только не уступает, но во многом и превосходит поэзию большинства европейских стран. В самом деле, почти любой итальянский интеллектуал хорошо знаком с творчеством Рене Шара или Мишо, совершенно не зная (либо зная до смешного примитивно) творчество Уоллеса Стивенса или Теодора Ретке. Что касается русской поэзии, ее наивность еще более удручающая: здесь мы видим, как правило, доморощенность в чистом виде. Если поэзия европей-

ских стран в большинстве случаев пренебрегает (вослед Гете) поэзией Нового Света и упивается европейским интеллектуализмом, творя, таким образом, очередной миф, не способствующий собственной конвертируемости, русская поэзия упивается собственными святынями, которые на поверку оказываются плодами отроческой мифологизации. Идея величия русской поэзии имеет под собой слишком зыбкую почву, потому что в качестве эталонного здесь выдвигается творчество поэтов так называемого "серебряного века". Вместе с тем, отношение Анны Ахматовой или Марины Цветаевой к тем или иным метафизическим проблемам, равно как к проблемам чисто техническим, отличает, увы, наивность, сказывающаяся в отрезанности этой поэзии от внешнего мира (никаких следов вдумчивого прочтения европейской и американской литературы в стихах Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама и др. обнаружить не удается, если иметь в виду литературу, современную им), ее следовании вполне определенному национально-замкнутому стихотворческому канону и не менее замкнутым национальным стереотипам. Нет слов, мы не должны навязывать литературе прошлого наших представлений, однако и литература прошлого не должна навязывать нам свои правила игры. На деле современные русские поэты не только используют ритмику и метрику традиционного русского стихосложения, они к тому же чаще всего мыслят теми же категориями, какими мыслили поэты 10—30-х годов. "Не в метрике же дело! — можно возразить на это. — От того, что поэт переходит к верлибру, сменив им ямб, мало что меняется: мы можем вновь увидеть перед собой весьма традиционных воззрений поэта, по каким-то причинам (может быть, из простого упрямства!) предпочитающего писать верлибром, а не ямбом". Совершенно справедливое это замечание нуждается, тем не менее, в разъяснении. Дело в том, что явленная нам в современной культуре тенденция конвертируемости охватывает не только сущности, но также и все многообразие форм сущностей. Если выразиться попроще, сама по себе любая форма должна обладать способностью проецироваться, воплощать-

ся в иные формы, и репертуар подобных воплощений должен быть возможно более широким. Если конвертируемость ментальностей предполагает способность каждой из них соотноситься с другой, конвертируемость форм предполагает то же самое: даже такие вещи, как ритмика и метрика, если следовать этой логике, должны, сохраняя национальную своеобразность, быть транснациональными, конвертируемыми, обращаемыми, проецирующимися в другие системы ритмики и метрики. Однако на практике национальная своеобразность ритмики и метрики вполне обеспечивается национальным своеобразием языков — очевидно, что ритмика и метрика стихотворной речи во многом формируются особенностями самих национальных языков, а не только тем или иным литературным этикетом.

Национальные языки во многом и творят национальное своеобразие метрики и ритмики в поэзии. Что же касается традиционного стиля русской поэзии, достаточно сомнительно, чтобы он как-то соотносился со стилем поэзии французской или американской: в современных русских стихах, если судить по их облику, нет ничего от стихов не только Мишо, но и Аполлинера, не только Гинсберга, но и Эмили Диккинсон. В современной России вообще мало читают иностранные стихи, главным образом потому, что традиции западной и русской поэзии слишком разнятся. Беды в "инаковости", вообще говоря, нет, однако примечателен тот факт, что французская и итальянская, скажем, поэзии перекликаются и взаимодействуют достаточно активно, проецируют себя друг в друга, а значит, конвертируются по отношению друг к другу. В то же самое время американские поэты XX века выгодно отличаются от своих западноевропейских коллег тем, что они в большинстве своем усвоили и переработали западноевропейские ценности, в то время как европейцы в большинстве своем не переработали ценностей американских. Именно поэтому поэзия Элиота и Эзры Паунда способна конвертироваться в пределах чуть ли не всей мировой поэзии, в то время как поэзия Сангвинетти способна конвертироваться скорее в пределах роман-

ского мира Европы. Справедливости ради отметим, что в 80-х годах в тех же Италии и Франции неприятие "грубой" и "периферийной" американской культуры постепенно вытеснялось заинтересованностью, вдумчивостью и вниманием. Кроме того, не следует забывать, что в иных зонах культуры (дизайн, политическая, торговая культура, кинематограф, наука и т.д.) противостояние Европы Соединенным Штатам вовсе не напоминало почти жесткого противостояния европейской поэзии поэзии американской — напротив, наблюдалось желание взаимодействия. Собственно говоря, исследования в странах Европы, посвященные американской массовой культуре, американскому прагматизму и т.д., уже подготовили почву для примирения Америки и Европы (что и происходило в кинофильмах Ж. Л.Годара, А.Рене, Л.Вертмюллер, Вима Вендерса и многих других). Таким образом, мы можем ожидать в будущем повышение конвертируемости европейских национальных поэтических традиций — они, вероятнее всего, будут активнее втягиваться в общий культурный контекст, для которого характерна тенденция интеграции. В России, напротив, мы видим плачевное состояние культуры, не только съевшей саму себя в результате полувековой изоляции от внешнего мира, но в полной мере разучившейся соотноситься, общаться с другими культурами. Нарушена сама способность к коммуникации на уровне экономики, политики, поэзии, дизайна, идеологии, морали и т.д., и т.п.

IV.

В то время как американская культура, третировавшаяся долгое время как "провинциальная", сумела исподволь включиться в мировой культурный процесс, успев пройти солидную европейскую (и не только европейскую, учитывая многонациональный ее характер) выучку, культура русская оказалась в периоде юности. Цель юноши уже не противопоставить себя взрослому миру и не копировать его, но избрать некий органичный путь. Для нового этапа, этапа юности, уже недо-

статочно строить самолюбивый отроческий миф о собственной исключительности, перелицовывая для этой цели на свой лад историю, политику, экономику и проч. Если отрок не хочет учиться, не хочет садиться за парту, идти в школу, юноша понимает необходимость этого, так как без обучения он не сможет усвоить принятые в обществе способы общения, обучиться его языкам, ценностям, ритуалам. Юноша уже понимает, что он не пуп земли, что необходимо социализироваться. С этой точки зрения, на мой взгляд, мы в России являемся свидетелями борения юношеского и отроческого сознаний в культуре. У нас значительное число минусов, но есть несколько плюсов.

Говоря о плюсах, я имею в виду прежде всего активное влияние массовой культуры, прежде всего транснациональной, свободно конвертирующейся американской, которая дает установку на прагматизм, социальность, плюрализм и гедонизм (последний, по мнению Д.Белла, является неотъемлемым качеством всякой развитой культуры). Социальность, впрочем, уже существует в качестве культурной установки, что обусловлено неразрешенностью в современной России многих социальных и политических проблем. Сегодняшнее зло, "социальность", подавляющая эстетическое творчество как таковое и заменяющая его более или менее удачной публицистикой, может в принципе содействовать инициации отроческого культурного сознания в том случае, если произойдет перенос внимания с политического на социальное. При этом не следует забывать двух обстоятельств. Что касается России, здесь политическое практически всегда отождествлялось с социальным, являясь, по сути дела, лишь частью социального. Социальное по своей природе столь обширно, что оно почти сливается с природным, если иметь в виду реальную жизнь людей, потому что социальное ведает всем многообразием отношений между людьми в социуме, функционированием всех социальных структур, хранением и передачей всех видов культурной информации и т.д. Конечно, ведает наряду с природным, взаимодействуя и переплетаясь с природ-

ным. В конечном счете осознание сложности социального есть необходимость для всякой развитой, взрослой культуры. Во-вторых, политическая жизнь и политическая культура России никогда не отличалась особенной развитостью, что и привело в конечном счете наряду с другими факторами к уплощенно-наивным представлениям о социальном.

При серьезном отношении к социальному возникает осознание необходимости плюрализма, что, скажем, в литературе означает признание равноправных жанров, видов творчества, стилей и т.д. (их равноправие и развитость, собственно, и означает развитость и взрослость культуры). Если говорить о современной русской литературе, мы обнаруживаем признание плюрализма современной культуры в творчестве поэтов так называемого "московского концептуализма" (Дмитрий Пригов, Лев Рубинштейн, Всеволод Некрасов), хотя в данном случае речь может идти скорее о признании наличия этого плюрализма, а не о примирении с ним. Американская массовая культура, безусловно, воздействовала на творчество этих поэтов, активно использующих в своих текстах клише, социальные символы, популярные образы, еще и тем, что она содержала и содержит в себе мощный заряд развлекательности, забавности и, следовательно, гедонизма. Московские концептуалисты, как некоторые другие современные русские писатели, стремятся сделать текст своих произведений забавным, развлекающим, выступая, как правило, в маске "имидж-мейкера" или Джокера. В стране неразрешенных политических, экономических, идеологических вопросов русский Джокер, правда, почти всегда истеричен, как герои Достоевского, однако сама установка развеселить, характерная для многих современных произведений, внушает надежду. Лучшие русские писатели, такие, как Андрей Битов (кстати сказать, автор одного по жанру занимательного, но вместе с тем не слишком удачного, на мой взгляд, "свободного перевода с английского"), Евгений Попов, недавно скончавшийся Венедикт Ерофеев, Саша Соколов, Виктор Ерофеев стремятся создавать произведения, рассчитанные

не только на терпеливого "высоколобого" читателя, но и на массового. Чрезвычайно характерен, скажем, третий роман русского писателя, живущего в Соединенных Штатах, Саши Соколова, "Палисандрия". После "диалектного", чисто "русского" романа "Между собакой и волком" писатель обращается к авантюрно-приключенческому забавному роману, задуманному как бестселлер, преодолевая собственную манеру лирического прозаика. Евгений Попов создает своеобразные рассказы-комиксы из русской жизни. Виктор Ерофеев, наиболее, пожалуй, "конвертируемый" из русских прозаиков, широко использует в своем романе "Русская красавица" стилистику комиксов (которую он изучал в качестве ученого-литературоведа и культуролога), бульварного романа, анекдота и т.д., добиваясь парадоксального сочетания ужасного и забавного, скрещивая экзистенциальное с анекдотичным. Все названные авторы достаточно регулярно обращаются к использованию китча.

Другим мощным стимулятором "американизации" русской культуры явилось изобразительное искусство, достаточно рано обратившееся к анекдотизации тоталитарного социума и тоталитарного сознания и усвоившее уроки не только европейского авангарда, но, конечно, также американского поп-арта и концептуализма.

Наконец, сближение двух культур происходило в недрах стремительно легализующейся в наши дни субкультуры и рок-культуры.

В одном из недавних интервью автор удостоенной "Оскара" ленты "Новый кинотеатр "Парадизо"" Торнаторе заметил, что, когда он смотрит фильмы Спилберга, для него очевидно, что Спилберг смотрел фильмы Годара и Бергмана, однако когда он смотрит фильмы большинства европейских режиссеров, для него очевидно, что они не смотрели Спилберга, хотя смотрели Бергмана и Годара. По сути дела, Торнаторе призывает европейских кинематографистов к большей открытости, конвертируемости; культурное противостояние Европы и Соединенных Штатов его не устраивает. Лидер

"Памяти" Д.Васильев говорит, что Америка "в культуре — ноль", хотя Америка создает хорошие машины и механизмы. Утверждение Васильева, при всей его анекдотичности и при всем его невежестве, отражает отношение к культуре Соединенных Штатов множества русских, причем не только невежественных. Вместе с тем, тут русская культура вводится в заблуждение: уже в период Эмерсона и Торо культура Бостона мало чем уступала культуре Москвы, если иметь в виду не количество действующих в ней интеллектуалов, но их качество. Сегодня же подобные заявления слышать странно вдвойне.

Миф о "бездуховности" Америки — старый, но на редкость живучий миф, который в значительной степени мешает выходу европейского искусства из того кризиса, в котором оно оказалось. В России, годами оторванной от цивилизации Запада, этот миф не только нежелателен, он еще и опасен. Три основных ошибки может совершить русская культура сегодня: она может стремиться к возврату в прошлое, к культуре дореволюционного времени, чтобы обрести в прошлом равновесие; она может упорно настаивать, как упрямый подросток, на собственном пути; она может все оставить, как есть, ничего не меняя. Два последних варианта представляются маловероятными, но первый представляется по-настоящему опасным. Звучащие сегодня в советской прессе, с экрана телевизора призывы вернуться к попранной духовности и гуманности опасны иллюзорностью: мы живем в совершенно другом мире, почти совершенно не похожем на тот мир, в котором жили Пушкин и Достоевский, Платонов и Булгаков, и, если мы хотим быть разумными, должны считаться с тем, что является в этом мире реальностью. Возвращение к "традиционным общечеловеческим ценностям" вряд ли возможно в этом мире, поскольку эти ценности претерпели основательную критику, результаты которой еще предстоит осознать. В новых условиях Соединенные Штаты находятся в выигрышной позиции потому, что их культура обладает, может быть, самой значительной энергией конвертиру-

емости. Можно только надеяться, что от наивно-отроческого мифотворчества Россия вместе с Европой обратится к усвоению и переработке американских ценностей, без чего вряд ли сегодня возможно обретение собственного "самобытного воззрения".

ПРИМЕЧАНИЯ

1 См.: Русско-английские литературные связи. — "Литературное наследство", т.91, М., "Наука", 1982.

2 И. В.Гете. Собрание сочинений в десяти томах, т.10. М., "Художественная литература", 1980, с.415.

3 См. статью Э.Манцини в каталоге "Италия 2000", Москва, 1988.

4 К.Аксаков. О русском воззрении. — К.С.Аксаков, И.С.Аксаков. Литературная критика. М., "Современник", 1982, с.197.

5 А.Пушкин; подлинник по-французски. Цит. по кн. "Русско-английские литературные связи", с.583.

6 Robert Frost. A Collection of critical essays, .Y., 1962, p.40.

7 Idem, p.5.

8 П.Флоренский. Столп и утверждение истины. Москва, "Путь", 1914, с.160.

9 "ЛЕФ", 2, 1923, с.77.

10 Казимир Малевич. Супрематизм. Витебск, "Уновис", 1920, с.2.

11 "Пролетарская культура", 1919, 910, с.36.

12 "Красная нива", 33, 1924.

ОТ РЕДАКЦИИ. Концепция, что и говорить, весьма стройная и преподносится читателю, прямо скажем, не без блеска. Но, к сожалению, она явно противоре-

чит элементарным фактам нашей отечественной литературы, никогда (за редким исключением) на протяжении своей истории не заявлявшей о собственном превосходстве над культурой западной и, в частности, американской. Скорее наоборот: ее искания отмечены комплексом неполноценности по отношению к чужеземным образцам. Вспомните преклонение Пушкина и Лермонтова перед Байроном, обожание Жуковским и его современниками Гете, Достоевского, мечтавшего писать, как Жорж Занд (!?), восторги русских футуристов в адрес Маринетти. Мы уже не говорим о влиянии (да и автор не проходит мимо этого) Сэлинджера, Хемингуэя, Фолкнера на наших "шестидесятников". Автор отмечает также и прямую "конвертируемость" нынешнего андерграунда с западным авангардом.

Иностранной книге во все времена в России отдавалось предпочтение перед отечественной. Эта традиция сохраняется до наших дней. На Западе же, и в особенности в США, все обстоит наоборот: двадцать-тридцать тысяч проданных экземпляров (разумеется, не без редких исключений!) переводной книги считается для автора большим успехом. И это в стране, где тиражи достигают десятка-полутора миллионов! Большинство западных и в первую очередь американских читателей зарубежная литература просто не интересует. По невежеству в этой области даже американские интеллектуалы прочно занимают сегодня первое место в мире.

И так ли уж провинциальна русская культура, если она поделилась с Западом в живописи и скульптуре Кандинским, Малевичем, Шагалом, Липшицем, Гончаровой, Ларионовым; в музыке Мусоргским, Рахманиновым, Стравинским, Прокофьевым, Шостаковичем (исполнителям же просто несть числа от Шаляпина с Нижинским и Горовица с Артуром Рубинштейном до Ростроповича с Барышниковым и Нуреева с Гавриловым); в литературе — Набоковым, Солженицыным, Бродским. Не кажется ли автору противоречащим его концепции факт выдвижения последнего на Нобелевскую премию по литературе как представителя США:

видимо, все же в этой стране с ее якобы универсальной поэзией не нашлось кандидата более достойного?

И уж совсем наивным представляются нам ссылки на образы иностранцев в русской литературе: к сожалению, расхожая ходульность в их изображении — грех всех существующих в мире литератур. Стоит лишь познакомиться с образчиками русских персонажей в любой из них, чтобы убедиться в этом.

Нам близка мысль автора о массовой культуре как необходимом компоненте в духовном контексте общества, но только до тех пор, пока она, эта культура, не выходит за собственные границы, принимаясь колонизировать культуру вообще, что и происходит сегодня на Западе. Если автор внимательно вглядится в происходящий сейчас здесь процесс, то несомненно придет к выводу, что за поколением уходящих могикан — Сэлинджера, Апдайка, Стайрона, Миллера, Воннегута, Гинсберга (правда, известного, на наш взгляд, скорее своими политическими эскападами, нежели сколько-нибудь значительными открытиями в поэзии), образовалась зияющая пустота, в которую, словно в "черную дыру", устремляется все, что имеет отношение к подлинной культуре. Кстати сказать, того же Спилберга не хотят "прочесть" не европейцы, а прежде всего его американские коллеги, упорно не желающие признать за ним права на существование в профессиональном кино

Самоуничижение в культуре — качество обновляющее, благодетельное, пока оно не переходит в разрушительный мазохизм провинциального толка: импортное — значит, отличное.

Призывая отечественную культуру избавиться от провинциальных мифов, автор, к сожалению, предлагает нам взамен другие мифы. Еще более провинциальные.

Сабит Мадалиев

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ МАНКУРТИЗМ

"Национальность и человечество — одно". "Реальность всечеловечества зависит от реальности России и других национальностей".
Николай Бердяев

"Люди! Утопим вражду в солнечном свете!"
Велимир Хлебников

Не ошибусь, если скажу, что самое сильное чувство, которое испытывают люди в последние годы в нашей стране, — это чувство потрясения от всего происходящего. Окрашенный трагическими тонами спектр потрясений самый разнообразный — от привычного выстаивания в очередях до потрясений социальных и политических. Чувство потрясения сопровождало меня в Фергане, где, по воле судьбы, оказался я печальным очевидцем трагических событий. И еще более страшное потрясение пережил я от недавней кровавой резни в Киргизии.

Больше всего потрясен был не улицами, вход в которые перекрывали поваленные деревья, чтобы не прорвались конники, потрясен был самим видом людей, охваченных паникой и страхом. Это мне кажется, убеждал я себя, этого не может быть, чтобы люди казались меньше ростом. Мужчины не говорили, они истерически кричали. И это было по-настоящему страшно.

И прошло уже достаточно времени после кровавых дней, а память все возвращает и возвращает к страшным событиям июня. Неужели, думаю я, и в этот

раз не найдут истинных виновников? Да испепелит этих дьяволов во плоти дух невинно погибших людей!

Уже вернувшись в Москву, позвонил я в Ош, где у родных проводили лето мои дети, и вновь испытал потрясение. Шестилетний мой сын на вопрос, чем он занимается, серьезно ответил, что делает, как и все дети, рогатку, чтобы с плохими людьми воевать.

—Разве ты не знаешь, — сказал он мне с укоризной, — что у нас война идет?

И мне стало так плохо и такое я испытал бессилие, какого никогда прежде не испытывал. Было такое чувство, будто я виноват в случившемся, будто я не сберег ребенка от восприятия безжалостной действительности.

Разгулялась стихия народная, глаза уже застланы кровью, того и гляди — пойдет брат на брата войной, порушит все, что веками хранилось. Дух ожесточения и озлобленности над людьми витает, разъедает их души, как ржа разъедает железо, и уже не печаль в глазах, а свинцовая тяжесть ненависти и проклятия за прошлые невзгоды и унижения.

И каждый норовит учителем быть, а учиться не хочет, кричать научился, и хватит, толпа — она дура, она подхватит, она поддержит. Потому и жить тяжело, что кругом одни учителя пошли, оскудевшие духом.

И будь ты хоть семи пядей во лбу, не переговоришь их, не переубедишь. Когда всеобщая нищета царит в нашем доме, когда оскорбленное чувство собственного достоинства народов бросает их из крайности в крайность — только бы побыстрей обособиться, успеть собрать по крохам остатки былого величия нации, — любое препятствие к единению расценивается распаленными людьми как попытка вернуть их к прежней жизни.

Сегодня наше понимание мироздания сузилось до размеров одной человеческой жизни, и распадаются, разваливаются, разрываются связи, соединявшие нас со всей вселенной, с вечной идеей бессмертия души человеческой; пусть уже почти до конца разрушен вы-

сший человеческий мотив — милосердие ко всему живому на земле, и становится старомодным желание делать добро другим, — ужасно хочется верить, что все это временно, все это, наконец, мимолетно. Там, где рушится, там и строится. И это непреложный закон жизни.

Все же прав был П.Я.Чаадаев, отмечавший, что "народы — в такой же мере существа нравственные, как и отдельные личности. Их воспитывают века, как отдельных людей воспитывают годы. Но мы, можно сказать, некоторым образом народ исключительный. Мы принадлежим к числу тех наций, которые как бы не входят в состав человечества, а существуют лишь для того, чтобы дать миру какой-нибудь важный урок. Наставление, которое мы призваны преподать, конечно, не будет потеряно; но кто может сказать, когда мы обретем себя среди человечества и сколько бед суждено нам испытать, прежде чем исполнится наше предназначение?" (П.Я.Чаадаев. Статьи и письма. М., "Современник", 1989, с.44).

Так хочется верить, что все, какие только возможны, уроки мы уже продемонстрировали миру, и осталась самая малость — самим научиться жить по-людски. С государственной исключительностью, с государственным национализмом, заставившим людей влачить нищенское существование в занавешенной лозунгами скорлупе социализма, кажется, сегодня покончено. Появилась другая опасность: как бы не был узаконен национализм в рамках суверенных республик. И вновь я прошу: Господи, не оглуши наши уши, не ослепи наших глаз.

К счастью, заканчивается эра унификации, которая все же успела частью уничтожить, а частью заглушить, затруднить свободное развитие и применение национальных языков в стране. Но эта эра нанесла колоссальный вред прогрессу в поистине великой стране. И тот, кто суверенность своей республики понимает как обнесение границ колючей проволокой, тот загоняет себя в новую скорлупу под национальными флагами.

Национализм в 1848 году был погребен как "пережиток" — и это было, пожалуй, одной из самых серьезных ошибок и заблуждений марксизма, поторопившегося похоронить его вместе с капитализмом.

***

В Оше, в одной из школ, я оказался свидетелем импровизированного митинга учителей разных национальностей. Голоса их я записал на диктофон. Лента сохранила все: обрывки фраз, отчаянные выкрики и даже чье-то всхлипывание. Включаю и вновь слышу:

— Казалось бы, в нашем небольшом городе пединститут должен быть очагом культуры, а выходит, наоборот, он превратился в главный рассадник национализма, — выпаливает мужской голос. — Почитайте местные газеты, и вы в этом сами убедитесь.

— Помните, девочки, — вступает в разговор молодая учительница, — в дни, когда обсуждался проект программы государственного языка, были нескончаемые митинги. И я запомнила — киргизские студенты шли по улицам с лозунгом: "Да здравствует великий могучий киргизский язык".

Смех в зале. Голос: "Тургенев, между прочим, был киргизом по национальности".

— Уезжают в Россию педагоги, — прорывается тихий печальный голос пожилой учительницы. Она мне запомнилась. Сидела у стены со скорбным лицом, безвольно сложив на коленях руки. — Только из одной школы Кирова 11 преподавателей уехало. Прихожу домой и плачу — лучшие специалисты уезжают. Как же дети учиться будут? В чем их вина?

— А я никуда не уеду, — словно вызов, бросает другая женщина, вскакивая. — Не приживусь нигде. Я в Куйбышеве через неделю начинаю скучать по родным лицам: узбекам, киргизам. Пройдет время — успокоятся люди. Вот увидите.

— Я сорок лет преподаю математику в школе, — продолжает пожилая учительница, — всю жизнь прожила здесь, но, на мой взгляд, введение государственного языка было сделано скоропалительно. В 60-е годы была уже такая кампания, когда повально вводилось изучение киргизского языка, потом крен пошел в другую сторону — началось засилие русского языка. Стыдно не знать язык, раз мы здесь живем, но штурмовщиной любить его не заставишь, а только людей оттолкнешь от него. Мое убеждение — язык надо изучать в детских садах, чтобы дети несли его в семьи, и тогда изучение и отношение к нему будет доброжелательным, любовным. Людей не надо будет заставлять.

— Русские тут ни при чем, — рубит сплеча голос с акцентом. — Многие киргизы сами на себя разозлились за то, что языка родного не знают, потому и пошли по пути перегибов. Одним махом хотят сделать то, чем надобно было заниматься все время. Вот только много ли наизучают теперь, если книги киргизских писателей пылятся на полках? Этих же писателей предпочитают читать на русском языке.

Пропускаю обрывки фраз и вновь слышу голос пожилой учительницы:

— То, что я видела своими глазами, произвело на меня настолько тягостное впечатление, что я даже не представляю, как буду глядеть в глаза детей — киргизов, узбеков, — они же вместе учатся, в одной школе. Я не смогу их обмануть.

— А меня стали мучить кошмары, — произносит женщина, сидевшая со мной рядом, — все время вижу во сне скачущих конников с перекошенными ртами. У меня уже психоз начался, да, самый настоящий психоз: так и тянет прятать куда-нибудь подальше детей. Я уже боюсь отпускать их на улицу.

— Я только по книгам и кино представлял себе фашизм, — наливается дрожью голос молодого учителя, — теперь я знаю его и по жизни: у меня на глазах изнасиловали женщину, и я ничего не мог сделать...

— Звери сначала убивают, потом поедают свою жертву. Здесь сначала мучили, истязали, а потом добивали чем попало, — выкрикивают у меня за спиной.

— Руководителей области в ЦК избрали — это ли не издевательство над здравым смыслом, — взрывается мужской голос.

И вновь в разговор вступает пожилая учительница.

— Женщины-узбечки шли к обкому чистые, в белых платках, спокойные, организованные, в руках знамена несли. Это потом кричали они и плакали, а на них милицию напустили с автоматами наперевес... Я считала Киргизию тихой республикой. После Ферганы муж говорил: "Никогда киргизы не поднимутся, это самые спокойные люди, у них нет жестокости".

— Зато я помню митинг, — не может сдержать волнения молодой женский голос, — на который киргизские студенты шли с лозунгами, и среди прочих был и такой: "Русские, не уезжайте, вы будете у нас рабами". И тогда, как и во время июньских событий, на головах у них были красные повязки, наверно, подчеркивающие знак их воинственности.

На некоторое время я вновь перенесся в Ош, в те горячие дни, видел раненых, истерзанных людей, вновь говорил с заплаканными женщинами. Голоса на магнитофонной пленке стали похожими на один голос, и он раздавался совсем рядом.

— На домах узбеки писали: "Солдаты, миленькие, защитите нас". Это было в самые первые дни, когда все говорили, что киргизская милиция стреляет в невинных людей.

— Вы знаете, боль не только физическая, а и душевная. Как перенести такое жестокое оскорбление и унижение детей, стариков, женщин... Как это забыть?

— В количестве убитых забыли добавить цифру "ноль".

— На второй день войны, — женский голос именно так и сказал, — мы не могли купить хлеб. Нет, он был, но нам его не продавали.

— Почему киргиз, приехавший в Ош полгода назад, имеет все привилегии, как представитель коренного населения, а я, прожившая здесь всю свою жизнь, и родители всю жизнь здесь прожили,я отношусь к местному населению? Я с узбеками и киргизами строила этот город и не заработала куска хлеба себе?

— До войны, еще лет десять тому назад, отношения между людьми были мягкими, уважительными, а сейчас все боятся друг друга.

— Киргизы сами себе хуже сделали. Это как раз тот самый случай, когда лучше быть побежденным, чем победителем.

— Кто-то из великих говорил: "Чтобы развалить страну, надо поднять национальный вопрос".

А ведь действительно точно сказано: чтобы развалить страну, надо поднять национальный вопрос. Униженный предыдущим ходом истории народ цепляется за любую спасительную палочку. Вот и теперь, кинулся в мутный омут национализма, чтобы найти потерянное.

— Раньше люди любили эту страну, а сейчас и этой любви не осталось. Жить стало страшно. Ну хорошо, уеду я в Россию, кому от этого будет лучше? И станут ли после этого, после всего случившегося, киргизы киргизами?

Я вздрогнул. Этот вопрос имеет отношение ко всем, подумал я, к узбекам, таджикам, эстонцам, молдаванам...

— Да что вы заладили, — перекрыл хор голосов мужской голос, — киргизы, киргизы. Нельзя сваливать вину за случившееся на весь народ. Айтматов, между прочим, тоже киргиз, и он в дни трагедии был здесь...

— Но почему тогда за несколько дней до событий, — вновь слышу взволнованный голос, — Ош и Узген покинули именно киргизы — от мала до велика, знали о готовящейся резне и все же ушли, оставив мирных жителей на растерзание своих волков?

— И все равно, — узнаю голос пожилой учительницы, — нельзя хулить весь народ. Если так подходить, то во всей стране нет ни одного хорошего народа, за долгую историю каждого случались времена, когда свои же сыны бросали на него пятно позора. У узбеков есть хорошая поговорка, смысл которой в том, что собственный нос не отрежешь, обвиняя его за содержимое. Так и у народов. А что касается киргизов, то были и среди них такие, которые предупреждали о готовящейся акции. Страшно другое — об этом знали партийные руководители, те самые, которых в ЦК выбрали, одни — больше, другие — меньше, и ничего не предприняли, чтобы предотвратить трагедию. Даже войска были введены в Узген только через сутки после начала кровопролития, когда количество погибших исчислялось уже сотнями.

— Сколько крови пролилось в последние годы в стране, и ни одно событие, насколько мне известно, КГБ не предотвратило, — все больше распаляясь, громыхал мужской бас. — За что же тогда они деньги получают, если не владеют ситуацией в стране?

— Они похожи на пожарников — чаще всего прилетают после того, когда уже и тушить нечего, — был голос сзади.

Наступила долгая пауза. Люди выговорились. Устали. И когда я уже собирался выключать диктофон, печально-пронзительный голос уставшей от напряжения и страха женщины прозвучал с горьким выдохом:

— Детей мне жалко. Не приведи Господи, думаю я, унесут с собой искры ненависти и ослепления — друг от друга навек отвернутся народы...

— А ты не уезжай, — был неуверенный голос, и люди стали медленно расходиться, не глядя и не прощаясь друг с другом.

***

Партийный аппарат в недавнем прошлом не различался по принципу национальной принадлежности.

Принадлежность к аппарату — была для него единственным богом и единственной национальной приметой. И людей он различал не по национальному признаку. Бюрократ мог быть националистом только лишь самой системы, породившей его. Но, не будучи националистом, аппаратчик, для того чтобы удержаться наверху, научился сегодня заигрывать с массами не хуже иных экстремистов. Руководители, воспитанные тоталитарной системой, не в состоянии угнаться за развитием национального самосознания наций. Для этого им надо бы к людям спуститься, а привычки к тому нет — руководить сверху все же сподручнее. Немудрено в таких случаях, что порой аппаратчики настолько не владеют ситуацией, что невольно сами становятся провоцирующим органом. Как это случилось в Киргизии, когда руководство области всячески поддерживало открыто националистическую организацию "Ош аймагы", когда решением местного Совета была выделена земля только представителям киргизского населения, когда для увеличения процентного соотношения районы, на многие десятки километров удаленные от города, были присоединены к нему, а густонаселенные городские улицы, где проживают узбеки, отошли к району...

Знающие люди в Оше мне говорили, что в республике во все эшелоны власти глубоко проникла семейная клановость, при которой руководителям, пробившимся наверх, практически не грозит никакая опасность даже при самых сильных потрясениях — социальных, политических, экономических. Клан заступится, клан поддержит. Сама возможность появления наверху независимых руководителей практически исключена. В Ошскую область начальники сбрасываются как временный десант. Это и понятно: большинство руководителей — выходцы из северных киргизов. Ошская область в этом смысле всегда служила трамплином для дальнейшего роста первых секретарей. А взять демократические преобразования — и здесь область оказалась не подготовленной к новым веяниям.

Вообще надо признаться, что для народов Средней Азии скачок из феодального строя в тоталитарную си-

стему оказался просто губительным: угнетенные народы, словно наивные дети, жадно впитывали в себя все хорошее и все плохое. И они быстрее, чем другие народы, приспособились к ее падениям и взлетам. В руководстве верховодили послушные центру марионеточные правительства, которым на свой народ было абсолютно наплевать, главное — вовремя угодить центру. И хвалить они научились старшего брата очень скоро...

Сегодня не всеобщая нищета внушает мне страх, не хлебом единым жив человек, пугает духовно раздавленное состояние человека в нашей стране. Лишений и невзгод, через которые прошли советские люди только за семьдесят лет, иным народам хватило бы с лихвой на тысячелетия. А мы выжили. Целые регионы страны превратились в различного рода резервации, где люди занимаются одним рабским трудом, низкооплачиваемым и неинтересным. Антропологические измерения, проведенные учеными в хлопкосеющих республиках, дали страшные результаты: за несколько последних десятилетий произошло уменьшение черепа человека вследствие его угнетенного состояния... Страшнее насилие над человеком, наверно, и представить трудно.

Так называемый советский нигилизм — это нигилизм, основанный на равнодушии. Это нигилизм, за которым разверзается зияющая темнота бездны. Нигилизм как состояние души проявляется не столько в отсутствии веры в будущее, сколько в хаосе низменных инстинктов и страстей, что сегодня мы и наблюдаем.

Костюмированный бал страстей в самом разгаре. И даже унаследованная в тысячелетиях, но все еще не утоленная религиозная жажда не может остановить шабаша чертей, подливающих масла в огонь. И там, где могло бы обойтись без крови, первыми показывают они примеры изощренного изуверства и вандализма, распаляют в человеке самые низменные, самые темные страсти, а добившись своего, исчезают, испаряются, чтобы разыграть кровавую драму в другом месте. А люди, что люди? И сами потом никак не поймут, как это оказались они соучастниками необузданного, дико-

го хоровода. Но уж так устроен человек, что не может долго находиться в постоянном, изнуряющем душу и тело напряжении. Он устает от него. И тогда найдет на него прозрение, и он выберется из тупика, или же еще больше затуманятся его глаза, окутается дурманом сердце, и полная апатия приблизит его конец...

Ни литература, показывающая самые уродливые и самые темные стороны жизни человека, ни литература, старающаяся увидеть в нем доброе и светлое, ни, наконец, религия не в состоянии воздействовать на его сознание. Это первый признак упадка и кризиса нации, когда поэты воспринимаются как бездельники, когда духовные ценности отодвигаются на второй план, а вперед выдвигается единственное желание уцелеть, уцелеть во что бы то ни стало, хотя бы и за счет ближнего. Национализм в чистом его виде играет здесь не последнюю роль (если не главную), ибо он все время подчеркивает, что тебе плохо, одному тебе плохо, хуже, чем всем другим, а потому толкает к обособленности, вынуждает спасаться поодиночке, предлагая позаботиться прежде всего о себе.

Сильной нации не имеет смысла, да и незачем разжигать свои национальные амбиции, она не боится ассимиляции, поскольку в первую очередь она думает о физическом и духовном здоровье людей, предоставляя им полную свободу выбора молиться тому богу, какому они пожелают. Только ослабленная нация начинает истерически хвататься за каждый свой национальный лоскут, латает и подштопывает свое, изрядно поношенное платье, гордится им и носится с ним, самым обыкновенным одеянием, места ему не находит...

Передо мной на столе лежит великая книга киргизского народа "Манас", и я думаю о том, что только могучий народ мог оставить в веках эту сокровищницу мыслей. Наугад открываю страницу, и взгляд мой падает на строку: "Изранена черная печень моя". Нет, не могу я дальше читать — "изранена черная печень моя". О многом, увиденном и пережитом, жутком и горестном, напомнила мне эта строка, в эпосе наших

тюркоязычных народов служащая традиционным образом для передачи предельного горя.

Еще и месяца не прошло после кровавой трагедии, еще и пепел не остыл на пепелищах, а на текстильном комбинате в Оше состоялась встреча тружеников с руководителями города, на которой защитники нации из "Ош аймагы" выдвинули свои требования. Я держал в руках эти несколько листков бумаги и не верил своим глазам: "...в торговле и общественном питании узбеков и русских руководителей заменить киргизами;

— в магазинах, быткомбинатах, парикмахерских, ресторанах принимать на работу киргизов;

— работающих в системе автотранспорта, техобслуживания, дорожно-транспортных службах, участках, хлебозаводах, заводах, ЖБИ, заготконторах, работников железнодорожного транспорта русских и узбеков довести до минимума и в большинстве заменить киргизами;

— добиться, чтобы в животноводстве и сельском хозяйстве больше работало узбеков и русских;

— если узбеки спокойно не могут жить на киргизской земле, пусть уезжают..."

И все равно никогда не повернется у меня язык, чтобы в происшедшем обвинить киргизский народ, который обездолен ничуть не меньше, чем узбекские хлопкоробы. До чего же мы дожили в своем великом отечестве, если вину за свою нищету сваливаем на своих соседей, в большинстве своем таких же обездоленных и нищих.

— В гробу я видел твою перестройку, — кричал мне в лицо молодой парень, кстати, живущий, как он сказал, на улице Интернациональной, — если она позволяет отщепенцам одного народа провозглашать лозунги об однородности нации. Ты хоть сам понимаешь, что это такое? А это значит, что всех остальных, не принадлежащих к этой нации, надо запугать и затеррористировать, чтобы по своим республикам убрались. Русские уже уезжают, а мне уезжать некуда — это и моя земля.

— Слушай, ты, писатель, — потрясал увесистым кулаком разгоряченный мужчина возле обкома компартии, где собралась толпа, — ты сидящих в этом мраморном здании не защищай, это их предшественники в 30-е годы разобщили наши народы, отобрав алфавит, которым мы веками пользовались. Побоялись одного, что в будущем можем стать могучей силой, если объединимся. Слушай, какая тут может быть общность, если я всю жизнь книги туркменских, казахских, киргизских, таджикских писателей в переводе на русский язык читаю?

— Твоя партия сама же и стравливает нации, чтобы удержать при себе республики, — произнес кто-то за моей спиной, помолчал, а потом добавил: — Тут все ясно: мы же последний оплот командно-административной системы, а она окончательно развалится, как только спящий Восток пробудится. А если все же не она стравливает, то почему не могут найти организаторов погромов и резни? Ни в Тбилиси, ни в Сумгаите, ни в Фергане, ни здесь...

Я хотел повернуться к нему, но что-то меня остановило. А что я мог сказать ему?

— Я не знаю, о чем и как ты пишешь, — стал успокаивать жестом не в меру возбужденных моих собеседников убеленный сединой аксакал, — но ты посмотри, что твои партийные вожди на местах творят: работает, к примеру, на предприятии четыреста пятьдесят узбеков, десять киргизов и сорок представителей других национальностей, так вот, все руководящие посты обязательно занимают киргизы.

— Но такое же положение наблюдается и в других республиках. Насколько я знаю, то же наблюдается и в Узбекистане. А в моем родном Джамбуле ни один узбек не работает в партийных органах, хотя в городе проживает более пятидесяти тысяч узбеков...

— Вот ты сам и обвинил свою партию вместе с ее кадровой политикой. Все считаем — у кого больше академиков и профессоров. Уже до абсурда дошли: у иной малой народности этих самых академиков боль-

ше, чем у самих русских. Сам читал. Считали, считали рекорды, а теперь кинулись уговаривать нас, чтобы мы мирно жили. А мы и жили мирно, пока не оказалось, что все, кто живет не в своей республике, — люди второго сорта. Не согласен? Убирайся. Потому многие русские и уезжают в Россию, что не хотят больше жить в постоянном напряжении. Это еще пока их не трогают, а начнет полыхать, особо разбираться не станут — кто какой национальности... Вот что скажу я тебе: слишком мы стали спесивыми от своей национальной гордости — и русские, и узбеки, и все другие. Позадирали носы — дальше некуда, а того не поймем, что самим же хуже и делаем. Два метра, они всегда останутся за мной, где бы я ни жил.

***

В прошлом году в моем родном Джамбуле стоял я перед памятником старины, мечетью Абдукадырбая, построенной им на собственные деньги в начале столетия, и, глядя на вывеску перед входом, не мог понять — где это я стою. Место, которое некогда было священным для верующих, здание, в котором дети постигали грамоту в медресе, превращено в наркологический диспансер! Большего надругательства над историей и над человеком не придумаешь.

Все смешалось. Уже в храме Божьем науку святости и любви друг к другу постигают алкаши, а в пивных заведениях интеллигентные граждане рассуждают о чистоте нравственных отношений, о доброте к ближнему своему, о Боге. А мы еще удивляемся тому, что среди нас появляются нелюди — сами же и расплодили...

В романе американского писателя Скотта Фицджеральда "Великий Гэтсби" есть сцена, в которой во время вечеринки Ник Каррауэй, персонаж, от чьего имени ведется повествование, в поисках хозяина дома входит в библиотеку Гэтсби, огромную, обшитую деревянными панелями комнату, убранную в готическом стиле. Здесь он натыкается на изрядно опьяневшего гостя, который взволнованным жестом указывает на полки с

книгами и говорит: "Все — настоящие... Никакого обмана. Переплет, страницы, все как полагается. Я был уверен, что тут одни корешки, а оказывается — они настоящие. Переплет, страницы... Какая продуманность! Какой реализм! И заметьте — знал, когда остановиться, — страницы не разрезаны" (Ф.Скотт Фицджеральд. Избранные произведения. Том 1. М., "Художественная литература", с.323—324).

С одной стороны,Фицджеральд показывает поверхностность и хвастовство, сопровождающие порой богатство, а с другой, непрочитанные книги указывают на ту мудрость, которую они могли бы открыть этому удачливому предпринимателю, натолкнуть его на личностные и этические размышления, застывшие в нем.

Поездите по узбекским кишлакам и киргизским аилам, уверен, в редком доме увидите полки с книгами, хотя бы с неразрезанными страницами. Книги, конечно, встречаются, но чаще в домах райкомовских работников. Им книги поступают по разнарядке. А чабанам и хлопкоробам — когда им читать книги, если вся жизнь проходит на пастбищах и хлопковых плантациях, когда им думать о будущем своих детей, если у многих из них нет самого элементарного в жизни? Одни пасут овец и месяцами сами не видят мяса, разве что когда наедет районное начальство, другие с утра до полуночи горбатятся на хлопковом поле. И тем и другим некогда заботиться о повышении своего чрезвычайно низкого уровня культуры.

— Человек — раб своей глупости, скуки, невежества и безразличия, — говорил неторопливо один словоохотливый старик, с которым мне довелось побеседовать. — Он ведь и прежде знал, что живет плохо, а все ждал, пока ему жизнь прекрасную не устроят. Это психология рабов — все время надеяться на кого-то. Кстати, восточные народы легче превратить в рабов, потому что есть в крови у нас послушание, терпимость и смирение. Религия нас к ним веками приучала. Качества, я тебе скажу, не самые плохие, но именно благодаря этим качествам человека легко отучить мыслить самостоятельно... Жить самостоятельно нас — отучили,

думать и решать самостоятельно — отучили, теперь и страдания наши взваливаем на наших соседей, виним чужих, на себя глядеть разучились... Нет, что ни говори, а это хорошо, что обособляемся, пока хорошо, а время покажет.

Старик провел рукой по окладистой своей бороде, задумался, потом лицо его просветлело, и он улыбнулся:

— Притчу вспомнил, — сказал он, словно вслушиваясь в собственные слова. — Я тебе расскажу, а ты слушай. Жил некогда в наших краях один ловкий человек, то ли фокусник, то ли колдун, не знаю. Факт, что занимался он откармливанием баранов, а потом резал их, когда они становились тучными, и выгодно продавал мясо. Вроде ничего особенного. Необыкновенным было то, что тысячное стадо баранов держал он в открытой степи, и овцам и в голову никогда не приходило, что могут они разбежаться — ограды ведь не было никакой. Но потому и не разбегались, так как этот самый человек внушал каждый день своим баранам, что они совсем не бараны, а самые настоящие львы. Бараны легко в это верили и совершенно не боялись, когда хозяин резал на их глазах очередную жертву. "Мы — львы, — думали бараны, — нас никогда не коснется печальная участь".Не знали, бедные животные, что всем им уготован один конец. Они начинали трепетать только под безжалостным ножом хозяина, когда уже было слишком поздно думать о побеге.

Старик замолчал, а потом вновь провел рукой по бороде.

— Так и мы, люди, долго, слишком долго были убеждены в том, что живем в самой справедливой и самой свободной стране. Нас обманывали, как баранов, а мы верили, были во власти иллюзии, которая, рассеиваясь, оставляет в душах людей пустоту и усталость. А с пустотой в сердце далеко не уедешь. Человек начинает метаться, ожесточается оттого, что не может найти выход из создавшейся ситуации, а потому и срывает свою злость и бессилие на таких же несчастных, как и он сам... Тут тебе не только национальный

вопрос поднимется. Тут жить человеку страшно становится.

Я слушал мудрые речи аксакала и во многом соглашался с ним. Узбеков убедили в том, что они должны заниматься только хлопком, киргизов убедили в том, что только они должны заниматься овцеводством, а всех убедили в том, что строим коммунизм. Теперь мы пожинаем плоды своей наивной веры.

***

Когда узбек говорит: я мусульманин, а русский с не меньшей гордостью произносит: я христианин, тем самым оба они подчеркивают, что добровольно заключены в тюрьму собственного самоуважения. И заявляют они с таким самомнением, будто сегодня быть узбеком или русским — значит обладать фантастическим богатством. Хотя на самом деле этот самый предмет самоуважения и самомнения, чем больше на него обращать внимания, тем быстрее обносится стеной, отгораживающей человека и нацию от человечества.

— Не собираюсь я никуда уезжать, — говорила пожилая русская женщина в Оше, — пусть хоть дом спалят. Я здесь родилась, здесь выросла, и другой родины у меня нет. На нашей Фрунзенской улице кто только не живет — и русские, и узбеки, и татары...

— Но ведь люди же уезжают не от хорошей жизни, — вступила в разговор ее взрослая дочь.

— А это пусть себе едут. Я никогда не чувствовала себя здесь чужой. И узбекским языком владею, и киргизский понимаю. И оба народа мне родные. И никуда я не уеду! — с какой-то особой решимостью повторила она, а потом, успокаивая себя, добавила: — Надо чуток переждать, и все образумятся, затянется рана, и забудется боль. Поостынут люди, и ты их не узнаешь, добрые они и отходчивые. Народ накормить надо, а то он бешеным с голодухи стал, вот и бросаются друг на друга. Я так понимаю: братья вы с киргизами, поди теперь разберись, кто проживал на этой земле, когда еще ни киргизов как нации, ни узбеков не было. И,

значит, нечего вам делить. Кидаетесь друг на друга, будто завтра уже не жить. Как же глаза друг на друга поднимете? Только нелюди выясняют отношения варварским способом, а люди должны жить по-людски. Все мы из земли вышли и в землю уйдем... Будешь писать, милок, о русских, провожая меня до калитки, продолжала старушка, — так и напиши, что я, тетя Клава, меня тут все знают, скорее соглашусь умереть, чем уеду отсюда.

Господи, думал я, идя по улице, что с нами случилось, какое стихийное бедствие ослепило наш разум? Сами своими руками лихорадочно воздвигаем глухие барьеры между собой, складывая их из кирпичей недоверия и непонимания. И кому от этого стало лучше?

Вспомнилась мне притча, которую неоднократно рассказывала мне мама. Создал Бог человека и забеспокоился.

— Мне кажется, — сказал Он ангелам, — совершил Я ошибку, создав человека. Он же ведь не даст Мне покоя теперь, станет каждый день наведываться ко Мне, на жизнь свою тяжелую жаловаться беспрестанно будет. Покоя Меня лишит. Что же Мне делать? Где Мне спрятаться, чтобы он не надоедал мне ежеминутными просьбами и жалобами?

Задумались ангелы, затылки стали себе почесывать, а потом дали Богу несколько практических советов. Каждый из них предлагал места, где можно спрятаться от людей, но все предложения ангелов Бог отверг.

— Ни на Луне, ни среди звезд, ни на дне моря от человека не спрятаться, — сказал Он уверенно. — Он везде меня отыщет, везде меня достанет. А спрячусь-ка я в сердце человеческом, уж туда он никогда не заглянет.

Прав оказался Бог, редко мы заглядываем в свое сердце, если вообще заглядываем. Вот уж поистине странно устроен человек: еще совсем недавно мы разрушали храмы свои, а теперь кинулись их спасать, новые стали воздвигать. Намного ли расширится наше

духовное сознание при таком повальном увлечении религией? Увлечение — это даже еще и не попытка заглянуть в свое сердце. Так, одно баловство. Кто верит, тот об этом на всех углах не трубит. А на религию уже мода пошла — обязательно надо иметь на столе или на книжной полке святые письмена, чтобы от времени не отстать. Не случайно на черном рынк книги эти — ходовой, дорогой товар.

— Дверь, которая ведет к Богу, — говорил мне один мудрый человек, — открывается в полном одиночестве. Бог никоим образом не связан с толпой, хотя он в каждом сердце человеческом.

Все движение жизни происходит изнутри наружу. Семена набухают изнутри и пробивают земную кору. И ничто в мире не идет обратным путем — снаружи вовнутрь, и привлечено наше внимание только к этому, внешнему миру. Блуждающий и торопливый взор наш редко заглядывает в собственную душу.

Многие, наверно, слышали легенду про Александра Македонского. Легенда эта гласит, что, когда он умер и похоронная процессия двинулась к месту захоронения, все были страшно поражены при виде рук мертвеца, свободно болтающихся по сторонам гроба. Панический ужас вселился в сердца людей, из уст в уста передавалась фраза о знамении богов. Каково же было разочарование людей, когда приближенные Александра разъяснили смысл этого факта. Оказывается, перед тем как умереть, Александр попросил своих самых верных соратников о том, чтобы во время похорон ему выпустили руки из гроба и оставили их свободно болтаться. Великий полководец, покоритель земного шара, хотел, чтобы люди видели, что даже он уходит с пустыми руками, хотя вся его жизнь, весь его гений были потрачены на завоевания во внешнем мире. Жизнь подошла к завершению, и некогда казавшиеся вечными надежды обернулись горьким разочарованием.

Ни один человек на земле никогда не воскликнул, что отыскал то, что искал, снаружи, и ни один не сказал, что он искал в сердце своем и не нашел.

Не случайно сделал я это философское отступление. Одолевают меня в последние годы тяжелые думы о судьбе человеческой, о состоянии его души. На какой же первобытнообщинный уровень опустились мы, если способны на садизм и изуверства, по изощренности которых мы давно уже переплюнули самых великих злодеев истории? Молодых, здоровых парней, разоряющих и разграбляющих дома соседей, насилующих малолетних девочек, зверски убивающих убеленных сединой стариков, можно ли их причислить к роду человеческому? Эти манкурты одинаково страшны для всех людей, независимо от их национальной принадлежности. Это они ручной пилой отпилили ногу инвалиду войны, чтобы действительно был похож на ветерана; это они убивали младенцев и с дикими воплями мчались по мирному городу на взмыленных лошадях, сея смерть налево и направо; это они пировали затем в разграбленных домах своих жертв...

В областной больнице разговаривал я с ранеными молодыми парнями, с женщинами в кровоподтеках и синяках, с немощными стариками и старухами, и, кроме глухого бессилия, ничего в глазах у людей не видел. Женщина, лежавшая у окна, отказалась со мной говорить и, не мигая, глядела опустошенными глазами в потолок, а губы едва слышно перебирали: "Не хочу жить, не хочу жить".

До сих пор по ночам просыпаюсь я весь в холодном поту с пересохшим ртом и потом долго не могу уснуть: все вспоминаю, вспоминаю, вспоминаю...

И вновь вижу изуродованные тела детей и взрослых, рыдающих женщин и истерически кричащих мужчин. Вижу беженцев и глаза детей, удивленно-испуганные и настороженные глаза детей, в которых, кажется, навеки застыли страх и недоумение. Как очевидец событий, я мог бы привести леденящие кровь акты вандализма и изуверства, которые бы наверняка ужаснули самых бывалых людей, переживших на своей памяти не одну трагедию, но ведь не ради этого пишу я статью, не ради того, чтобы обмазать черной краской один народ, а другой — обелить, тем более что Ош,

Узген, Фергана — это трагедии не разных народов, это боль и стыд братьев и сестер одной нации.

В Оше хотел я поговорить с узбеком, женатым на киргизке, но разговор не получился. Не получился разговор. И мы стояли в тени дерева, и он глядел мимо меня куда-то в сторону и ни слова не сказал мне. Ни единого слова. И это тягостное молчание, запавшее мне в душу, угнетает и терзает ее пострашней, чем вид разграбленных и сожженных домов.

Иной раз мне думается: а вообще в состоянии ли мы задать себе вопросы: кто мы? откуда пришли? и зачем мы пришли? И не могу ответить однозначно.

И все же я думаю: национализм не кончается шовинизмом или нацизмом. Разверзающаяся за ним бездна, кровавая бездна, возможно, даже пострашнее интернационального манкуртизма, в который нас загоняла тоталитарная система, истинную веру в Бога заменяя на веру в светлое будущее. Сегодня мы лишь пожинаем его плоды. Все семьдесят лет ломались не только национальные перегородки, планомерно уничтожались национальные обычаи и обряды, уходили в забвение вековые традиции народов. Обещанный рай оказался на практике самым настоящим блефом, обманом, на котором и держалась система, из года в год отодвигая вершину, откуда и увидят народы огни коммунистического будущего...

Не одно десятилетие пройдет во взаимном отталкивании, прежде чем начнет оживать само понятие интернационализма. Дружба во имя взаимного принижения и уничтожения — это не дружба, это интернациональный манкуртизм. Но даже это социальное зло не в силах перечеркнуть тех светлых страниц, которых, несмотря ни на что, было все же немало в нашей общей истории.

Как человек становится сумасшедшим, по всей видимости, известно всем. Это такое состояние человека, когда чрезмерное количество мыслей лихорадочно теснится в мозгу, наталкиваясь друг на друга, перебивая друг друга, в результате чего мозг уже не в состоянии усвоить и содержать их в порядке. Тогда эти мысли

начинают выплескиваться через край. И человек становится чрезвычайно говорливым, он разговаривает с самим собой, он хватает людей за одежду, надеясь на то, что они его выслушают. Он хочет заставить их говорить с собой, в то время как они шарахаются от него. Человек болен. Он разговаривает во сне, он бесконечно говорит и говорит. Начинается словесное наводнение, потоп из слов. И пока он не прекратится — продолжается сумасшествие.

В определенной степени мы, подхваченные ветром перемен, обрушившихся на наши бедные головы столь неожиданно, мы, слишком долго копившие в себе невысказанные слова, — тоже сумасшедшие. Нам всем необходимо выговориться, что мы успешно и делаем. И пока не важно, что не слушаем друг друга, перебиваем собеседников, торопясь высказать свое, наболевшее. В нашем сердце и голове идет бесконечный, нескончаемый разговор о времени, о себе и теперь самый распространенный, чаще всего и больнее всего нас мучающий разговор о нации, национальной принадлежности, разговор, вызывающий больше всего сомнений и причиняющий больше всего мучительной боли и стыда.

Нет отдыха уму. Есть только различие в уровне сумасшествия между людьми, но качество сумасшествия у всех одинаково, как одинакова его причина. Если тупиковое состояние страны затянется, то наверняка в худшую сторону изменится уровень нашего индивидуального сумасшествия, и его заметит весь мир, и тогда мы будем признаны сумасшедшими. Политикам, рвущимся к власти, и тем, кто правит сейчас страной, надо бы об этом подумать всерьез. Времени уже не осталось.

МАДАЛИЕВ Сабит родился в 1949 году в г.Джамбуле. Узбек по национальности. Пишет на русском языке. Учился на режиссерском отделении Ташкентского театрально-художественного института, окончил Литературный институт им.А.М.Горького. Автор семи поэтических книг, изданных в Ташкенте и Москве. В последние годы занимается драматургией и прозой, выступает как публицист. Член СП СССР, главный редактор журнала "Звезда Востока". (Снимок на обложке выполнен Н.Кочневым).

Семен Бадаш

ПИСЬМА В СТИХАХ ИЗ ОСОБЫХ ЛАГЕРЕЙ

Больше сорока лет отделяют нас от того, 1948 года, когда сталинская клика для политзаключенных организовала смертные концлагеря, именовавшиеся Особыми. В тот год начали в них идти эшелоны новых политических и такие же эшелоны с теми, кто до того находился в обычных ИТЛ. Помимо тех, кто в Особых лагерях погиб от голода, изнурительного ручного труда, болезней или шальной пули конвоя и охраны, оставшиеся в живых и пережившие все муки Особых лагерей теперь постепенно уходят в мир иной. Ряды тех, с кем прошел тяжкий путь по этим лагерям, все более редеют, все чаще с родины приходят сообщения о смерти лагерных друзей. Даже в эмиграции, где моих солагерников оказалось всего четверо, недавно ушел из жизни один из них — бывший зэк нашего Особого лагеря в Экибастузе Д.М.Панин.

С той поры в России выросли новые поколения, которые, по существу, имеют весьма отдаленное представление о творившемся в те времена беззаконии, произволе, лишь смутно что-то додумывая и теряясь в догадках.

Сейчас на родине раздаются пока еще скромные голоса, чтобы прекратить уничтожение архивов КГБ, МВД, судов и трибуналов, Особого Совещания, открыть доступ ко всем архивным делам и документам. Начался сбор средств, чтобы увековечить память жертв сталинского террора.

Особые лагеря описаны А.И.Солженицыным в "Архипелаге ГУЛАГ". О них писал в своих воспомина-

ниях и автор этих строк ("Колыма ты моя, Колыма". Нью-Йорк, "Эффект", 1986).

Многим может казаться, что цинготные, пеллагрические, истощенные зэки Особых лагерей эти смертники системы и жесточайшего режима, строившие города и промышленные объекты, добывавшие руду и уголь, думали лишь о куске хлеба. Это так. Но вместе с этим в каждом зэке органически существовал внутренний мир, и этот мир правильнее всего было бы определить ВЕРОЙ, НАДЕЖДОЙ и ЛЮБОВЬЮ. Покуда билось сердце зэка, не угасала в нем ВЕРА в конечное торжество справедливости. И если в Особом лагере было суждено погибнуть и быть захороненным в никому не известной могиле с привязанной к большому пальцу ноги деревянной биркой с лагерным номером (так строго выполнялась в Особых лагерях инструкция), то зэк умирал с этой ВЕРОЙ. Истинно верующие обращались к Всевышнему, а воспитанные в прошлом на атеизме приближались к ВЕРЕ, потому что верили в конечную победу Добра над Злом.

НАДЕЖДА сопутствовала зэкам постоянно: надежда на освобождение, надежда на возвращение к истосковавшимся матерям и женам. Казалось бы, какая могла быть надежда у имевших в большинстве 25-летний срок, когда даже про получившего "почетный червонец" говорили, что он "отделался легким испугом". И все же! И все же в зэке нельзя было заглушить надежду ни ношением унижающих его достоинство типично фашистских четырех номеров на лагерной одежде, ни двукратным ежедневным "шмоном" при выходе из лагеря на работы и при возвращении в лагерь, ни лающими овчарками, этими "верными Руслanами", ни закрытием бараков на замки, ни ограничением переписки, ни запрещением свиданий с родными, ни голодным пайком сотен тысяч Иванов Денисовичей.

И ЛЮБОВЬ. ЛЮБОВЬ охватывала зэка не только к оставшимся далеко родным. Любовь определялась любовью к ближнему, попавшему в этот страшный и бесчеловечный конвейер смерти, как и ты сам: соседу по нарам в бараке, соседу по работе в бригаде, соседу по

мучительным этапам, а еще более любовь к ближнему проявлялась во время коллективной забастовки или восстания, когда рядом, плечом к плечу, стояли твои друзья. Именно в этой любви к ближнему фактически исполнялся один из заветов Христа!

В заполярном Норильске, куда был этапирован автор как активист забастовки в Экибастузе, после 10-часовой работы на строительстве многоэтажных домов на ветру при морозе в 40-45 градусов, возвращался в полутемный барак зэк и на дощатых нарах отдавался воспоминаниям воли, его взор мысленно устремлялся "на материк", к родным пенатам, к близким и родным. И обмороженными руками писал:

Тебе, моя голубка, мать,
С сердечной теплотой великой,
Решил письмо я написать
С далекой тундры полудикой.

Живу я, где лежат снега,
Где часто с воем по равнине
Гуляет снежная пурга
В бескрайней северной пустыне,

Где льется к морю Енисей,
К большим арктическим просторам,
А летом тысячи гусей
Кричат, летая по озерам,

Где ночь полярная длинна,
Где долго солнышко не всходит,
Лишь только бледная луна
На сердце мне тоску наводит.

Пройдет она сквозь гряды туч,
Шаром прокатится над миром
И бросит свой холодный луч
В глуши над северным Таймыром.

***

В заполярном круге, стороне чужой,
Черные, как уголь, тучи надо мной.
Волчий голос ветра не дает уснуть,
Хоть бы луч надежды в эту тьму и жуть.

Там где нету солнца, человек угрюм,
В маленьком бараке, тесном, словно трюм,
Волчий голос ветра не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета в эту тьму и жуть.

По ночам мне снится белое крыльцо,
Черные ресницы, нежное лицо,
Часто мне не спится, по ночам лежишь,
О тебе, далекой, думаешь-грустишь.

В заполярном круге счастья, детка, нет,
Волчьим воем ветра занесло мой след,
Так не жди, не надо, и не мучь себя,
Будет в жизни случай — вспомнишь про меня.

***

Я существую, мама! Не печалься!
Я не убит, я все еще живой,
И обо мне, прошу, не беспокойся,
Я не покрыт холодною землей.

Я постарел и сильно изменился,
При встрече вам меня не опознать,
Не прежний я — я сильно изменился,
Ведь мне всю молодость приходится страдать.

Но я несу свой тяжкий крест покорно,
Примером мне является Христос,
Ты плачешь, мама? Виноват, бесспорно,
Ведь это я большой тебе удар нанес.

Но ты прости меня, моя родная,
Я о страданьях больше не пишу,
Рукой замерзшей сердце прижимая,
Я о природе сообщить тебе спешу.

Здесь, мама, вьюги завывают,
Здесь, мама, часто рыскает мороз,
А в сентябре озера замерзают,
Здесь не увидишь ты чудесных роз.

Июль месяц здесь зимой считают,
Здесь не бывает лета никогда,
Тут зэки Север покоряют
И в тундре строят города.

Все мы живем под северным сиянием,
Такой красы я не видал нигде,
Огни лучей на дальнем расстоянии
Играют в небе, словно на воде.

Они живыми кажутся, родная,
Они по небу движутся толпой,
То соберутся, небо освещая,
То разбегутся лентой голубой.

Так мы живем, все время в ожидании,
Стремимся вновь соединить сердца,
Достигнем снова расставание,
И так всю жизнь, с начала до конца.

Но не печалься! Бог нас не оставит,
Он нам поможет муки пережить,
Он, мама, нас на верный путь наставит,
И будем мы Ему служить!

***

Ты возникла из дыма табачного
И угасла, как сказка, как дым.
Пролетела любовь неудачная,

И я снова остался один.

Ни жены, ни семьи и ни друга.
Даже ты изменила, мечта.
За чертою Полярного круга
Я не тот, да и ты уж не та.

Все я жду — ветерок заиграет,
Разнесет над долиной туман,
Кто же нежно меня приласкает
И прижмет меня к нежным губам?

Годы тянутся, мне уже тридцать.
Сколько ждать мне томительных лет?
То свобода, то счастье приснится,
А свободы и счастья все нет!

Как обидно, что все это сказка
И, как всякая сказка, обман.
Лишь пурга завывающей пляской
От озер разгоняет туман.

(Норильск, зима 1952/53 года)

Из-за ограниченного лимита, разрешавшего лишь два письма в год, приходилось отправлять письма через вольнонаемных прорабов, проектировщиков или шоферов в рабочей зоне в Горстрое Норильска. Но и в этом случае нельзя было быть уверенным, что твое письмо отправлено или хотя бы просто уничтожено: что еще хуже, оно могло быть передано в оперчасть, "куму", представителю МГБ. Доходили ли письма до адресата, оставалось неизвестным, с "материка" тоже не могли сообщать о получении "левого" письма. Обнаружение нелегальной переписки в лучшем случае грозило месячным карцером в БУРе, в худшем — дополнительным сроком заключения.

Как непосредственный участник, впервые описав Норильское восстание заключенных ("Континент",

№36), а в последующем включив это описание в упомянутую выше книгу, укажу лишь кратко, что, хотя наше восстание было жестоко подавлено, оно сыграло большую роль в дальнейшем послаблении озверелого режима Особых лагерей. И снова нас, бывших забастовщиков в Экибастузе, а теперь инициаторов и активистов Норильского восстания, везут в трюме баржи по Енисею в обратном направлении, в Красноярск. И в этом переполненном и полутемном трюме карандаш выводил:

Мы все здесь жертвы зверского террора,
Зачем вся ложь и бесконечное вранье?
К чему же были выстрелы "Авроры"?
Чтоб нас живьем клевало бы гебистское
воронье?

Зачем мы здесь? Какой весь смысл борьбы
С родным и собственным народом?
Кому нужны все тысячи зэка-рабы?
Чтобы Семнадцатый считат' родимым годом?

Там, наверху, довольны, веселы и сыты,
И это именуется у них социализмом,
А мы за рабский труд бываем часто биты,
И даже Маркс назвал бы это кретинизмом.

Терпенье лопнуло. Убийства, издевательства,
ношенье номеров.
Мы разом выступили против произвола.
В Норильске поднялись все тысячи рабов,
Но полк солдат нас окружил вокруг
колючки- частокола.

Родные, милые! Нам всем досталась эта доля,
Нам надо все невзгоды пережить.
И силы есть добиться права и заветной воли.
Поможет Бог и вам и нам дожить.

Как говорится, в песне популярной той
"Никто забыт, ничто забыто быть не может".
Московскую комиссию и стрелявший в
нас конвой,
Убитых и рубцы от ран на нашей
изможденной коже.

Но грянет долгожданный тот заветный час,
Когда свои предъявим всем им счеты,
И Бог, конечно же, поддержит нас
За павших, что всегда будут в почете.

А дети, внуки будут тихо приходить,
На мрамор класть цветы в большом почтении,
Из наших книг, стихов познают, как им жить,
Чтоб Русь не знала бы подобных повторений!

(В барже по Енисею. Июль 1953 года)

Увы, повторение было. И если А.И.Солженицын из-за отсутствия у него материала не смог в "Архипелаге ГУЛАГ" описать наше Норильское восстание, то зато описал подробно восстание последующее, Кенгирское 1954 года. А нас, опасных норильских повстанцев, с Красноярской пересылки грузят в "краснухи" — товарные пульманские вагоны, на каждый вагон, помимо конвоя, устанавливают дополнительно пулеметы. С курьерской скоростью эшелон несся на Восток и прибыл в порт Ванино. И на Ванинской пересылке, что на косогоре:

Бухта, тепло, рядом плещется море,
Пароходы вдали у причала стоят.
Чайки над нами кричат, словно в горе.
Раздеться б, поплавать каждый бы рад.

Порт Ванина видел миллионы зэка,
Отсюда единственный путь — в Магадан.

В Москве прошедшая ночь, здесь
солнышко нового дня,
И льется в бараке известная песнь колымчан.

Ну что ж! Был Норильск, теперь Колыма.
Со мной все товарищи-братья.
Не будем сходить, как в песне, с ума,
И ни к чему слать все пустые проклятья.

От сумы и тюрьмы никуда не уйдешь,
Кажет народ на родной Руси.
Нам всегда достается, чего ты не ждешь.
Ты зэка, должен крест свой тяжелый нести.

Чуть поближе пароход и, верно, угрюм.
Вот и трап, по которому гонят на борт,
В повидавший миллионы зэка мрачный трюм.
Прощай, "материк", прощай, Ванина порт!

Два дня и две ночи из-за шторма в Охотском море безумная качка. Бухта Нагаево, Магаданская пересылка и далее на грузовиках по знаменитой Колымской трассе, выгружаемся в 850 километрах от Магадана в поселке Аркагала. Здесь отделение Особого лагеря, относящегося к "Берлагу" Береговому лагерю, и угольные шахты. За время нашего пути здесь начались послабления режима: спороты номера с лагерной одежды, открыт ларек, снят лимит с переписки, стали оплачивать работу. Идем в шахту. Вечерами приходим усталые, с въевшейся в поры лица угольной пылью, что не отмывается. И отсюда "на материк" снова уходят письма-стихи:

Расскажу вам сейчас я про Север далекий,
Как попал я сюда, кандалами гремя.
И теперь я вернусь уж, наверно, не скоро,
Потому что ГБ разлучило меня.

Я теперь далеко от родимого края,
Вспоминаю прошедшие юные дни.
Вспомнишь ли ты, моя дорогая,
Годы те, что с тобой провели?

Здесь цветы не растут, и нет запаха розы,
Нет черемухи пышной моей.
Здесь одни лишь гуляют метели-морозы,
Не помнят зэка, как поет соловей.

Треск мороза по тундре разносится громко.
Покрывалом хрустальным покрыта земля.
Здесь тайфуны поют одиноко и звонко,
Монотонно им вторит баллада моя.

Хоть и нас разделяют большие просторы,
Но и здесь не забыл я, родная, тебя.
Боль в груди ощущаю порою
И горячей слезой обливаюся я.

Но настанет тот день, и мы встретимся снова,
Если только судьба не изменчива к нам.
Мне откроется путь, распадутся оковы,
И вернусь я к твоим васильковым глазам.

***

Дуют ветры, злобно завывая,
Замели дороженьку домой.
Хочется, мамаша дорогая,
Хоть часок, хоть миг побыть с тобой.

Посмотреть морщинистые руки,
Рассказать, как много неудач
Пережить пришлось мне в дни разлуки.
Только ты, пожалуйста, не плачь.

Ведь слезами горе не утопишь.
Я приду, родная, я приду.

Ты, как прежде, спать меня положишь
Где-нибудь под вишнею в саду.

Вот тогда у изголовья сына
Сможешь ты немножечко всплакнуть.
И с тобою вместе, воедино,
Я всплакну, припомнив тяжкий путь.

Путь, где шел, шатался и оставил
Понапрасну много лет и дней,
Где печальный памятник поставил
Всей погибшей юности своей,

Где мне ветры злобно завывали
Песню о потерянной судьбе.
Сколько раз, мамаша дорогая,
С песней той я улетал к тебе!

Видел дом знакомый над рекою.
Мне казалось, будто в тишине
Ты поешь, склонившись надо мною,
Песню о далекой стороне.

И я слышал в каждой нотке:
Ты звала, звала меня домой.
Подожди, ведь я пока в неволе,
Но все с той же, трезвой головой.

Подожди, я выйду на дорогу,
Разойдусь и первый свой маршрут
Проложу к желанному порогу,
Где задорно, весело поют

Соловьи, где небо голубое,
Где речной рассыпался песок,
Где над люлькой детской, золотою
Напевал твой нежный голосок.

Подожди и наберись терпенья,
Я приду, родимая, приду.
Встречу назовем ту Воскресеньем,

Стол поставим где-нибудь в саду.

Сядешь ты напротив, дорогая,
На меня посмотришь и поймешь,
Как гуляли ветры, завывая,
Вот тогда, пожалуй, и всплакнешь.

А сейчас не смей, не смей слезами
Омывать безрадостные дни.
Встреча нам предсказана Всевышним,
Мы с тобой в разлуке не одни!

(Пос. Аркагала Магаданской обл., 1954)

В этом последнем письме с Колымы сказалось сильное на меня влияние Сергея Есенина, стихи которого десятилетия не издавались, и читались моим поколением подспудно, в школьные 30-е годы. Его лирика была всегда близка мне, а тем более в экстремальных условиях Особого лагеря. Поэтому и прав А.И.Солженицын, когда писал: "И ткань нашей души, то, что любим мы и к чему привыкли, создается в нашей юности и никогда после!" (А.Солженицын. В круге первом. Собрание сочинений, т.3, с.160).

В этих письмах-стихах отражалось душевное состояние зэка, загнанного МГБ в Особые лагеря, сперва в "Степной лагерь" в Экибастуз, затем в заполярный "Горный лагерь" в Норильск, а в конце и в "Береговой лагерь" на Колыму. До свободы было еще далеко. Лишь в 1955 году, пройдя все пересылки от Магадана до Москвы и просидев в одиночке еще шесть месяцев в Лефортовской тюрьме на так называемом "переследствии", я наконец увидел свою мать и свою жену.

Александр Архангельский

НА ПУТИ К "НЕСВОБОДЕ" ЛЮБВИ

Над страницами сборника "На пути к свободе совести" (М., "Прогресс", 1989)

К чему привыкли мы? К тому, что на Пасху телевидение работает дольше обычного, до предела расширяет рамки допустимой фривольности. К тому, что научный атеист объясняет: "у хрыстианстве, товарыщи, Бог членится на три части"... К чему начинаем привыкать? К митрополичьим клобукам на съезде советов. К иерархам, которые без тени улыбки позирут на фоне самолета с витиеватой надписью: "С Рождеством Христовым". К мельканию ряс на эстраде. И к мысли: а что ждет нас в этой — главной — сфере нашей жизни? К чему идет Россия, отвергая диктат безбожия? Ищущая мысль упирается в факты реальной жизни, черпает из опыта нашего ежедневного общения, но этого мало; чтобы определиться, ей нужно обрести взаимоупор в чужой мысли на ту же тему.

И вот — представился случай.

В конце 1989 года увидел свет сборник "На пути к свободе совести"; составил его известный религиовед Дмитрий Фурман совместно с церковным журналистом о.Марком (Смирновым). Здесь на равных, мирно и независимо друг от друга выступают атеисты, православные, баптисты, лютеране, католики, адвентисты, мусульмане, иудаисты ("от имени" — не знаю уж, "по поручению" ли — кришнаитов высказывается сотрудник Совета по делам религий В.С.Пудов, но делает он это очень достойно). Смущает отсутствие униатов; впрочем, можно догадаться: книга сдана в производство задолго до поездки М.С.Горбачева в Ватикан.

Открывается сборник статьей самого Фурмана "Религия, атеизм, перестройка". Кто помнит нашумевший сборник "Иного не дано" (М., 1988), неизбежно сопоставит ее с фурмановской же статьей "На пути к "нормальной" культуре". Можно было сетовать на жестковатый, "безысходный" детерминизм концепции, на некоторую долю марксистской непреклонности в предложенной схеме, но принципиальной ясности, новизны и глубины не оценить мог только слепец. Д.Фурман прочертил тогда маятниковидную синусоиду идеологического развития России в ее новой и новейшей истории. Официальная победа религиозного начала автоматически рождает энергию противодействия и толкает наиболее творческих людей в объятия материализма и атеизма; "атеистическое" поколение, утвердившись на исторической сцене, жестко отвергает "поповщину" и тем самым провоцирут рост независимых религиозных настроений. Затем айсберг вновь переворачивается. Причем и "правая", и "левая" мировоззренческие установки, формируясь в подполье, всегда таят в себе опасность болезненных деформаций — будь то левацкий экстремизм или православный ("правый", но не "славный") национализм... Выйти из этой дурной бесконечности, остановить раскачивание "маятника" можно только в одном случае: если будет найдена "равнодействующая", если общество встанет на путь свободы, терпимости и нейтралитета по отношению к любому умонастроению, любой доктрине, кроме человеконенавистнической. Такое свободное состояние общества Д.Фурман и величает "нормальной" культурой.

Теперь давняя его концепция уточнена применительно к советскому периоду нашей истории. Свобода совести по-прежнему предстает спасительным идеалом — до него нам "дойти нелегко, а до смерти четыре шага", как в песне поется. По-прежнему свобода эта понимается как взаимная терпимость религии и атеизма, способность "спокойно сосуществовать" друг с другом. Однако появляется и новое: убежденность в необходимости и неизбежности обоюдного покаяния. Это очень важное "дополнение"; от паранойи, одержимости, по-

разившей духовную жизнь нашего общества, способна спасти только метанойя, покаяние; от несвободы к свободе путь лежит через освобождение; покаяние и есть — освобождение от греха. (Быть может, когда-нибудь дорастем и до идеи взаимного прощения).

Но концепции концепциями, а что происходит в потаенной от чуждых глаз церковной жизни? Что волнует верующих? Что их огорчает? Что объединяет, что разделяет? Прежде чем садиться за стол переговоров, нужно попросту перезнакомиться, прежде чем ставить диагноз и назначать курс лечения, нужно узнать, где у больного болит. Нужно из первых уст, а не с помощью испорченного телефона пропаганды, услышать, как зарождалось учение вайшнаизма, какие стадии проходила идея "Москва — Третий Рим", что обсуждал Собор Русской Православной Церкви и как строят отношения между собой советские шииты и сунниты, в чем истинный смысл сионизма и где пролегает граница между атеистической и религиозной его ветвями... Не случайно поэтому абсолютное большинство статей сборника просто информативны (что не исключает их концептуальности), хотя некоторые подчеркнуто аналитичны (вступительный очерк, заметки свящ. А.Меня "Религия, культ личности и секулярное государство"), иные глубоко историософичны (А.Р.Бессмертный — "Национализм и универсализм в русском религиозном сознании", В.Г.Садур — "Мусульмане в СССР: история и современность"), третьи резко публицистичны (О.Антонов — "Старообрядчество и новое мышление"). Обретенное в итоге знание спускает нас из безвоздушных высот идеологии на грешную землю реальной истории, помогая определить, на какой стадии долгого пути мы находимся и где действительно находится его конечный пункт, — на сей счет могут быть разные мнения.

Что прежде всего бросается в глаза? Какое чувство объединяет авторов сборника, верующих и неверующих, начальствующих и подчиненных? Увы: не благоволение, не дружелюбие. Слава Богу: не ненависть, не вражда. Сквозную интонацию книги я бы назвал ворчливой. Всюду в ней очевидно ровное взаимное не-

довольство, скрываемое за вежливыми словесными формулами: конфессий — государством, государства — конфессиями, конфессий друг другом и совместно — атеизмом, "руководящего" состава (будь то церковной, будь то научно-атеистической иерархии) рядовым, и наоборот. Причем — и это было неожиданно — недовольство почти не связано с вероисповедальными, собственно религиозными проблемами. Нет: оно насквозь социально. (Едва ли не единственное исключение — "старообрядческая" статья О.Антонова; но старообрядчество всегда "на равных" соединяло в себе религиозное и социальное начала и всегда чуралось политеса в выражении мыслей, стремясь к веселой и точной прямоте суждений, — не отсюда ли, кстати, старообрядческие симпатии Солженицына?). Вторая неожиданность в том, что особенно много претензий у всех накопилось не к атеизму (что было бы логично), а к православию.

В силу этого читать сборник страница за страницей было горько и стыдно. Но как не раздражаться второму пастору Одесской церкви евангельских христиан-баптистов С.В.Санникову, если в тот самый момент, когда в Москве "товарищ Горбачев приветствовал патриарха Пимена, вывеску на молитвенном доме в Одессе... снимали снова и снова"? Как удержаться католику В.Алюлису от сдержанного упрека, если руководство Русской Православной Церкви обращается к правительству с просьбой отдать в его распоряжение здания бывшего униатского монастыря, — а у литовских католиков вообще ни одного монастыря в республике нет? И как объяснишь ему, почему в 1986 году Синод наложил односторонний запрет на взаимное причащение католиков и православных, разрешенное (в исключительных случаях) Соборным постановлением 1971 г.? Что ответишь историку и социологу С.Б.Филатову, который с удивлением обнаружил в "Журнале Московской Патриархии" полное отсутствие серьезных проблем внутрицерковной жизни, зато нашел "очень много (с бесконечными фотографиями) о том, где были... патриарх Пимен и председатель Изда-

тельского отдела (в чьем ведении "ЖМП") митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим"?.. И прав — что делать! — прав Д.Фурман, когда указывает на неслучайность одновременного роста православных и консервативно-националистических настроений в 70-е годы и предельно точно диагностирует "Память" как "преждевременный, неудачный и скорее всего "абортивный" плод этой тенденции"... Можно бы робко возразить, что отнюдь не всегда так было и в 20-е годы именно протестантам жилось сравнительно неплохо (насколько вообще может неплохо житься верующему в социалистическом обществе), а православных загоняли за Можай, — об этом, кстати, пишут многие авторы сборника. Что в православии традиционно сильна была не только (и даже не столько) государственно-националистическая, но и соборно-универсальная устремленность, и даже формула старца Филофея "Москва — Третий Рим", которую одни сейчас некритически славят, а другие некритически порицают (в сборнике — Д.Фурман, о.Глеб Якунин), в миг своего рождения была направлена против соблазнительного мессианизма двух других формул "Тверь — новый Константинополь" и "Русь — Новый Израиль". (Об этом со сдержанным церковно-благоговейным блеском пишет А.Бессмертный)... Что доску на молитвенном доме баптистов в Одессе все-таки повесили, а вот одну из православных общин до сих пор не регистрируют, и обещанный храм св.Адриана и Натальи ей не передают. Что от бездеятельности Издательского отдела страдают в первую очередь сами православные — для примера можно сослаться на статью В.Борщева о Поместном соборе РПЦ 1988 года: там священник из Чувашии жаловался — много лет ведомство митрополита Питирима обещает издать молитвослов по-чувашски, а толку чуть... Но все это будет жалким лепетом, пока мы не ответим на главный вопрос: к кому обращены упреки?

Ясно, что на православного автора "Записок советского священника" Георгия Эдельштейна сердиться совершенно не за что: он более двадцати лет добивался права стать лишенным всех прав советским попом, а

теперь воюет с уполномоченным по делам религий, латает крышу в сельском храме, вопреки негласным запретам ходит по райцентру в рясе и радуется своему служению. Еще труднее предъявить социальный счет о.Глебу Якунину, известному православному правозащитнику, автору статьи, обращенной против сталинизма и цезарепапизма в нынешней Московской Патриархии. И священнику Александру Борисову (статья "Великое поручение"). И многим, многим другим — не только писавшим статьи для этой книги, но и "просто" ежедневно возносящим "там, во глубине России", молитвы "о всех и за вся". Тем, из кого в большинстве своем и состоит "клир и мир" православия; тем, кто предпринял на одном из последних Поместных соборов попытку — пусть не до конца осуществившуюся вернуть Церковь к светозарным решениям Патриаршего собора 1917 — 1918 годов. Среди них — не только "рядовые" миряне, но и епископы, архиепископы (один из них — Смоленский и Калининградский Кирилл, участник сборника), митрополиты... Так в ком же, в чем же дело?

В том, что объект, на который действительно должны быть нацелены все явные и скрытые упреки инославных, — это не РПЦ, а самая крупная, самая ритуализованная, самая богатая и властолюбивая наша конфессия: обезбоженное Государство. За 70 лет оно очень хорошо научилось выпускать тепловую "ловушку", отводя удары от себя. В качестве такой "ловушки" и была использована Русская Православная Церковь. Иерархия ее, начиная с патриаршего местоблюстителя Сергия (Страгородского) была соблазнена возможностью, пусть отдаленной, восстановления распавшейся "симфонии" Церкви и государства; "симфонии" по формально-логической привычке противопоставлялась "какофония", и никому в голову не приходило, что возможен еще и свободный "контрапункт". Соблазненную иерархию отождествили со всем русским православием, вновь поставили знак равенства между ним и национально-державной идеей, принудили замолчать или изолировали тех, кто поднимал голос против это-

го, — и результаты не замедлили себя ждать. Трудно ли, кажется, догадаться, что бородатые мальчики в косоворотках и с ненавистью во взоре боготворят жестокую державность не потому, что они православны, а напротив, потому считают себя православными, что боготворят Державу? Трудно ли понять, что если члены Священного Синода "надмирно" не спешат отмежеваться от имперского культа Сталина, доводят униатскую проблему до кровавого тупика, пытаются прибрать к рукам литовский монастырь, — то ведут они себя не как православные люди, а как советские государственные чиновники? Но нет; ловушка срабатывает безотказно. В интервью митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия есть высказывания, с церковной точки зрения почти кощунственные: "Безусловно, нельзя приступать к канонизации... пока нет акта о виновности или невиновности репрессированного". Если так, то первомученики христианские канонизированы напрасно, ибо преступали законы Рима, когда отрекались от исповедания государственного культа и отказывались купить жизнь и свободу ценою щепотки золотого песка, брошенной на языческий жертвенник. Но с государственно-чиновной точки зрения митрополит прав тысячекратно — и раздражение, которое неизбежно вызовут у читателя эти советские доводы, падут на Церковь: только того государству и надо. Ибо никто не станет обращать внимания на то, что все начальники старой закалки похожи друг на друга, и высокопреосвященный Ювеналий отвечает на вопросы корреспондента ничуть не "реакционнее", чем пишет о пересмотре (не о покаянии!) атеистических доктрин директор Института научного атеизма при ЦК КПСС В.И.Гараджа, или чем рассуждает о современных проблемах мусульманства зам. председателя Духовного управления мусульман Средней Азии и Казахстана Абдул-гани Абдулла, кази.

Куда там! Обида застит взор, имперский принцип "разделяй и властвуй" вступает в действие, и вот, читая одну из лучших статей сборника, посвященную нелегкой судьбе советского мусульманства, иной раз ру-

ками разводишь. Все предстает проявлением антимусульманских настроений и тайного христианского влияния; все, даже атеистическая пропаганда. (Широко бытует, кстати, иная точка зрения, согласно которой атеизм есть не что иное, как законспирированный иудаизм; при наличии богатого воображения и не то можно придумать). А дальше мысль, обороняющаяся от мнимой христианской угрозы, устремляется в историю, и прошлое тоже становится поводом для размежевания. Золотая Орда оказывается царством веротерпимости, в то время как аннексированная ею Русь — оплотом фанатизма, и все потому, что на территории Орды действовали православные храмы, а на Руси мечетей не было. Не стану в ответ ссылаться на общеизвестные примеры ордынской терпимости (св. князь Михаил Тверской, Василек Теребовльский...), просто отмечу: Орда была свободна и могла позволить себе красивый жест; русские же были под игом, и если их не заставляли силой открывать мечети, то с какой же стати было проявлять инициативу? Сохрани Казань после завоевания Иваном Грозным автономию, вряд ли допустила бы она строительство христианских храмов в своих пределах — и была бы абсолютно права: нечего захватывать чужие земли. Но захватывало их не православие, а Империя — вот в чем дело-то!

Так что прежде чем искать "равнодействующую" между полюсами религии и атеизма, сонму Церквей вкупе с честным и независимым от официальной идеологии атеизмом придется "вычислить" идеальную дистанцию по отношению к Державе, ибо, как мы убедились, читая книгу, именно несоблюдение этой дистанции ведет к трагическим недоразумениям во всех остальных сферах, в том числе и сакральных.

Государство наше — обезбожено; это не оценка, а констатация. Оно пребудет таким — все равно, останется ли тоталитарным, достигнет ли сияющих высот демократии, изберет ли автократию или вернется к конституционной монархии (а откат к монархии абсолютной нереален даже при нынешнем разброде). "Симфония" с ним равнозначна духовному самоубий-

ству; даже для атеизма, если он не хочет по-прежнему сидеть на привязи в государственной конуре и грозно рычать на ерующих. Можно, конечно, попытаться сакрализовать его, освятить богоносной идеей — для религиозного уха звучит это сладостно и заманчиво; но уж слишком сладостно и слишком заманчиво, чтобы не поостеречься. Ибо многоконфессиональная теократия в принципе невозможна, а моноцерковная в условиях нашей страны немыслима. Иначе — опять война между Церквами за первенство, новая кровь, а после пирровой победы одной из конфессий — ограничения для всех остальных, появление религиозно-национальных черт оседлости, где под прессом чуждой церковной державности вновь начнет болезненно зреть утопия общей справедливости, учение о царстве всеобщего равенства... Нет уж, это мы уже проходили; не поддадимся соблазну.

Тогда, быть может, объединиться для войны с "далью социализма", пойти словесной атакой на "антихристово товарищество?" В иные времена без этого не обойтись, и коли ждут нас мрачные дни, то лучшего выбора, чем добровольное мученичество "оппозиции", нет и быть не может. Однако если Господь даст выйти из безвыходной ситуации? Тогда гуманистическое царство материи будет попросту заинтересовано в мирном противостоянии веры, ибо антисоветская позиция не так страшна ему, как не-советская, созидающая нечто мистически неподвластное князьям мира сего, хотя и не так удобна, как позиция просоветская. Когда не удается приручить заведомого оппонента, лучше всего толкнуть его на путь пустого отрицания, распыления духовных сил в бесполезной склоке. Поэтому сонму вероисповеданий ничего не остается сейчас, как взяться за руки с недавним врагом — атеизмом в его неофициальных проявлениях, и двинуться в путь — не прямо, не направо, не налево, а вбок от торных путей Державы. В словах Христа "Отдайте Кесарево Кесарю " единственный раз за все время Его проповеди звучит не гнев, не тоска, не призывание, не спокойствие, не радость, а — равнодушие. Это заповеданное Церкви

Христовой равнодушие к проблемам государственного устройства не мешает искреннему отечестволюбию и даже национально-мессианическим чаяниям, когда они не ищут подпор в державном насилии ("Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!..", Матф., 23, 37, — кто же не помнит этого?). Если же для блага отечества и спасения ближних нужно активно включиться в гражданскую жизнь, окунуться в политическую стихию, заняться государственным переустройством, верующие не просто вправе — они обязаны пойти на это. Верующие — но не Церковь. В полузабытых ныне решениях Собора 1917 — 1918 годов был наложен запрет на церковную политику и дано благословение на личное "тако", "инако" и "никакомыслие". Это решение единственно разумно, и, видимо, может быть принято "за основу" всеми вероисповеданиями, а также атеизмом — на его языке это равнодушие будет именоваться терпимостью; именно к ней взывает Д.Фурман, и пока речь идет о церковно-государственных отношениях, я полностью на его стороне. Бог терпел и нам велел.

Но вот другие "равнодействующие" — церковно-церковная, церковно-атеистическая; мыслима ли здесь терпимость? Возможно ли равнодушие? Только в том смысле, что мы допускаем социальное существование друг друга и юридическое право иметь мировоззрение, полностью или частично отличное от нашего, отрекаемся от "силовых" приемов борьбы и не зовем городового, коли нам что-то не нравится в доводах оппонента. Но не удастся нам гордо замкнуть слух, когда эти доводы звучат, или повернуться спинами и смотреть в разные стороны, как двуглавый монархический орел или священный индийский лев. Не на то мы в мир призваны, чтобы друг друга игнорировать, и никакое образование, угроза войны, вовремя начавшаяся перестройка не заставят "церковников" смягчить выражение в стихе Псалмопевца "Рече безумец в сердце своем: несть Бог", и атеистов — отречься от постулата об

иллюзорности и "головном" характере религиозных переживаний. И никакое экуменическое движение, рациональные догматические конференции, межцерковные форумы не соединят далеко разошедшиеся материки мировых и национальных религий. Даже не сотрут границ внутри единого материка христианства. Позиции можно в лучшем случае сблизить; соединить — нельзя, иначе это не позиции, а не поймешь что. В конце концов, какой это будет католик, если он откажется от догмата о непогрешимости Папы? И хорош будет лютеранин, принявший этот догмат. Как мы сможем смотреть в глаза православному, который примирится с католическим постулатом об исхождении Духа Святого и от Отца, и от Сына, — и не перестанет называть себя православным? Разве мыслимо для правоверного мусульманина признать Богочеловеческую природу "пророка Исы"? И разве способен истинный христианин смириться с отрицанием этой природы во Христе Иисусе? Больше скажу: когда старообрядец согласится с написанием Имени Божьего не через одно (Исус), а через два "и", он перестанет быть старообрядцем.

Так что о религиозной "терпимости в равнодушии" мечтать не приходится. Через взаимное покаяние Церквам пройти неизбежно придется, но через покаяние в социальных прегрешениях, а не во взглядах, упованиях и таинствах: покаяться в этом значит перейти в другую веру.

Точно так же обстоит и с идеей Д.Фурмана о терпимости как равнодействующей между атеизмом и религией; с идеей, которую можно уподобить атеистической разновидности протестантизма. Чтобы стать протестантом, нужно утратить свою "католичность" и "православность"; чтобы стать — не социально, а духовно — терпимым к чуждому мировоззрению, нужно утратить свою "атеистичность" или "религиозность". На такую утрату в здравом уме не соглашаются, а если соглашаются, значит, преследуют цели, ничего общего с нравственными убеждениями не имеющие. И в том мы ныне можем с легкостью убедиться.

Начал я статью с рекламно-информационной роли, которую отвела священству нынешняя идеологическая ситуация; но ведь не только редкая передача редкая политическая акция коммунистического режима обходится теперь без участия брадатого мужа в рясе. Никогда не забыть мне, например, телевыступления одного из самых умных и самых властолюбивых наших митрополитов в канун Прощенного воскресенья с проповедью, религиозной по форме, политико-воспитательной по сути. (Смысл ее сводился к призыву не выходить на демократический митинг 25 февраля 1990 года). Однако все это цветочки, а начинают уже появляться и ягодки.

Тот, кому по роду занятий приходится проглядывать партийную прессу, замечал: чем "правее" газета, чем яростнее отстаивала год-два назад догмы воинствующего безбожия, тем благостнее сегодня пишет о "церковных традициях". Но при этом от марксизма и "партийности" не отрекается, принципам не изменяет (скорее наоборот). Тон, пожалуй, задает "Литературная Россия": чем больше в каком-нибудь из ее номеров ладану, тем серпастее и молоткастее он; до того доходит, что перманентно появляющаяся здесь информация о сборе пожертвований на храм Христа Спасителя встает в один ряд с призывами создать Коммунистическую партию России...

Но что "Литературная Россия", если и менее откровенные издания, вроде "Московской правды", начинают проговариваться. В.Лысенко, главный редактор этой московской четырехполоски, которая в апреле 1990 года властию убо Московскому горкому КПСС данной из разряда смешанных "партийно-советских" была переведена в "чисто" партийные, начал установочную статью в первом сугубо партийном номере — чем бы вы думали? — маслянистыми словами о "Пасхе, светлом празднике воскресения, о той народной традиции, которая, несмотря ни на что, не умерла..."

Листаем другие подшивки.

"Семья" защищает православных иерархов от "происков" журналиста Александра Нежного — в

статье, название которой заставляет вздрогнуть не только каждого верующего, но и просто любого человека с чувством стиля, "Тухлое яйцо ко Христову дню..."

"Правда" печатает восторженный отчет о ратной выставке, где в одном зале были выставлены иконы и — картины художников-грековцев: усталые, но мудрые полководцы, мерцающие партийной сединой генералы... И — мальчики-суворовцы с фанфарами на фоне древних ликов...

Откуда же такая назойливая "плюралистичность" у бывших "воинствующих", нетерпимых, однозначных?

В статье В.Лысенко есть формула, в своей непритязательной наивности страшноватая, но дающая некое подобие ответа: "Дело, конечно, не в усилении религиозного чувства и не в подыгрывании ему, а в нашей общей потребности почувствовать себя сопричастными прошлым поколениям, их духовной культуре..." Вот почему оказалось ныне возможным сочетать несочетаемое — "коммунистичность" с "церковностью": вот в каком "тигле" расплавлены они: в тигле возродившейся национально-государственной идеи, которая окончательно оторвалась от благородных славянофильских исканий и слилась с идеологией III Интернационала! Да, в новых условиях Церковь действительно заинтересовала "наших плюралистов". Но не как таковая, не как оплот Православия, даже не как поддающаяся адаптации идеология, но как символ. Символ чего-то такого, что дороже и власти, и карьеры, ибо дает шанс коммунистической идее выйти из кризиса — видоизмененной, но столь же коммунистической по существу. Стоит ли после сказанного удивляться, что религиозную газету "Московский церковный вестник" согласился возглавить коммунист и атеист, не собирающийся отказываться от своих убеждений? Все чаще и чаще вспоминаются мрачноватые (для меня мрачноватые, для автора как раз весьма радостные) прорицания Г.Шиманова (в самиздате 70-х годов) о том, что очень скоро КПСС будет вынуждена преобразоваться в ППСС — Православную Партию Советского Союза.

Коммунистическая идея, одетая в православные одежды!.. Что может быть страшнее, что — нелепее? Но таков "плюрализм в действии" — то страшное, антихристово смешение всего со всем, утрата определенности, "теплохладность", уклонение от непреклонного "да" или "нет", о невеселыхпоследствиях которого нас предупреждали две тысячи лет назад.

Идеология "внутреннего плюрализма" есть не что иное, как демократическая маска на страшном лике тоталитаризма. И конечная цель ее — воцарив мерзость запустения где не должно, тут же оборотиться против тех, кто способствовал ее победе. Однажды на протяжении своей недавней истории мы в том уже убедились, и стоит ли повторять собственные ошибки? И потому по мере обретения общественной свободы мы должны будем сделать ставку не на примирение разногласий, а едва ли не на их усиление. Как только отпадет необходимость ссориться на "государственном" уровне, появится время выяснить собственно конфессиональные, догматические отношения, сойтись в резких спорах о нашей общей истории. Сборник "На пути к свободе совести" — один из важных этапов грядущего освобождения, и не случайно в нем появились первые признаки неизбежного раскола по вопросу о судьбах церковно-государственных отношений в нашей стране. Все авторы мечтают об их гармонизации, все за то, чтобы Церковь процветала. Но одни, как В.Гараджа или М.Одинцов, твердо убеждены, что необходимым условием этого должна быть любовь к советскому строю, и раз уж "последние документы партии и правительства" нацеливают на перемену в отношении к религии, тщательно доказывают, что такая любовь была, есть и будет. Другие, как Д.Е.Фурман, А.Р.Бессмертный, о.Глеб Якунин и о.Александр Мень, уверены в обратном, и главным условием нормальной церковной жизни полагают следование грибоедовской формуле "Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь". Но и между ними, в свою очередь, нет согласия: Фурман усматривает корни цезарепапизма нынешней Патриархии в общеправославном государст-

венноцентризме и "синодальной" философии; Бессмертный же, Мень и Якунин во всех смертных грехах винят исключительно "сергианство"... И это только один — не самый центральный и не самый сложный — вопрос, причем поставленный в книге, авторы которой явно избегали конфронтации. Можно представить, что ждет нас в благословенные времена грядущей свободы совести.

Так что же — новый, еще более страшный тупик? Ничуть не бывало. Если мы мужественно признаем, что не сможем примириться в мыслях, из этого не следует, что мы не сможем друг друга любить. Не как носителей определенного мировоззрения, а как просто людей, как личностей. Скажем, синагогальное отношение к Иисусу Христу для "вообще" христианина оскорбительно, а христианское для "вообще" иудея — ересь. Но не бывает человека "вообще", а бывают конкретные судьбы конкретных людей. Например, лидера движения "Звезда Сиона" Иосифа Бегуна и основателя российского Христианско-демократического союза Александра Огородникова. В 70-е годы Бог свел их в одной камере, в огне страдания переплавились их судьбы, и при полном разномыслии они вошли в братское единение. Недаром Огородников, баллотируясь на выборах 1990 года в российский парламент, в "агитку" включил не только изложение своей христианской-демократической платформы о достижении национального согласия через взаимное прощение, но и упоминание о дружеской близости с И.Бегуном, хотя идеологии их вряд ли имеют точки пересечения. И беда христианину, если он не содрогнется внутренне, читая в сборнике горестный рассказ о грозящем советскому иудаизму вымирании, — ибо встают перед умственным взором не системы идей и воззрений, а живые носители их, чье религиозное страдание не должно затмеваться нашими неразрешимыми разногласиями. А если затмевается, до добра это не доводит; искупать грех тяжелее, чем не грешить вовсе. Можно вспомнить в этой связи об одном из лидеров православно-националистического крыла в русском зарубежье первой вол-

ны кн.Ю.А.Ширинском-Шихматове, который в 20-е годы через слово поносил евреев, всюду усматривал следы всемирного сионо-масонского заговора банкиров, а кончил свою жизнь в нацистском лагере, заступившись за другого заключенного; незадолго перед тем, в оккупированном Париже он хотел зарегистрироваться иудеем, чтобы носить желтую звезду и быть вместе с гонимыми. Иной пример приводит в своей статье А.Р.Бессмертный: архиепископ Илларион (Троицкий), в 1915 году писавший: "Католики для меня — не Церковь, а следовательно не христиане", в советский период 6 лет провел на Соловках бок о бок с русским католическим экзархом Леонидом (Федоровым) и, так сказать, опытным путем убедился, что — христиане. Сбылось давнее предсказание знаменитого митрополита Московского Филарета (Дроздова), который, будучи спрошен о путях преодоления церковного раскола, "как говорят, скорбно задумался, после чего сказал", что "наступят времена, при которых все мы забудем о своих разделениях". Стоит ли дожидаться этих времен?

Но вот что важно. И в лагере, где отбывали срок митрополит Илларион с экзархом Леонидом, и в камере, где сидели И.Бегун с А.Огородниковым, и в парижской мэрии, где собирался записаться в иудеи бывший антисемит, примирялись не католичество с православием, не христианство с иудаизмом, не христианско-демократическое движение с сионизмом, а люди с людьми. В этом личном примирении на основе любви и уважения к другому человеку и заключен механизм остановки "маятника", о котором пишет Д.Фурман. Для такого примирения равенство свободных воль в учтивой свободе совести необходимо как предварительное условие, но его мало. Чтобы полюбить кого-то и принять его таким, каков он есть, нужно впустить его в свое "я", поступиться частью себя, а значит — добровольно ограничить свою свободу. (На эту тему было прекрасное рассуждение архиепископа Смоленского и Калининградского Кирилла в одной из телепередач). Взаимная несвобода любви — и есть высшее проявление свободы; носить бремена друг друга и значит — быть

действительно свободными. В принципе, примирение в равнодушии и примирение в любви не должны бы совмещаться. Но тут как в сказке — чтобы соединить разрубленное на куски тело, надо спрыснуть его мертвой водой, а чтобы оживить, надо спрыснуть водой живою.

Вера в достижение первой "равнодействующей" и обретение второй сейчас, когда идут религиозные войны в Карабахе, Ольстере, Косове, Палестине, — по крайней мере кажется утопичной. Но ожидаемое осуществимо, потому что невероятно.

"Credo, quia absurdum est" — "верую, ибо неразумно". А если бы это было разумно, во что бы тут было верить?

АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Николаевич родился в 1962 году в Москве. Окончил Московский пединститут. Кандидат филологических наук. Работает в журнале "Дружба народов". Опубликовал книгу о "Медном всаднике" А.С.Пушкина (М., 1990). Живет в Москве.

Фрагмент статьи опубликован в журнале "Октябрь", №11, 1990.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

С начала 1991 года, с 66-го номера, "Континент" печатается в Москве. С 68-го номера там будет осуществляться уже вся техническая часть издательского процесса, начиная с набора. Московский тираж, в десятки раз больше того, которым мы до сих пор издавались, позволит стать нашими постоянными читателями тем, кто до сих пор читал "Континент" случайно либо и вовсе знал его только понаслышке. Вместо того, чтобы с оказией, рискуя конфискацией, засылать номера журнала через границу, мы можем издавать его внутри страны, для которой "Континент" в первую очередь и был предназначен. Мы издаем его в частном издательстве (кино-издательский консорциум "Аверс"), при сохранении за парижской редакцией всей полноты прав на составление и редактирование журнала.

Является ли это знаком того, что Россия и иные территории ныне распадающегося СССР обрели свободу и демократию или хотя бы твердо и неуклонно движутся по пути от социализма? Нет, пока лишь одним из предвестий. Не говоря даже о том фундаментальнейшем факте, что структуры власти остаются прежними (и без статьи 6-й компартия не желает уступить ни пяди), — следует обратить внимание хотя бы на такое привычное в былые годы нарушение прав человека, как существование политзаключенных: не с прежним размахом, но аресты продолжаются.

Не анализируя здесь всех обстоятельств, в которых живет страна, подчеркнем лишь, что наше, "Континента", принципиальное отношение к советскому "государственному и общественному строю" не изменилось, хоть и появилась возможность свободно издавать и распространять журнал на родине. Мы надеемся совместно с нашими авторами, прежними и новыми, использовать эту возможность на благо свободной литературы и независимой мысли.

"КОНТИНЕНТ"

Вадим Нечаев

ИСКУССТВО ДОРОТЕИ И РЕВЕККИ ШЕМЯКИНЫХ

Галерея Костаки расположена на одном из южных афинских холмов, откуда виден внизу весь город и висящий над ним смог. Здесь, наверху, воздух чист и слегка прохладен. Галерея занимает весь дом, и хоть стаж ее невелик, она уже известна в Афинах. Галереей руководит Лиля — старшая дочь Георгия Дионисовича Костаки — известного в прошлом коллекционера русского авангарда и организатора крупных выставок русских мастеров на Западе. Галерея занимается современным русским искусством. В этой галерее летом 1988 года экспонировались работы Ревекки и Доротеи Шемякиных, которые уже несколько лет как живут в Греции. Мне посчастливилось увидеть эту выставку.

По пути в Афины я размышлял о том, что заставило двух художниц — мать и дочь — после жизни и работы в Париже и Нью-Йорке — поселиться в Греции. Я спрашивал себя, в каком направлении развивается творчество Доротеи, еще в Ленинграде всеми признанной вундеркиндом. Ее рисунки висели в комнате Шемякина отдельно, и я помню свое впечатление от этих странных и сложных композиций, которые ничем не напоминали "детских" рисунков. Поражала зрелость мышления, четкость непрерывной линии. Вошла девочка-эльф, слегка надменная, золотистоволосая, с косящим недоверчивым взглядом. Было ясно, что она — главная фигура в семье. В том же 1969 году ее работы (кажется, это были иллюстрации к Гофману) демонстрировались на международной выставке детских рисунков в Русском музее и получили первый приз. Ей

было всего пять лет. Впоследствии, как я слышал, они вошли в коллекцию Дины Верни.

В 1971 году семья Шемякиных эмигрировала из СССР. Первыми выехали Ревекка с Доротеей. Они прибыли во Францию по приглашению Дины Верни и поселились в ее загородном доме. Дина Верни была и остается легендарной женщиной. В прошлом певица и подруга Майоля, владелица знаменитой галереи, в 70-е годы она поддерживала движение независимых художников в СССР. Она организовала первую выставку акварелей и гравюр Михаила Шемякина в Париже, выпустила превосходный каталог, выставка имела успех.

Вскоре приехал и сам художник, и семья его перебралась в Париж. Для Доротеи Шемякиной повод показать свои работы представился лишь в 1976 году на коллективной выставке современного русского искусства в Пале де Конгре. Это была самая представительная экспозиция. Она включала в себя 502 работы русских независимых художников, которых судьба уже начала разбрасывать по свету. Доротея и здесь оказалась самой молодой. Она выставила 19 композиций, выполненных в смешанной технике. Это были яркие и жизнерадостные образы. Судя по всему, Париж ей пришелся по душе. Следующие серии рисунков и акварелей Доротеи, выполненные до 1980 года, смешны и очаровательны. Это "Жизнь кошек, или Кошачья жизнь", "Египетские вариации"... Поездки в Америку и жизнь в Нью-Йорке резко изменили ее мироощущение.

С 1980 года начался ее новый период, и с тех пор, что бы она ни рисовала, сразу видно: это ее почерк, это ее воображение, это ее линия. Мир предстает в ее рисунках суровым, страшным и зачастую абсурдным. Не случайно она выполнила серию иллюстраций к новеллам Юрия Мамлеева. До этого появилась страшная серия рисунков на тему "День после катастрофы 7" . Жутью веет от ее картины "Фантом". Иллюстрации к Мамлееву напоминают позднего Гойю. Они страшнее, чем персонажи писателя. У Мамлеева есть "Небо над адом", в рисунках Доротеи, кроме беспощадной иро-

нии, насмешки над персонажами коммунального "рая", ничего нет. Есть поразительная детская память об этих нелепых монстрах и уверенная рука мастера, изобразившего их.

Персональная выставка работ Доротеи состоялась в галерее Нахамкина. 50 композиций были раскуплены в первые пять дней. Пейзажи, призраки и монстры большого города остаются ее генеральными темами. Фантастический Нью-Йорк 2000 года воплотился зримо и мощно на крохотных холстах и картонах Доротеи Шемякиной. По словам Костаки, некоторые картины Доротеи по силе изобразительности равны полотнам Олега Целкова. Костаки купил для своей коллекции три работы с выставки Доротеи. Из этого сравнения с Олегом Целковым можно предположить, что Доротею ждет хоть и славный, но трудный жизненный путь, к которому она заранее подготовилась, приобретя дополнительную профессию — каменщицы. Все близкие и друзья рассматривали это как хобби или причуду талантливой художницы, превосходно знающей европейские языки и в крайнем случае способной работать и переводчицей. На самом деле это была тяжкая плата за независимость. Доротея не хотела зависеть от коммерческих вкусов, а прежде чем ее картины начнут покупать музеи, может пройти достаточно большой срок. Но уже сегодня это зрелый и самобытный художник.

Творчество Ревекки носит совсем другой характер. Ее скульптуры и картины отличаются яркостью и декоративностью форм и линий, стилизмом, привязанностью к древним культурным корням и традициям. Ревекка родилась в Ленинграде в 1934 году, окончила здесь Таврическое художественное училище по классу скульптуры, работала чертежницей. В молодости она входила в "Орден нищенствующих художников", созданный Александром Арефьевым.

С Михаилом Шемякиным она встретилась в 1963 году, и тогда же началось их плодотворное сотрудничество. Прекрасный колорист, она помогла Шемякину в работе при создании им серии "Галантных сцен" из Петровской эпохи.

В течение долгих лет она выступала только как скульптор. Греческая мифология прочно владела ее воображением. Традиционные греческие образы богов и героев в соединении с современной техникой художника, привыкшего к деформации, к иронии по отношению к высоким темам и даже к пародийности, вызвали к жизни оригинальные и превосходно сделанные скульптуры Ревекки. Используя найденные приемы, она приступила к серии портретов современников. Одним из первых был скульптурный портрет Дины Верни, помеченный 1972 годом. Ее скульптуры: Вакх, Гермес, Ипполит, Гермафродит, Федита, Диана, Нереида, Парис — демонстрировались в Токио, под Парижем и в Нью-Йорке, в галерее Нахамкина, где в 1982 году была организована персональная выставка Ревекки с превосходно изданным цветным каталогом.

К этому времени она выработала и свой живописный стиль. Лица современников в костюмах прошлых эпох, реальность и глубина истории, смешение эстетических канонов создают неповторимый букет, имя которому — Ревекка. Даже не видя ее заглавной буквы "R", которой она подписывает свои картины и акварели, я тотчас узнаю ее стиль, ее авторство. Она смело использует в картинах декоративные элементы, излюбленные скульпторами Древней Эллады, что заметно в таких ее работах, как "Пан", "Вода", "Ипполит", с их длинными стреловидными глазами. Нечто подобное я видел только на росписях греческих дворцов, созданных за полторы тысячи лет до Рождества Христова. В поисках источников вдохновения Ревекка предпринимает длительные экспедиции в Петровскую эпоху, во французский XVIII век, создавший превосходную лучезарную живопись, и в древнюю Японию.

Последние годы каждое лето две художницы проводят на острове Гидра, который расположен примерно в двух часах ходу на местном пароходе от Афин. Именно здесь Доротея строит дома, а Ревекка пишет картины и нередко портреты заезжих богачей, проводящих здесь неделю-другую в своих виллах или у сво-

их друзей. Портреты Ревекки пользуются большим успехом.

Недавно я предрек ей громкую известность в недалеком будущем. Ибо она создала свой собственный мир с прелестными женскими лицами, причудливыми нарядами, мифологическими сюжетами, столь необычный в век поп-арта и концепта. Предсказание мое начало сбываться. На международной художественной выставке "Арт-экспо" работы Ревекки Шемякиной были замечены критикой, и две ее акварели были куплены по 9 тысяч долларов за каждую. Судьба Ревекки напоминает мне жизнь Мари Лорансен, чей талант был признан не сразу, поскольку она была подругой слишком знаменитых поэтов и художников. Теперь же в Японии создан ее персональный музей, и популярность ее растет с каждым годом.

Летом 1990 года совместная выставка двух художниц с успехом прошла в центре Парижа.

(Подпись к фото на 4-й стр. обложки:
Ревекка Шемякина. "Персей". Масло, 1х0,8м)

Вниманию читателей немецкого "Континента"

Издание "Континента" на немецком языке с самого начала было задумано покойным Акселем Шпрингером как немецкий вариант русского "Континента" (хотя и не полный перевод его с учетом специфики читателей в Германии). В 1977 году, когда встал вопрос о смене немецкого редактора, главный редактор "Континента" предложил г-ну Шпрингеру назначить на этот пост члена нашей редколлегии Корнелию Герстенмайер. Устно с ней были оговорены условия будущего сотрудничества, по которым немецкое издание обязано было помещать не менее 50% материалов из основного, русского издания "Континента". И действительно, в течение ряда лет это условие выполнялось.

К сожалению, чем дальше, тем меньше немецкий "Континент" напоминал свой русский прообраз, особенно отойдя от него в последние годы во времена "гласности" и "перестройки". В целом ряде последних номеров нет уже и следа связи немецкого "Континента" с журналом, давшим ему название и, собственно, породившим его.

Дошло до того, что, когда наш журнал оказался в трудном, почти катастрофическом положении, главный редактор немецкого "Континента", как мы считали, наш друг и естественная союзница, отказалась поместить призыв в поддержку "Континента", подписанный Иосифом Бродским, Милованом Джиласом, Эженом Ионеско, Чеславом Милошем и ныне покойным Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Эта горькая капля переполнила чашу, и мы вынуждены заявить следующее.

Согласно полученным нами разъяснениям, юридические тонкости издательского контракта не позволяют нам добиваться снятия нашего названия с обложки немецкого "Континента". Однако мы хотели бы предупредить всех, кто продолжает верить в близкое родство двух изданий: ныне выходящий немецкий "Континент" не имеет к нам никакого отношения, мы не несем ответственности ни за его политическую линию, ни за его литературные вкусы.

Редакция журнала "Континент"

Тамара Грум-Гржимайло

ВСТРЕЧА НАВСЕГДА

Невероятно трудно представить себя гостем величайшего музыканта всея земли, да еще в дни, когда болезнь вынуждает его ограничивать контакты. Трудно представить, что он сам встретит тебя в коридоре своей московской квартиры и, торопливо извиняясь за то, что не может помочь снять пальто (болит рука!), пригласит в кабинет. И ты, еще не веря в реальность этой большой комнаты, освещенной мягким вечерним светом, покорно отдаешься его трогательным заботам. А он все пытается усадить тебя в "главное" кресло у стола, сам же пристраивается где-то сбоку... И тут ты наконец приходишь в себя! И начинаешь спорить, настаивать, требовать, чтобы сам хозяин занял "главное" место. Он же упорно сопротивляется. Сцена затягивается, приобретая черты чистейшей гоголиады.

— Я и так здесь долго засиживаюсь, понимаете ли, — бросает он беглой скороговоркой, усаживаясь-таки в кресло, а поймав взгляд гостьи, брошенный на рояль, прибавляет тоном ниже, словно про себя: — Играть-то уже не могу...

И вот он наконец перед тобой, великий диктатор и властелин музыкальной вселенной, восседающий за необъятным, безукоризненно прибранным столом! Ни одного лишнего предмета в его окружении. Никаких признаков поспешно прерванной работы или отложенных занятий. Ни листа бумаги или элементарной газеты. Ничего. Только он — и чистое поле письменного стола. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, излучающий могучую ауру клокочущего в нем мира...

Как же это случилось, что я очутилась у него в гостях? Мы ведь, в сущности, не были знакомы, хотя встречались мельком то в концертах, то за кулисами, когда я заходила его поздравить. Я никогда не пыталась приблизиться к Шостаковичу, ну хотя бы с ба-

нальной целью обретения "интервью". Сама мысль об этом казалась мне кощунственной. Не потому, что пугали "огромные жернова" интеллекта композитора, о которых чуть ли не с мистическим трепетом мне рассказывал Ростропович. И не потому, что останавливало предчувствие какой-то дискомфортности общения, психологического барьера, "странного отчуждения", о котором писала Галина Серебрякова, вспоминая свои встречи с молодым Шостаковичем. Нет, дело было совершенно в другом. Чем больше слушала я музыку Шостаковича, чем дальше и выше поднимался он, создавая свои последние шедевры, тем меньше оставалось "трудных" вопросов, на которые бы творчество Мастера не проливало свет. Все недосказанное, недодуманное, не объясненное на бытовом языке казалось мизерной суетой сует — в сравнении с тем, что уже выражено, объято и приподнято бесконечно высоко над обыденностью гениальным музыкальным видением Дмитрия Шостаковича.

Стоял февраль 1970 года. И прошло уже четыре месяца с тех пор, как впервые в Большом зале Московской консерватории была исполнена Четырнадцатая симфония. Между тем столичная пресса молчала. Кроме краткой информации о состоявшейся премьере, не было опубликовано еще ни единой строчки, где бы дана была оценка новой симфонии Шостаковича. Что означала сия фигура умолчания — было абсолютно ясно. Непривычку вслух размышлять, а тем паче писать о трагическом. Ведь Шостакович сочинил симфонию о смерти. Да-да, одиннадцать симфонических песен о смерти на стихи Лорки, Аполлинера, Рильке, Кюхельбекера. Это был подлинный шок. В канун столетия со дня рождения В.И.Ленина от Шостаковича ждали совсем другой симфонии. Но композитор, как известно, был непредсказуем и... неуправляем. Он давно разошелся с официальным "календарем". Время стояло холодное. Страну стали покидать писатели, художники, музыканты. Начались политические суды над инакомыслящими. В жизнь входило ранее не известное слово "диссидент", "узник совести". Как говорил писатель

Василий Аксенов, к концу 60-х годов мы из "рассерженных" уже превратились в "обожженных".

Свою Четырнадцатую симфонию писал "обожженный", глубоко страдающий Дмитрий Шостакович. Может быть, он уже не очень рассчитывал дожить до Пятнадцатой.

Итак, поэт и вечность. Человек и смерть... Шостакович не мог не подойти к этой глобальной теме жизни и искусства, составлявшей предмет размышлений и творчества величайших художников всех времен. Но подошел к ней, не повторив ни одного из своих музыкальных предшественников, будь то Лист или Чайковский, Мусоргский или Рахманинов. "Я полемизирую с классиками!" — говорил композитор перед прослушиванием симфонии.

Да, на сей раз в основу замысла симфонии была положена концепция самой жизни человека как феномена природы. Та концепция, которая несет уже в самой себе естественный, непримиримый конфликт: бесконечен круг стремлений и проявлений человека, но ограничена, конечна жизнь его. И, как подлинный трагик современности, Шостакович ставит человека лицом к лицу со смертью лишь для того, чтобы защитить жизнь и ее сокровища, сделать обличение смерти проповедью жизни.

В его трактовке смерти не было ни игры в презрение к ней, ни мистического ужаса или любопытства (что отмечал, например, академик Асафьев в "Пиковой даме" Чайковского), ни элементов фатализма (что свойственно было, скажем, Листу или Рахманинову), ни даже художественной условности, метафоричности (к которым прибегал вдохновитель Шостаковича — Мусоргский в своих "Песнях и плясках смерти"). В его музыке были ненависть и скорбь, обезоруживающая честность и мудрый материализм, которыми отличались суждения старых философов и моралистов Вольтера и Ларошфуко.

Но вот парадокс: когда я слушала Четырнадцатую, мне чудилось, что музыка симфонии полемизирует не

только с классиками, но где-то и со своей литературной основой. Музыка Шостаковича, в моем ощущении, была ярче, светлей, активней, объемней звучащих слов. В ней слышались и гимны свободе, и философские скорби, и интонации жанровых сцен, "театрализующих" симфоническое действо, и, главное, — яростно протестующие, обличительные ноты, вечные спутники творчества Шостаковича и нашей любви к нему. И оттого так нещадно хлещет оркестр в балладе о легендарной Лорелее, рисуя жестокого и фанатичного епископа и его солдат — гонителей любви и красоты. Оттого так гротескно-экспрессивен ритмический фон войны в картине гибели "маленького солдата". Ну и, конечно, в "Ответе запорожских казаков константинопольскому султану" — центре гнева симфонии, где в музыке — шквал обличительных страстей, неукротимая вольница бичующего народного юмора...

Концепцию симфонии завершает особая "пушкинская" атмосфера чувствований и приятий жизни и ее трагических коллизий. Ощущение это приходит не только со звучанием в симфонии имен и стихов пушкинской поры — прекрасного послания друга Пушкина Кюхельбекера к их общему другу-поэту Дельвигу ("О, Дельвиг, Дельвиг!"). Ощущение это усиливается картиной смерти поэта на стихи Рильке, прямо ассоциирующейся с поэтической эпитафией на смерть Пушкина, начертанной лермонтовской рукой. Мысль о благородной миссии высокого искусства, всегда противостоящего злу, тиранству и самой смерти, смягчает картины бессмысленных смертей и безымянных могил ("Три лилии, три лилии"). А надежда на "бессмертие союза любимцев вечных муз" бросает луч светлого катарсиса на холодные гробницы финала симфонии...

Издревле творит трагедия свой парадокс над людьми, посылая им два противоположных эмоциональных потока — скорбь и радость. Творит "наслаждение" страданием. Потому что, показывая человека в беспощадной схватке с враждебными ему силами, трагедия будит сострадание и светлое, укрепляющее волю

чувство, которое после Аристотелевой "Поэтики" известно под названием "катарсиса" (очищение).

Четырнадцатая симфония — может быть, самая беспощадная и мужественная из трагедий Шостаковича. Но пафос скорби и пафос обличения и просветления, сливаясь в единый поэтический поток, несут атмосферу того мудрого приговора, который великий поэт и философ Гете однажды выразил словами: "Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизнь и свободу заслужил".

Так или примерно так размышляла я и писала о Четырнадцатой симфонии в те памятные дни рубежа 60 —70-х годов. И первая моя статья "Композитор перед вечной темой" была опубликована в Вестнике АПН "Культура и искусство" 22 октября 1969 года и вскоре перепечатана французским "Journal musical francais" и другими зарубежными журналами и газетами. Однако вторая статья о новой симфонии Шостаковича, написанная для "Комсомольской правды", лежала без движения...

Трудно сказать, как сложилась бы судьба этой второй статьи, если бы не энергичная деятельность Олега Тимофеевича Иванова, возглавлявшего в те годы редакцию литературы и искусства в газете. Человек большой культуры и острого смелого ума, он как никто (так мне казалось) понимал всю нелепость и неестественность складывающейся атмосферы молчания вокруг симфонии Шостаковича. "Молчание — это не выход, — говорил он. — А вы попробуйте объяснить сложное в искусстве, да так, чтобы тебя поняли и тебе поверили. Для молодежи в моменты восприятия нового — очень важно доказательное слово критика-искусствоведа". Мы долго обсуждали и редактировали статью. Очень долго и настойчиво боролся Иванов за ее публикацию. И наконец это удалось. 11 февраля 1970 года под заголовком "Вечная, как само искусство" моя статья была опубликована "Комсомольской правдой". Ей был предпослан красноречивый эпиграф: "Творить — значит убивать смерть". Ромен Роллан...

Между прочим, следующая статья о Четырнадцатой, написанная Мариэттой Шагинян, была опубликована в "Литературной газете" только 25 марта...

И случилось непредвиденное. Спустя несколько дней после выхода статьи, а точнее, 16 февраля, мне позвонил Максим Шостакович и передал, что завтра, то есть 17-го, композитор может принять меня, если мне удобно, в 17 часов, на своей московской квартире. Зная, как серьезно был тогда уже болен Дмитрий Дмитриевич, помнится, я ужаснулась. До сих пор не понимаю, что побудило его пойти на эту встречу: удивительное ли его внимание к людям, порой даже очень ему далеким; стремление ли поощрить журналиста, свершившего свой маленький "подвиг" (впрочем, нет-нет, такое трудно представить!), или обыкновенное любопытство к личности, так неожиданно возникшей на обозримом горизонте. Скорее всего ни то ни другое, ни третье, а что-то такое, о чем я никогда уже, к сожалению, не узнаю. Только была во всей этой истории какая-то болезненная нота, натяжка, дискомфорт и странное двойственное ощущение необязательности и в то же время неизбежности того, что должно было произойти.

С трепетом и дико падающим куда-то вниз сердцем поднималась я в лифте на седьмой этаж в квартиру Шостаковича на улице Неждановой. И все заглядывала в свой журналистский блокнот, где под датой 17 февраля были уже написаны какие-то тезисы, вопросы, наброски. Ах, Боже мой, все это было не то, все это было нелепо и в высшей степени несущественно в сравнении с тем, что мне предстояло просто поговорить с великим человеком, увидеть близко его глаза, ощутить движение его мысли.

Вот что предшествовало этой "гоголевской" сцене вокруг кресла.

А теперь мы уже сидим чуть успокоенные друг против друга, и кто-то из нас должен "начинать". И вдруг я, к ужасу своему, ощущаю, что не могу вымолвить ни единого слова, потому что от него идет ко мне какая-то жгучая волна недовольства собой, чувства

преждевременной вины за несовершенство еще не сказанных слов, еще не сделанных жестов и движений. И он ужасно нервничает, как-то замыкается, отворачивается, нетерпеливо потирает руки, словно сердится, предчувствуя, сколько будет сказано "бесполезных" слов. Домашние туфли то и дело спадают с его беспокойных ног; и он вдруг резко нагибается всем корпусом, чтобы обеими руками еще и еще раз водрузить их на место. Борьба с туфлями, однако, затягивается. И чтобы, по-видимому, компенсировать эту неудачу, он вдруг набрасывается на меня, прерывая наконец молчание и неловкость самым неподражаемым образом:

— Что это у вас? Блокнот? Пожалуйста, закройте его и спрячьте подальше. Надеюсь, у нас не интервью. Вся эта писанина, все интервью — никчемное дело. Вон сколько их напечатано, а что толку? Читаешь потом — совсем не те слова. Выбросить все это нужно. В корзинку! В корзинку! На свалку!..

И делает уничтожающе-сердитый жест рукой, отбрасывающей НЕЧТО. А потом вдруг, смягчившись несколько, говорит:

— Я понимаю, конечно, что вы пришли ко мне не для того, чтобы поговорить о... хозяйстве. — И что-то вроде лукавой усмешки проходит по его лицу. — Но, понимаете ли, с тех пор, как в 1948 году меня уволили и я перестал преподавать в консерватории, я постепенно разучился говорить о музыке. Да и разве расскажешь о самом сокровенном?..

На какой-то миг в его голосе проскальзывает интонация мягкая, детски беззащитная, даже растерянная. Но через секунду он уже бросает сердитую реплику, сверкающую, точно лезвие на солнце:

— О музыке, как о любовнице, не станешь распространяться! Не станешь, понимаете ли...

О! какое чудо — "сердитый" Шостакович! Весь он тут со своей музыкой, где хлесткость, раздевающая прямолинейность, отсутствие игры в красивость, угодливой боязни не понравиться — оборачивается целой системой художественных средств. Трагедия и сатира-

гротеск — вот они, рядом. Оказывается, свежи у него раны 1948 года, воспоминания о гонениях на космополитов и "формалистов-какофонистов" после пресловутого постановления ЦК ВКП(б) о музыке. Свежи, никогда не зарастали и не зарастут. Но, как поется в Тринадцатой симфонии на слова Евтушенко, "хотели юмор убить, а он показывал кукиш!". Сердитый и озорной, страдающий и обличающий, Шостакович — композитор и человек — это одно лицо, одна-единственная всеобъемлющая личность. Только в нем уживаются рядом, составляя причудливый комплекс, доброта и беспощадность, непреклонный фанатизм и полудетская застенчивость, скорбная мина трагика и сатирическая гримаса фельетониста. Пожалуй, лишь у Шекспира так близко смыкались великое и смешное, трагедия и фарс.

Но Шостакович не любит высокопарных слов. Я чувствую это теперь здесь, с ним рядом, совершенно отчетливо. И начинаю почему-то думать, что моя статья о симфонии могла ему не понравиться, как могут не нравиться вообще всякие слова о музыке...

И все же разговор о "музыке-любовнице" каким-то образом сложился. На что он был похож? На рассеянную светскую беседу или дискуссионный клуб? На доверительные контакты или тайную дуэль, где бой идет, как говорится, до выяснения группы крови? Всего здесь было понемногу за этот час, что был отведен нам судьбой. Но более всего наш разговор напоминал хитроумную и, если хотите, увлекательную игру в тесты, которая тогда входила в моду. Кто ты есть? А ты кто? А ну-ка не выдумывай себя.

Что и говорить, мы были не в равных условиях. И все-таки Дмитрий Дмитриевич, несмотря на тщательно скрываемую угнетенность состояния, проявил "резвость" характера и определенный интерес и к предмету разговора, и к личности собеседника. Спрашивала не только я, но и он. А речь шла главным образом о вкусах и пристрастиях, о музыке современной и прошедших веков, о "влиятельных" фигурах композиторов-классиков, чья музыка не "застывает" и продолжа-

ет развиваться в наши дни. А в самом деле, не умер ли для современных композиторов-новаторов XIX романтический век?

— Да нет же, это все ерунда, что умер XIX век! — воскликнул Шостакович. — Он весь жив, как живы и XVIII, и XVII и даже XVI век.

А потом, без всякого перехода, вдруг спросил:

— Вы любите Даргомыжского?

— А вы кого любите?

И он, забавляясь этой детской игрой, повторил ставшую уже хрестоматийной фразу: "Я эклектик; люблю всю музыку от Баха до Оффенбаха!" И еще раз повторил: "От Баха до Оффенбаха!" — с упрямой рьяностью давно заученного школьного урока.

Ну, кто не знает об этой замечательной "всеядности" Дмитрия Дмитриевича, созданной им самим для сокрытия своих очень четких, стойких и дифференцированных пристрастий? Никогда он не любил, например, ни Скрябина, ни Дебюсси, и, что очень жаль, не любил Рахманинова, особенно его фортепьянные концерты. И я натолкнулась на этот парадокс в нашей беседе, когда речь зашла о самых "живых" композиторах-классиках, бурно "прорастающих" в музыке новых поколений. Ведь как возрождается на наших глазах, например, Моцарт!

— Но кто мертвым родился, тот уж не возродится,— буркнул Шостакович и тут же умолк, загадочно блеснув очками.

Но стоило мне только упомянуть имя Рахманинова, как он вскинулся:

— Вот уж кто никогда особенно не влиял — ни раньше, ни теперь. У него, правда, есть хорошие романсы — "Сирень", например... А фортепьянных его концертов я слышать не могу!"

И стал сердито вновь напяливать на ноги спадающие штпанцы.

Тут мы чуть не поссорились. И, позволив себе вслух с ним не согласиться, я осмелела достаточно,

чтобы прокурорски вопросить: "Кто ваши духовные отцы, Дмитрий Дмитриевич?"

А он злился, и упрямился, и торопливой скороговоркой повторял свое излюбленное: "Я эклектик. И на меня оказывали влияние решительно все!"

И только когда я все-таки уточнила": "Ну, а если обратиться к самым юным временам?" — он на секунду задумался, а потом сказал твердо:

— Соллертинский. Иван Иванович Соллертинский. Он сформировал мое мировоззрение. Сейчас у нас его почти забыли. Мало что сохранилось из его наследия. Некоторые теперь изображают его эдаким забавным рассказчиком-анекдотчиком. Мне это не нравится. Да, Соллертинский был музыкальным эрудитом, в основном устного дара. Но дара — гениального!

Меня поразила эта огромная тирада о друге-музыковеде — свидетельство глубоких и неизменных чувств композитора. И в памяти моей возникло острое воспоминание военных лет, когда в Новосибирске, в день премьеры Восьмой симфонии Шостаковича, нам, девчонкам-шестиклассницам, довелось услышать пламенное слово Ивана Ивановича о музыке Шостаковича, о его новом симфонизме, о праве художника на трагедию. Я рассказала об этом давнем единственном впечатлении Дмитрию Дмитриевичу и видела, как нарастает его волнение. Ведь в момент неожиданной смерти Соллертинского Шостакович жил в Москве и был совершенно сражен долетевшим из Сибири известием. И вскоре принялся за создание Трио памяти И.И.Соллертинского...

— А какую статью написал он об Оффенбахе! — вдруг добавил он мечтательно.

Мне показалось, разговор о Соллертинском растопил ледок отчужденности настолько, чтобы не бояться более ни острых слов, ни нелепых вопросов, ни резкого неприятия или несогласия. И наш диспут вступил в самый горячий круг. Речь зашла о творчестве молодых композиторов и их увлеченности новыми техническими системами. Я неосторожно упомянула о музыке

"ортодоксальной" и о музыке "авангардной", позабыв совершенно о жгучей ненависти Шостаковича ко всякого рода теоретической терминологии. Боже, что тут началось!

— Ортодоксальная музыка? Я такой не знаю! — кричит он, яростно потирая руки. — Авангард? — почти взвизгивает он. — Опять же, что это такое? Если то, что принято считать "авангардом" на Западе, то в большинстве случаев это ужасная гадость (так и сказал с каким-то присвистом: "гадосссть"!). Если же говорить о нашем "авангарде", то опять-таки я не вижу никакого авангарда, а вижу сочинения хорошие и плохие.

Мы начинаем перебирать имена молодых композиторов: "нравится" — "не нравится", "плохой" — "хороший". И чем дальше, тем более становится ясно, как совестлив и человеколюбив добрый Дмитрий Дмитриевич, как ему ужасно не хочется кого-нибудь обидеть, о ком-то забыть упомянуть. Нет, лучше не заставляйте его перечислять всех композиторов, которых он любит, все новые произведения, которые ему понравились. "Список получится огромный!" — предупреждает он.

Но я уже знаю, что стоит только как бы невзначай натолкнуть Шостаковича на импонирующее ему явление, как он сам начинает говорить увлеченно, не опасаясь излишним вниманием, так сказать, возвеличить ту или иную фигуру. Нужно только найти предмет.

И предмет находится. А вернее будет сказать: он рождается как бы из механического перечисления. Вот он перечисляет фамилии интересных, с его точки зрения, молодых композиторов. Здесь и Борис Чайковский, и Сергей Слонимский, и Борис Тищенко, и Альфред Шнитке, и Родион Щедрин...

И вдруг — остановка. И вопрос:

— Вот вы говорите — "авангард"! А что такое, к примеру, Родион Щедрин? Авангард или не авангард? Но какое это имеет значение?

И, довольный возникновением этой пленительной фигуры, он продолжает увлеченно:

— Это очень талантливый композитор. Все его последние сочинения замечательны. И Вторая симфония, и Второй фортепьянный концерт, и великолепная "Кармен-сюита", и "Поэтория", и, наконец, самое последнее сочинение — оратория "Ленин в сердце народном". Из-за болезни я не смог пойти в концерт, но дважды слушал ее в записи. Замечательное сочинение.

Я спрашиваю моего собеседника, как он относится к своеобразному тексту оратории, где использованы, помимо известного плача о Ленине народной сказительницы М.С.Крюковой, воспоминания бывшего латышского стрелка Бельмаса и какой-то фабричной работницы Наторовой. Нет ли в длинном умилительном рассказе о пуговице, пришитой рукой простой работницы к ленинскому пальто, некоторой передержки, "заземления" образа?

— Может быть, мера слегка и нарушена, — задумывается Дмитрий Дмитриевич, но вдруг снова оживляется, вскидывается, словно натолкнувшись на искомую поправку. — Но знаете что? Не имеет значения, что речь идет о каких-то мелких бытовых подробностях. Вы читали когда-нибудь рассказы Зощенко о Ленине? Удивительные вещи! Рассказывается, казалось бы, о пустяках: как Ленин ходил в парикмахерскую, как плавал в озере, как пил чай и разговаривал с печником... Вот почитайте, почитайте еще раз! И вы увидите, что образ при этом не принижается, а, напротив, возвеличивается!

И каким-то особенно театральным движением рук, словно поднимая кверху и раскрывая тяжелый фолиант, мой собеседник зримо завершает свою мысль.

Этот жест я никогда не забуду. Он воплощает в моем представлении удивительную цельность и последовательность этого человека, сумевшего несмотря ни на что, сохранить верность избранным еще в юности идеалам. И не только сохранить, но и продлить диалог с ними через десятилетия.

Ленин, Зощенко, Соллертинский... Нет, не случайно возник этот ряд в нашем разговоре. И не ради ка-

кой-нибудь демократичности ли красного словца к праздничку. Все это был мир Шостаковича и его жизнь, которую он привык всегда в себе нести — всю — целиком, ничего не теряя[1].

Об этом, к слову сказать, поведала вскоре всему миру его последняя, Пятнадцатая симфония, каждый элемент, каждый штрих которой имеет свою генеалогию в прежнем симфонизме Шостаковича. Вся эта поразительно автобиографическая музыка десятками тематических "пуповин" и композиционных приемов связана с изначальным революционным творчеством Шостаковича. А тема марша-нашествия из Седьмой симфонии, становящаяся постоянным ритмом контрабасов и литавр финала, звучит и в самых последних тактах коды — как дальний гул Земли, как последний "автограф" Шостаковича, растворяющийся в волшебных небесных звонах и улетающий навстречу вечному свету. А пленительная, точно парящая в высоте, светящаяся нежностью и чистотой мелодия скрипок из финала Пятнадцатой, эта тема красоты жизни — не родная ли она сестра поэтическому "послесловию" Тринадцатой?.. И даже цитаты из произведений Россини и Вагнера при внимательном анализе обнаруживают свое раннее происхождение в фактуре Первой и Шестой симфоний!

Нет, ни одной мысли, ни одной художественной находки, ни одной детали ритма, композиции, инструментовки не утратил на своем многотрудном пути Дмитрий Шостакович и лишь обрел в конце его высшее чувство гармонии, чувство Космоса, соединяющих навсегда Человека, Судьбу, Эпоху, становящихся единой Историей.

...Дмитрий Дмитриевич сам провожал меня в коридоре. И снова смущенно извинялся за больные руки.

---

1 Думаем, что даже если разговор автора воспоминаний с композитором записан точно, интерпретация "мира Шостаковича" "революционного", с Лениным как однозначно чтимым элементом выглядит несколько наивной.— Ред.

— Вы идете теперь в Большой зал? Слушать новый скрипичный концерт Цинцадзе? Прекрасный композитор. Завидую вам...

И, уже закрывая за мной дверь, вдруг вспомнил почему-то, что еще может мне чем-то помочь. И выглянув еще на один миг, с ребячливой светлой улыбкой сказал: "Не забудьте нажать вон ту кнопку — и к вам приедет лифт..."

Я шла к улице Герцена, к Большому залу консерватории. Сердце билось где-то в висках. И в душу входило какое-то новое предощущение будущего, в котором не могло не быть Шостаковича и где жизненный и художнический подвиг его будет переосмыслен.

ГРУМ-ГРЖИМАЙЛО Тамара Николаевна родилась в Харькове. Закончила Московскую государственную консерваторию в 1953 году и аспирантуру Музыкально-педагогического института им.Гнесиных в 1959 году. Известный музыкальный критик и журналист, автор девяти книг и свыше 500 статей в центральной прессе СССР.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ПЕРЕГУДОВ Виктор. Великие сосны. Рассказы. М., "Молодая гвардия", 1990.

ПОМОЩЬ. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. (1921. 1—3). Переиздание. Со вступит. статьей Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991.

ХАЙБРОНЕР Роберт, ТАРОУ Лесли. Экономика для всех. Пер. с англ. Сима Векслер и Руфь Зеронова. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991.

Леонид Бахнов

"МЫ" и "ОНИ"

Тамиздат издается тут.
Заметки советского человека

Есть у нас такие особенные слова — газетчики любят называть их "ключевые". Любой поворот партийной линии, всякая новая установка на протяжении всей советской истории сопровождалась появлением этих самых ключевых слов.

В середине 70-х годов выползло прежде весьма употребляемое, но притаившееся до поры "распознавать" — выползло и уставилось своими тусклыми, немигающими глазами: кто тут меня не помнит?.. "Пятилетка СТУкачества", — определил один мой приятель.

Будучи, как правило, достаточно невнятными по своему прямому смыслу (приведенный пример, пожалуй, исключение), они, эти ключевые слова, мгновенно наливались смыслом иным — государственным. И обращаться к ним следовало не иначе, как к представителям власти."Человеческий фактор" — поди без поллитра разбери — что оно такое! Однако же — разбирали. Традиционный вразумляющий напиток, сей российский магический кристалл заменяло десятилетиями натренированное идеологическое чутье. "Ключевые слова" — они и впрямь были ключевыми: ключом к установке. Подсказывали не только то, что сейчас нужно, но и пределы, до каких можно.

Для творческой интеллигенции последнее, понятно, важнее всего.

Откуда они брались, кто их автор — остается великой тайной.

Впрочем, отчего же? Например, ключевое слово к нынешней эпохе я же сам и нашел.

А вышло так. Работал я в редакции одного литературно-критического журнала. Работал, работал и както упустил начало новых времен. Сижу, думаю, не слишком ли это смело будет, если слова "негативные явления" я оставлю как они есть, без кавычек? Или все-таки закавычить? С кавычками — на все сто проскочит. А не закавычишь — не только "явления", а весь абзац запросто полетит. А может — не полетит, обойдется? Так и не разрешив сомнений, иду на очередной "Критический дневник" в ЦДЛ, а там хоть со стула падай: "...и вот теперь наконец мы можем сказать правду еще об одном культе личности — Брежнева!" Ну и ну! Только никто почему-то не падает, сосед мой рукопись просматривает, ставит галочки на полях. А говорит, между прочим, не какой-нибудь там — старейшина цеха, динозавр, ветеран соцреализма...

Оказывается, только что прошел Апрельский пленум, на который я, по привычке, не обратил внимания.

Вскоре после этого меня зовет начальство. Подъезжает издалека, вернее, сбоку: броня крепка и танки наши быстры, только вот нечем открывать номер. И — вообще, давненько у нас не выступали крупные партийные лица, секретарь обкома, например. Сам он, конечно, писать не станет, но сделайте, что получится, хоть статью, хоть беседу.

Что тут скажешь? Конечно, сделалось мне тоскливо — до сей поры как-то удавалось не запятнать своего имени прикосновением к этому (не скрою — гордился. Все мы тогда гордились своим как бы неучастием). Начал тупо отбрехиваться: партработники — это не по моей части, вы же знаете, вот если бы писатель... Так он как раз и есть писатель. Первый секретарь, член ЦК, специалист по безотвальной вспашке и — писатель. К тому же, по секрету, за Черниченко вступился, Стреляного поддержал...

Ну тут я, конечно, размяк — раз Стреляный и Черниченко. Еду. Собеседник мой, вопреки ожиданиям, оказался человеком высокого роста, худощавым, с умными, но какими-то замороженными глазами. Беседа длилась обескураживающе недолго: минут пять семь. О Черниченко сказал, что ценит его работы, но (решил, наверно, что я его стану просить заступиться, поскольку у Черниченко после очередной статьи были очередные неприятности) своего мнения сейчас высказать не может. "Понимаете, раз там так думают..."

В Москву я вернулся нагруженный книгами руководящего солдата партии — о жизни, о работе с массами, о трудных путях внедрения новой, прогрессивной технологии. Судя по тому, как часто мелькали фамилии высочайшего руководства, автор был калачом, идеологически тертым. А в последней, самой толстой, книге — вначале шли похвалы Андропову, а в конце — Черненко, видать, сдавалась при одном генсеке, а версталась при другом... Но было в этих книгах и что-то такое... человеческое, что позволяло предположить, будто написаны они, ну, не совсем заскорузлым ортодоксом. Из чего я сделал вывод, что могу вложить в уста своего воображаемого (а что вообще в этой "беседе" были и "он" и "я", как не плод воображения?) собеседника кое-какие смелые заявления. Так, чтобы они выглядели и острыми, и солидными, и не противоречащими основам.

И вот тут началась обычная головоломка. Как назвать то, к чему то ли он, то ли я призываем? Вот эти вот "назревшие перемены"? Революция? Нет, революция была в 17-м году, новая — это уже контрреволюция. Поворот? Но — к чему? Переворот? Избави Боже! Перековка? Отдает Беломорканалом! Но все-таки — пере... пере... пере...

ПЕРЕСТРОЙКА!!!

Своим умом дошел, без подсказки. И когда — очень скоро — это слово замелькало и тут и там, я почувствовал... Что я почувствовал? Не то чтобы гордость... а все-таки — да, тоже гордость сопричастности. Вот только — к чему?

Однако зачем это я — начал с того, о чем нормальному человеку и вспоминать-то стыдно? И — какое это имеет отношение?..

Рассказанное мной происходило в 85-м году.

Эмигрантов — я имею в виду "третью волну" — начали печатать с конца 87-го.

Прогрессивной частью интеллигенции это было воспринято с восторгом. Вдруг разнесся слух, будто "Новый мир" будет печатать Бродского. В это трудно было поверить. Даже когда журнал уже был в руках — не верилось. Лично я, читая подборку, не смог удержаться и вновь осмотрел титульный лист. Все правильно: "Новый мир", орган Союза писателей СССР... Пообсуждав событие, многие сошлись на том, что эта акция скорее всего не более, чем игры с Нобелевским комитетом и общественным мнением Запада. Больше никого "из них" на страницы наших журналов не пустят. Ведь недаром тот же Залыгин только что дал "отлуп" Войновичу, предложившему "Новому миру" напечатать свои произведения, и — ясно — не мог поступить иначе: Войнович — это было практически общее мнение — ведет нечестную игру, потому что требует неосуществимого.

В это время перестройка уже называлась революционной. Была ли то лесть перестройке или же намордник на революцию — об этом, опять же, каждый мог судить в меру своего идеологического чутья. Но еще в ходу было определение "белые пятна" — это обозначало то, что давным-давно известно на Западе (а многим и у нас) и что (считалось) лишь сейчас — впервые! — открывает для себя (и для нас) родная Советская власть. Так, например, все отечественные почитатели Мандельштама до сих пор, конечно же, должны были пребывать в уверенности, будто поэт оказался в Воронеже в силу того, что "трудно сложились его житейские обстоятельства". Оказывается, нет, не так было дело — это Сталин его туда сослал! И он не просто "ушел из жизни", а — по этапу. А еще — после него, как стало известно по вновь открывшимся обстоятельствам, долго жила вдова, мужественная женщина, ос-

тавившая после себя кое-какие воспоминания. (Показательно, что в первое время в наших публикациях отсутствовали ссылки на Тамиздат. Все сведения к советскому человеку должны были приходить только из светлого источника — то есть отсюда. Монопольным правом на владение истиной — в том числе и на ее открытие — для нас по-прежнему должна была обладать только партия. И средства массовой информации первое время охотно ей в этом подыгрывали.)

И в большой моде был новый оксюморон: "социалистический плюрализм".

Бродский. А вскоре — вечер памяти Галича в Доме архитектора.

Народ, толчея, не пробиться. Пробился. Фотопортреты — на стенах, на сцене. Голос, которому сам Бог наказал — прорываться сквозь магнитофонные хрипы, глушилки; слова, столько лет бывшие паролем, знаком тайного единения: "Облака плывут, облака..." Как-то странно все это слышать, усиленное динамиком и среди такого количества людей. Обвинения — Брежневу, Суслову, КГБ, Союзу писателей. И — никто не обрывает, напротив, чем дальше, тем смелее делаются речи, громче аплодисменты. Да наяву ли все это? Вон уже и Евтушенко на сцене, посверкивая бриллиантом, рассказывает сдобную историю, как Галич приехал к умирающей и почти не известной ему женщине в больницу петь свои песни, признается, что все эти годы продолжал любить Галича, а пуще всего — его песню "Мы похоронены где-то под Нарвой"...

"Патриотизм", "совесть", "гражданственность" — эти слова звучали в каждом выступлении. Да, Галича травили, оклеветали, вышвырнули. Но! он не был антисоветским поэтом, он был гражданином и патриотом.

Патриотом — да, но чего: родины или советской власти?

Произнеси тогда этот вопрос — на тебя бы такое обрушилось: стукач! провокатор!!!

За вечером последовали подборки. Процесс вынюривания имен продолжался. Некрасов. Коржавин. Ко-

пелев. Войнович. Владимов. Аксенов... И каждое было как бы рубежом, как бы следующей отвоеванной точкой. (Так же воспринималось и "возвращение" "здешних" и эмигрантов "первой волны".) Как, значит, уже и это можно? и это? и "Чонкина"? и "Руслана"? и "Окаянные дни"? (и Шаламова? и Чуковскую? и Домбровского? и полного "Сандро из Чегема"?) И — неужели без купюр? Первым делом бросались искать купюры. Нередко находили. Воспринимали, в общем, как должное. И лишь совсем недавно стали говорить о них печатно (см., например, статью А.Василевского о публикациях "Окаянных дней" — "Разорение Ш". — "Новый мир", 1990, №2).

Была ли радость? О да, конечно! Да и как еще реагировать, если, например, открыл "Огонек" и читаешь, что Даниэль и Синявский никакие не предатели и двурушники, а — наоборот, мужественные граждане и борцы с застоем? Положим, ты-то в этом никогда и не сомневался (ну, кроме "застоя") и если не целиком "Белая книга", то уж "Последние слова" подсудимых тебе давным-давно известны из самиздата, — но ведь у нас же, черным по белому! Или читаешь в "Горизонте" открытое письмо Лидии Корнеевны Чуковской Шолохову, впрочем, и без того знакомое тебе чуть ли не наизусть: "За все многовековое существование русской культуры я не могу припомнить другого писателя, который, подобно Вам, публично выразил бы сожаление не о том, что вынесенный судьями приговор слишком суров, а о том, что он слишком мягок", — как тут не поаплодировать то ли автору письма, то ли редактору "Горизонта"?

Да, была судорожная радость, ликование, эйфория. Но было и еще вот что: ощущение рубежа. Того, что каждый рубеж может оказаться последним. Не то чтобы у тебя отнимут то, что уже дали Но вот завтра скажут: все, хватит. Некрасов, Галич, Коржавин — это пожалуйста. А вот Солженицын, Максимов, Войнович, Аксенов — эти нет.

Что тогда? Думаю, что и два, и даже год назад не последовало бы ничего. Ну, пороптали бы. Письма бы

кинулись сочинять, собирать подписи. Шум бы, конечно, был. А дальше? А дальше успокоились бы, приноровились. Продолжали бы делать вид, будто тех, других, не существует. И не существовало. В лучшем случае контрабандой протаскивали бы кое-какие намеки — привычное ремесло.

Сейчас бы, пожалуй, уже не отступили. Но наша ли в том заслуга? Просто после "Архипелага" им из словесности уже ничего не страшно.

Впрочем, что это я: "они", "мы"? Давно уже пора перестать мыслить в этих категориях.

И еще в этих "возвращениях" была одна кособочина: каждое сопровождалось уверениями в том, что "возвращаемый" своим противостоянием прежнему режиму "способствовал наступлению перестройки". Подготавливал, так сказать, почву. Был бы он, дескать, сейчас здесь, с нами — влился бы в стройные ряды радетелей... чего? Социалистического плюрализма?..

Солженицын первый, о ком решились заговорить в ином духе. Но Солженицын — это вообще "особь статья", как и весь тот танец — шаг вперед, два шага назад — вокруг его имени, который предшествовал публикации его произведений. Конечно, за Солженицына велась отчаянная борьба, и в первую очередь редактором "Нового мира". Но можно ли эту победу хоть наполовину считать заслугой нашей общественности? Или главную роль здесь сыграло что-то другое? Не берусь дать ответ, но боюсь, что первый вариант не ближе к истине, чем утверждение, будто бы перестройка родилась в недрах партии.

Однако зачем все эти воспоминания, подробности — ведь сейчас-то с эмигрантами полный ажур? Разве что "Молодая гвардия" да "Наш современник" (исключая печатанье Солженицына — впрочем, он же не эмигрант!) еще держатся. (Неизвестно вот только, почему: то ли принципами не могут поступиться, то ли соответствующий автор за рубежом не отыскивается.) А так — какой журнал ни отвори: эмигрант на эмиг-

ранте, любых волн, школ, направлений — глаза разбегаются.

Зачем же старое поминать?

Ну, во-первых, не такое уж оно и старое — полутора—двухлетней давности. Хотя по нынешним темпам это и срок, однако так ли быстры наши внутренние перемены? А главное — я все-таки думаю, это не безразлично: в каких обстоятельствах и к кому приходит эта литература.

Насчет обстоятельств — в этой области, кажется, все более или менее осведомлены. Хотя, наверное, из-за бугра и не все видать. Хорошо видна (я так думаю) небывалая политическая активность масс — митингующих, бастующих, словом, качающих права. Но гораздо слабее (предполагаю) — их бытовая озлобленность, идущая не только от отсутствия всего и вся — от табуретки до колбасы, но и от ежечасной униженности советского человека, униженности еще пущей оттого, что сделалась она осознанной, что пробудилась тоска по достоинству. Считается, что раб, осознавший свое положение, уже не раб. Но он еще и не свободный человек, увы. Можно только гадать, во что способно вылиться это осознаваемое рабство, к каким знаменам его потянет... Всему миру видны успехи гласности — погрузившись в некоторые публикации, можно даже как-то и позабыть о существовании Старой площади и Лубянки, — но, наверное, куда меньше заметно, что ото всех этих разоблачений люди стали попросту уставать, что, может быть, через короткое время десятилетней давности "Правда" будет вспоминаться ими как самое милое сердцу чтение.

Но я, кажется, уже не об "обстоятельствах", а о том, к кому...

Трудно не согласиться с Залыгиным, когда он, предваряя "год Солженицына" в своем журнале, пишет: "Возвращаясь к нам... Солженицын встретит в нас других людей, совсем не тех, с которыми он когда-то мысленно прощался в "персональном" самолете, следу-

ющем по маршруту "Москва — Кельн". И все же: вправду ли мы нынче "совсем не те"?"

Твердо убежден: пока это преувеличение. Обретя долгожданное право говорить то, что думаешь (да и обрели ли мы его уже? и успело ли оно закрепиться в наших умах?), мы, однако, по многим параметрам продолжаем оставаться советскими людьми. Я говорю не только о тех, кто, например, отреагировал на "Чонкина", обвиняя его автора в "клевете на советскую действительность", "на Советскую Армию", "на советского человека" и т.п. (хотя их тоже не стоит сбрасывать со счетов). Но, например, о себе. Или, скажем, о тех, кого принято именовать творческой интеллигенцией. О ее прогрессивном, демократическом крыле.

Вот, например, критик Алла Латынина — на нынешний день самый солидный толкователь Солженицына в нашей стране (см. ее статьи "Солженицын и мы" в "Новом мире" №1, "Крушение идеократии" в "Литературном обозрении" №4 за 1990 год). В свое время она одной из первых откликнулась на роман Рыбакова "Дети Арбата", дав ему высокую оценку. Недавно она призналась, что сейчас написала бы про этот роман по-другому. Что же произошло за неполные три года? Я, конечно, допускаю, что взгляды критика могли эволюционировать. Более того — уверен в этом. Но я ни за что не поверю, что будто бы к 87-му году, когда писалась статья о "Детях Арбата", А.Латыниной не было известно ни одно из "антикультовских произведений" — да хоть тот же "Круг" или "Корпус". Тогда еще не разрешено было о них упоминать? Так в том-то и дело! Одного нельзя называть, потому что выслали, другого — что сам уехал, третьего — еще не напечатали. Вот и получалась панорама, где Рыбаков действительно первопроходец (я, кстати, к "Детям Арбата" отношусь вполне нормально). Для свободного человека — ложь. Для советского литератора, работающего на печать, — правда. Вернее, "процент правды" (было и такое "ключевое" словцо).

Знали, не зная. Или не знали, зная. У каждого был свой персональный спецхранчик, собственная автоглу-

шилка. Главное — не показать, не выдать... Да что там — совсем недавно, когда "Доктор Живаго" был уже объявлен "Новым миром" (да чуть ли не начал печататься), сам академик Лихачев "признался" корреспонденту "Литературки", будто бы он только что впервые прочел опальный роман Пастернака, — Лихачев, у которого к тому времени уже несколько лет как выкинули кусок о "Живаго" из предисловия к тому пастернаковской прозы.

Но что это я — Латынина, Лихачев? А сам? Разве не искал мучительно, чем бы таким заменить слова "отправили в лагерь", когда пришлось коснуться судьбы одного бывшего красного командира, перед арестом лишившегося своего поста на гражданской службе? Нашел — и был счастлив: "отстранили от дел, удалили". Потом это "удалили" все-таки вылетело, но осталось "отстранили от дел" и чувство выполненног долга.

Один известный журналист-международник (дело было при Андропове) с репутацией "человека-который-все-понимает", рассказывал, как он пишет свои обзоры: сперва, понятно, читает западную прессу, внимает западным радиостанциям и все такое, а потом: шторы задвинуты, в каждой из трех комнат по радиоприемнику, настроенному на советскую волну, — ходит, формулирует.

Такое за год и даже за пять лет — из себя не вытравишь. Как ни старайся (сейчас, кстати, он ходит в "прорабах перестройки"). Многим ли мы от него отличались?

Почему, однако (говорю о писателях), одни уехали, а другие остались?

Понятно, у каждого был свой ворох причин, не говоря уж о тех, перед кем была поставлена откровенная дилемма: или отъезд, или лагерь (тридцати с лишним летний критик А.Казинцев из своего кресла зама главного редактора "Нашего современника" твердо рекомендует в этом случае выбирать лагерь). Не стоит сбрасывать со счетов и того, что отъезд вообще был

нелегкой штукой (а ну как не пустят?), и даже такой вещи, как просто "судьба не судьба".

И все-таки: почему?

"Наш современник" и "Молодая гвардия", все труднее отличимые друг от друга, смотрят на дело просто: предатели. Уехали потому, что мечтали уехать. Мечтали нагадить этой земле. (Здесь, правда, не слишком сходятся концы с концами: если "нагадить" то тогда их отъезд благо для родной земли: дурная трава с поля вон. Но в этих журналах и не заботятся о том, чтобы что-то сходилось.) "Нет, пишет тот же А.Казинцев, эта возвращающаяся литература никак не укладывается в формулу "пересмотр недавнего прошлого". И здесь, как вы понимаете, я с ним совершенно согласен. Радоваться бы критику, что к нам наконец-то приходит литература незажатая, свободная от догм и стереотипов, но не тут-то было вывод суров и непреклонен: "Здесь не боль за осуждение народной жизни (это он, наверное, о владимовском "Руслане"? Л.Б.) ненависть к самой этой жизни, к ее истокам и вершинным проявлениям" ("Новая мифология", "НС", 1989, №5).

И ни слова в доказательство. Прямо как в славные былые времена.

Но я меньше всего хотел бы тратить бумагу на полемику с Казинцевым зряшное это дело. Но мне кажется нелишним проследить, как, с помощью какой логики (ведь должна же все-таки она быть) обрабатывают нынешние национал-патриоты свою аудиторию в отношении эмигрантов.

А логика (вернее, приемы обработки) такова.

1. Они, отъехавшие, были и есть этой земле чужие (статья Вал.Сорокина в 8-м номере "НС" так и называется: "Свои чужие". Вот что там сказано, например, о Галиче: "Человек со стороны. С чужим для него языком, с личной драмой в чужом народе" непонятно? Не удержусь, процитирую дальше: "...но песни его и сейчас кое-где (чувствуете оборотики!) популярны.

Не в народе, в народе они никогда не были и никогда не будут (надо же, какой футуролог!) популярны. Их, эти песни, возили (вот уж "могучего русского языка"!) в магнитофонах, в такси, в поездах, в самолетах заблатненные хмыри, интеллектуальные бездельники (правильно, на лесоповал их!), умные (?!) алкаши, воспитанные ненавистники нормального (?) образа жизни. Но человек, уважающий свою национальную поэзию (вот оно!), не возит песен Галича, не носит их за пазухой ("слово — грозное идеологическое оружие")".

2. Все то, что говорится об их якобы преследованиях, ерунда. Никто их не преследовал они сами нарывались своими грязными писаниями. Им нужен был шум, "истеблишмент", чтобы лучше продать себя на Западе. (Войновича не печатали? с изумлением переспрашивает Казинцев "Книжное обозрение", посвятившее писателю разворот. И перечисляет (уж не из "Иванькиады" ли взял?): в одном 72-м году целых две книги сборник повестей в "Совписе" и повесть о Вере Фигнер в "Политиздате". "Официозные издательства, обеспечивающие наибольшие тиражи (тираж "совписовской" книжки, кстати, всего 30 тысяч, мог бы поинтересоваться) и гонорары. Вот тебе и не печатали, изымали книги!" с изумлением заканчивает свое "исследование" патриот-правдоискатель. Будто бы и впрямь ему невдомек, что в последующие 8 (восемь!) лет у писателя не напечатали ни строчки, что его книги (да кроме этих, у него и не было ничего!) действительно изымали из библиотек, а имя сделалось неупоминаемым. Когда в 77-м году у нас в журнале "проскочило" нет, даже не имя Войновича и не название его книги, а просто в ряду других книг серии "Пламенные революционеры" значилась "книга о Вере Фигнер" (не поднялась у редактора рука вычеркнуть), тут же секретарю парторганизации журнала позвонила небезызвестная Ирина Стрелкова та самая, благодаря которой, по словам Домбровского, он сел в третий раз: "Что это вы у себя диссидентов рекламируете?" Углядела! К чести секретаря, он постарался это дело за-

мять. А редактору угрожали большие неприятности. "Был ли Галич запрещен? — вторит Казинцеву Сорокин. — Нет. Его песнями забазарили, "проспиртовали" все вокзалы, пристани, аэродромы (кто же все это натворил — Брежнев? Суслов? жидомасоны? или те, кто сутками вынуждены просиживать в таких местах, то есть народ, у которого, по словам Сорокина, Галич не был популярен?) еще тогда, когда их автор жил в Москве, не собираясь (или собираясь уже, слова Сорокина. — Л.Б) отчалить за границу?".

3. Кто действительно всегда страдал и был преследуем так это мы, патриоты (тут к своему клану очень удобно пристегнуть молчащего Солженицына и несколько авторитетных имен, которые не станут протестовать за умершестью от Шаламова до Марченко пристегнуть и тут же противопоставить Галичу, Войновичу, Синявскому, Гроссману и прочим внешним и внутренним эмигрантам). И в деле нашего преследования власти смыкались с масонами диссидентами, а может, и действовали по их прямой указке, будучи, вероятно, подкупленными. ("Почему секретари-генералы и генералы-секретари лебезили перед дерзящими "инфантами" и смело втаптывали в грязь патриотов, это еще предстоит выяснить", грозно сулит замглавного "НС", впрочем, не называя "генеральских" имен, так что остается только гадать, кого он имеет в виду: Андропова? Ф.Ф.Кузнецова? Михалкова? Бондарева?..)

Такая вот схема. Нехитрая, как видим. Хотя и не лишенная притягательности, во всяком случае, для известной части наших соотечественников (кстати, не такой уж малой). Срабатывает еще то обстоятельство, что авторы "возвращаемых" произведений не торопятся вернуться сюда физически — "Наш современник" не был бы "Нашим современником", если бы не разыграл этой карты: "А "граждане мира" уже возвращаются. Нет, не сами на постоянное жительство. Сказано же нам: прописка на этой земле им не нужна. Они возвращаются к читателю". После этого, сколько ни объясняй, что, например, прежде чем эмигранту ехать

сюда насовсем, нужно, чтобы государство перед ним извинилось и вернуло ему отнятое гражданство, что люди врастают в другую жизнь, что их дети растут, выходят замуж за "аборигенов", рожают своих детей и т.д. и т.п., все это будет выглядеть не более чем "отмазкой". Ведь там, как известно, колбаса и не страшно жить...

Но все-таки: почему уезжали? И почему оставались?

Я начал с рассуждения о "ключевых" словах — и, наверное, не случайно. Думаю, что ответ лежит где-то здесь, в области "слов". Сознавая всю условность и относительность того, что я собираюсь сказать, все же скажу: стали писать в стол, в сам- или тамиздат, а потом — через правозащитное движение или нет, пройдя через лагеря или нет, — оказались в эмиграции те, кто не мог дальше называть вещи не своим именем. Это не означает, что остались лишь конформисты — слишком многие примеры говорят против этого. Но факт остается фактом: оставаться здесь и рассчитывать на печать можно было, только согласившись на определенные условия. И главное из них — не договаривать до конца. Не трогать Основ. Для кого-то эти условия оказались приемлемыми (говорю это без всякого обвинительного уклона) — те остались.

А "деревенщик" ни один не уехал. Не стоит — и особенно в нынешних условиях — недооценивать силы этого аргумента со стороны национал-патриотов. Но, во-первых, не одни только деревенщики не уехали. Не уехал, например, Трифонов (знаю, он у эмигрантов так же не в чести, как и у патриотов, я к нему отношусь по-другому и в своей статье — "Семидесятник," "Октябрь", 1988, № 9 — попытался объяснить причину его неотъезда). Не уехали Искандер, Битов, Ахмадулина, Высоцкий — много кого можно назвать (не говорю о таких, как Домбровский и Шаламов, — неизвестно, что бы их ожидало: может, и эмиграция, — если бы не смерть одного и не глубокая дряхлость другого). Во-вторых, не любой "деревенщик" (если бы все они дожили) готов был бы разделить программу "Нашего со-

временника": не знаю, как Абрамов, а уж Тендряков-то сейчас точно был бы не на их стороне. Да и Можаев не похоже, что с ними.

Но это, так сказать, арифметика. Есть еще и другое. Можно понять и Распутина, и Белова — в такие времена и такое говорили, такую стену таранили, и на тебе: оказывается, не мы главные герои, а какие-то бывшие "отщепенцы", да еще половина из них — сбежавшие.

Конечно, Иван Африканович останется. Может, и "Последний срок" (насчет "Матеры" уже сомневаюсь). Но в том, что им удалось, у них вышло все это напечатать — заслуга все-таки не только их личная. Они находились не в равном положении с теми же, скажем, Владимовым или Войновичем. Этим — дали. А тем — нет. Как бы сложилась судьба Распутина, если бы ему ни строчки не дозволили напечатать? Исключили бы из СП, терроризировали звонками, отключением телефона, беспрестанной слежкой, подметными письмами, вызвали бы куда надо и сказали бы: "выбирайте!"?

Так что с деревенщиками, их верностью родным осинам — вопрос не такой уж однозначный. Во всяком случае, ответ на него. Конечно — почва. Но и то, что "почвенная" тематика была тем полем, где разрешалось что-то произрастить. Где спрос был не то чтобы мягок, но не так суров. Я здесь не касаюсь вопросов почему.

Были и другие "поля", правда, не столь обширные. Крохотные участочки. Кому-то непостижимым образом удавалось разместить свое хозяйство и на таком пятачке. И даже кое-что небесполезное вырастить. Скажем, не картошку, а помидор. Или какой-нибудь более замысловатый овощ, не нуждающийся в больших площадях. В любом варианте это требовало огромных хлопот и психических перегрузок, ибо участок все время норовили урезать или совсем отнять. Те, кто обладал талантом (я не шучу: талантом) приспособиться ко всему этому, не шибко кривя душой, — те тоже не стремились уехать. Тем более что со временем появилась и возможность "выпустить пар" — обладателям

"имен" перестал угрожать лагерь за публикацию в тамиздате. ("Молодогвардеец" еще давнего набора М.Лобанов, намекая на особое покровительство прежних властей диссидентствующим писателям, режет "правду-матку": "Можно представить, что ожидало бы многих из нас, если бы за рубежом вышла хоть одна книга!" Действительно, представляю себе изумление западного издателя, если бы кто-то из "них" передал ему свою книгу! Сенсация! Только ведь не передавали — не тот, видать, товар. И не та смелость.)

Так вот мы здесь и жили, приноравливаясь к развитому социализму и его ключевым словам. Кто подпевая, а кто надрывая душу: как бы так исхитриться, чтобы все-таки сказать? Ну хоть пискнуть... И жадно глотали тамиздат. О это чтение, — тебя можно воспеть лишь стихами!

Мне как-то рассказывали, как нашему "журналисту номер один" Аграновскому предложили что-то "почитать" (из той, конечно, литературы). Он твердо отказался: "Спасибо. Но этого я не читаю".

Услышав эту историю, я тут же вспомнил солженицынского "Теленка" — Твардовский ведь тоже до поры до времени отказывался это читать. Вспомнил и задернутые шторы, приемник в каждой комнате...

Сейчас я думаю, что этот случай совсем из другой оперы. Что, может быть, в этом отказе независимости и достоинства было больше, чем в нашем жадном согласии.

Знаешь, стыдно, когда не видно,
Что услышал ты то, что слушал, —

пел ленинградский бард Башлачев. Недавно он умер.

И вот теперь нам дозволено все это читать не скрываясь. Не делать вид, будто того или другого нету.

Впрочем, чего уж там — перечитывать... "Да ну, кто это все читает, — убеждали мы друг друга в те времена. Узкий круг".

С наступлением гласности обнаружилось, что "читали" самые неожиданные люди. (Написал и подумал: а ведь по сути все это — втайне написанное и тайком читаемое — было не чем иным, как теневой литературой. Именно так — по аналогии с теневой экономикой. Ибо и там, и тут, в советских условиях движитель, в общем-то, один — тоска по свободе. По свободному слову и свободному предпринимательству. Обобщая — по свободной реализации личности.)

Странное оно все-таки, это "возвращение". Совсем не такое, каким рисовалось в воображении. Да нет — не рисовалось, в том-то и дело.

Невозможно было представить такой лавины, что разом хлынет прямо-таки все, что копилось 70 лет. Как невозможно было себе представить, что все это обрушится на людей, у которых, в общем-то, есть заботы поважнее: митинги, сессии Верхсовета, национальные распри, Литва, Воркута, демократы, патриоты, кооперативы, налоги, Гдлян и Иванов, завтра детей кормить будет нечем... Что все это не ошеломит, не разует глаза, а вернее всего, отложится до лучших времен: теперь-то уж никуда не убежит, а то ведь газету и ту не успеваешь прочитать... Что даже к тем, для кого это составляет содержание и смысл жизни, придет в пору, когда сознание уже отказывается воспринимать и вообще — нельзя объять необъятного. (Мы с коллегой подсчитали: чтобы прочитать только Солженицына, который печатается в этом году, дневная норма должна превосходить печатный лист — шутка ли!) Боюсь, что в этих обстоятельствах огромная часть того, на что писатели клали жизнь, за что поплатились годами забвения и изгнанием, в обозримом будущем останется попросту непрочитанной. Не ирония ли истории?

Такая сейчас ситуация. Не слишком благоприятная для "возвращаемых".

Конечно — набитые залы. Толпы признательных соотечественников. Вспышки магния. Острые вопросы. Аплодисменты на каждом шагу. Редакции. Интервью. Телевидение. Триумф! Но за всем тем приезжающие сюда "на побывку" вряд ли не углядят своим острым писательским глазом, что не литература сейчас волнует людей. И не уловят кое-чьих неприязненных взглядов: не заслоняйте нам дорогу!

А и правда: как сейчас пробиться в журналы, если ты не бывший диссидент и не эмигрант? Прямая дорога к "патриотам". Этим они и покупают.

Не оттого ли и не торопятся "приезжанты" бросить свое прибежище? К тому же — прежний шмон на таможне, недорассоветившиеся люди кругом, и ЦК себе живет-поживает, и ЧК не торопятся распускать. Социалистический плюрализм!

Мыслилось: вот станут их печатать, тут критика и воспрянет. Распрямит спину, раздвинет плечи — найдет разговор! Но вот парадокс — критика отнеслась довольно индифферентно. Вернее, нет, не так. Охваченная, как и все наше общество, лихорадкой полемик, она бросилась использовать все "возвращающееся" как боеприпасы. При этом, естественно, многое спрямлялось, что-то вообще отбрасывалось как лишнее (я говорю о критиках левого направления, правые вообще все выворачивают наизнанку) — художественно-философского анализа явно недостает.

Нет, кое-что все-таки было "из серьезного". А.Латынина о Солженицыне (я уже назвал журналы), А.Архангельский о "Верном Руслане" ("Новый мир", 1989, №7), Л.Аннинский о той же вещи ("Литературное обозрение", 1989, №8), А.Немзер о "Руслане" и "Чонкине" ("Октябрь, 1989, №8), интересные мысли мелькали в обзорах Н.Ивановой ("Огонек", "Юность"). Да, была еще статья И.Шайтанова в "Знамени" об антологии поэзии "третьей волны" эмиграции, вышедшей в издательстве "Третья волна" (Париж — Нью-Йорк), правда, опять-таки, больше о том, от чего уехали, к чему приехали и что со всеми нами происходило. В общем, тонко, умно, но мало.

Впрочем, ведь и Шаламов, и Домбровский, и "подпольные" Битов и Искандер тоже не удостоились обширных обзоров. Ну хоть бы таких, каких удостаивались печатные вещи двоих последних в прежние времена.

Но обрисованная мной ситуация говорит, пожалуй, в пользу критиков. Ведь по-настоящему-то, до конца стало возможно выговориться только совсем сейчас, после "Архипелага". Критики не бросились "осовечивать" произведения — это делает им честь.

Вот что я имел в виду, когда говорил о назывании вещей своим именем. Мы отсюда, из-за забора, ловили смутные слухи об эмигрантских распрях. И что они там не поделили? Или просто российский характер? Оказывается, называя вещи своим именем — а это дается только при полной свободе слова, за тем и уезжали, чтобы освободиться от этих муторных табу и эвфемизмов, — ты раскручиваешь собственные убеждения. Происходит, собственно, то, о чем Солженицын говорил в "Теленке": "Следующими шагами мне неизбежно себя открывать: пора говорить все точней и идти все глубже. И неизбежно терять на этом читающую публику, терять современников, в надежде на потомков". Речь, конечно, не о потомках; но, говоря "все точней" и "идя все глубже", сбивая оковы со своей мысли, ты неизбежно теряешь кое-кого из вчерашних единомышленников. То есть оказывается, что вы ими и не были. Ты, грубо говоря, кадет, а он — христианский демократ. Происходит размежевание, а вернее сказать, уточнение. По нашим характерам дай Бог — чтобы обошлось мирно.

Чем ближе продвигалась наша гласность к свободе слова, тем яснее делались расхождения. И чем дальше, тем становилось понятней, что разделяют нас здесь, в России, в общем-то те же самые вопросы, что и там, на Западе. Много чего общего обнаружилось. В частности, что объявилось немало писателей, для которых не существует ни Солженицына, ни Сахарова, ни всей этой "вонючей политики" — они хотят заниматься Искусством.

В общем, мы все-таки по капле выдавливаем из себя раба. Рассовечиваемся. Освобождаемся из-под власти ключевых слов. Приходим в норму. И показатель для меня не тот, что добрались наконец до Основоположника и честим большевиков за милую душу. Это — дозволили, разрешили. А вот тот, например, что критик демократического лагеря А.Василевский свободно заявляет, что "Чонкин" его не устраивает ("Литературное обозрение", 1990, №1), а той же ориентации критик С.Костырко позволяет себе подробно, "по косточкам", разобрать Лимонова, который ему резко антипатичен ("Новый мир, 1990, №3).

Самое время серьезно писать о "возвращаемой" литературе.

Только дойдут ли руки у критиков до отложенных книг?

А главное — дойдут ли они у читателей?

БАХНОВ Леонид Владленович родился в 1948 году в Москве. Прозаик, критик. Окончил филологический факультет Московского пединститута. Работал в журнале "Литературное обозрение", сейчас — в "Дружбе народов". Статьи печатались в "Литературной газете", журналах "Знамя", "Октябрь", "Вопросы литературы", "Юность". Живет в Москве.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

19 февраля 1991года выдающемуся писателю Георгию Николаевичу Владимову исполнилось 60 лет.

23 февраля 1991 года большому русскому актеру и режиссеру Льву Борисовичу Круглому исполнилось 60 лет.

Желаем юбилярам счастья, здоровья, творческого успеха.

"КОНТИНЕНТ"

Этой публикацией мы начинаем знакомить наших читателей с литературным наследием Венедикта Ерофеева. К сожалению, после него осталось не так много. Это прежде всего записные книжки, наброски к пьесе, которая по замыслу должна была продолжить драматургическую трилогию, начатую "Вальпургиевой ночью" и два небольших эссе. Не все в этих материалах равноценно, многое, особенно в записных книжках, может показаться случайным и необязательным для обнародования, но нам представляется, что творческая лаборатория писателя, да еще такого уровня и дарования, заслуживает читательского внимания, как часть (и далеко немаловажная!) истории отечественной литературы.

Редакция

Венедикт Ерофеев

ДИССИДЕНТЫ, или ФАННИ КАПЛАН

Трагедия в пяти актах

Вот сложился Круг действующих в ДРАМЕ лиц:

Мишель Каплан — хозяин заведения — Приемного Пункта Посуды, в котором он живет, и действие происходит на исходе 2-го дня его белой горячки. Почему его "смрадный дом" народ называет "Мавзолеем"

Лжедмитрий 1, Лжедмитрий 2 — его полоумные подсобники-подручные, приемщики винной посуды.

Роза — любовница Каплана.

Фанни Каплан — любимая дочь Каплана с врожденным, но трогательным идиотизмом.

Юродивый Виталик — в конце гибнет под грузом ящиков с бутылями, которые падают от падения неузнаваемого человека в "сером". "О, где же необольстимый судия?! — набирает эти слова в "тапочек", обращаясь к императору Хиро-хито. — Гибну — потому что взломали стены в Сант-Яго-де-Куба, штурмуют казармы Монкада".

Аспазия (в валенках) — возраста непостижимого; постоянная поставщица бутылок, подруга Розы.

Прозерпина (с рюкзаком под мышкой) — товарка Аспазии с соседней территории по сбору бутылок (старуха).

Человек в "сером" — член КПСС "дядя Валера" — Рыжий детина по кличке "Мамзелька".

Остальные — диссиденты, в очень разной степени умственной прострации.

"Длинный перечень" (очередь) — так и не появляющиеся, чтобы действия "не оживлять".

"Ни одного героя — кроме Фанни — ни одного в разумном здравии, и это хорошо, потому что я в добром здравии за жизнь не встречал отнизу доверху".

Постоянно тревожно.

Музыка в трагедии не исполняется. А приводится в исполнение. Пьеса кончится сокрушительно. Не останется никого — НИКОГО? — никого.

— А зачем НИКОГО? — А зачем оставаться. Жребий брошен. Круг очерчен. Корабли сожжены.

Начало: Каплан: С этими людьми мне НЕ О ЧЕМ ПИТЬ.

Странное дело — и Лжедмитрий 3 под занавес полоумный.

Очень бойко принимают посуду Лжедмитрий 1 и Лжедмитрий 2. Но слишком часто закрывают "окошко" и размышляют о судьбах Вселенной под грохот и стуки в окошко (нетерпеливой очереди).

Обычно они справляются о времени у сидящего на полу Виталика:

— Виталик! Набери номер королевы Нидерландов Беатрикс и узнай — пора ли открывать лавочку. — Виталик снимает "тапочек" — прикладывает к уху — долго молчит — как в телефонную трубку: — Пора!

Внутренняя архитектура приемного пункта. Сдвоенные, счетверенные ряды ящиков уходят вдаль, меж ними остаются мокрые и нечистые пустоты — превосходные места действия, поскольку почти совершенно скрыты от зрителей. Да и зачем зрителю видеть все. Ему лучше б вообще ничего не видеть. Такого же суждения и приемщики — Лжедмитрий 1 и 2: окошечко приема такое махонькое, что сдающим посуду занудам приходится пропихивать свой товар, изогнувшись в поясе, а посуде продвигаться к Лжедмитриям, лежа на боку.

Пока это окошечко наглухо закрыто, но остается средоточием 1-го акта. Лжедмитрий 1 и Лжедмитрий 2 сидят от него на расстоянии и беседуют вот о чем:

Лж.1: И ты никуда-никуда весь вечер не выходил, Дима, и ничем—ничем не занимался? Ха-ха-ха... Ведь этот фармазон, который отбил у тебя твою белую попочку...

Лж.2: Не говори мне об этом, Митя. И что значит: ничем-ничем не занимался? Я сокрушен был сердцем. А разве это не занятие? И так начиналось крушение: я погрустил, погрустил, потужил—потужил, а потом кручиниться начал. Кручинился—кручинился, а потом начал сызнова тужить, но еще без сокрушения сердца. И вот так часа 2—3 грустил, как Богоматерь, как вдруг

почувствовал в себе прилив какой-то новой кручины... И от этого совсем пригорюнился... Какое качество, Митя, ты больше всего ценишь в человеке?.. скажи мне...

Лж.1: Пожалуй, незадачливость. Я и тебя за это люблю. И матушку—Родину люблю за это же самое. Но ты ведь юн, а Родина готовится к своей кончине... Теперь входит в моду все на свете делать посмертно. Так вот: я бы, посмертно, лишил мою Родину ее материнских прав.

Лж.2: Ты, Митя, бездуховен и свиреп... Нельзя же...

Лж.1: Это я! — я-то свиреп и бездуховен!? Даже Каплан сказал мне, что духовных запросов у меня до ..я и больше. А высших упований — что собак нерезаных! А святых порывов — столько, что их до Ленинграда раком не переставить!..

Лж.2: Митя!.. (с укоризною).

Лж.1: Ничего, ничего. Отчизна дышит на ладан, мне это понятно, как день. Как ее последний день. И кто там кого в этом обгонит, мне понятно тоже. Украина лидирует у нас по близорукости, Молдавия — по столбняку, Приморский край — по клещевому энцефалиту, Кольский полуостров — по аппендициту, Литва — по ревматизму, Якутия — по мочекаменным болезням, а Северная Осетия — по эндемическому зобу. А столица Москва — по функциональным расстройствам, психозам и реактивным состояниям. И грамотность не спасет. Да и о какой грамотности можно ляпать, коли уж мы живем в стране, где 99% взрослого населения ни разу в жизни не прочли и не слышали ни одной строчки Евангелия!..

Лж.2: Митя!.. ты сегодня еще не прочищал горла. Может, оттого у тебя такие клокотания и мизантропизмы?..

Лж.1: А что — у Каплана есть чего?

Лж.2: В маленьком столике: Кинзмараули.

Лж.1: О, ...мать! А что это такое?

Лж.2: Кинзмараули — это почти что Хванчакара!

Лж.1: Почти Хванчакара?

Лж.2: Почти Хванчакара!

Лж.1: Волоки.

(За наглухо закрытым окошком приема начинаются понемногу мягкие щелчки и стуки и оппозиционные шепоты.)

Лж.1 (.....) Кинзмараули! Хванчакара!

Лж.2:(появляясь): Хванчакара. Но почему-то в банке!..

Лж.1: Какая нам разница! Хоть в плевательнице!.. К горячим рыбным блюдам следует подавать Су-Псех, Абрау-Рислинг, Гурджаани, Цинандали, Алькадор, Сильванер и Баян-Ширей. А вот уже к филе, эскалопу, антрекотам и лангусту смело подавай Телиани, Саперави, Мукузани и Каберне.

Лж.2: А — если артишоки?

Лж.1: Что артишоки?

Лж.2: Ну, может, не артишоки, а дичь, цыплята, миндаль...

Лж.1: А миндаль зачем?

Лж.2: Да уж так: подали жареный миндаль... И вот — перед тобой миндаль...

Лж.1: Тогда Чхавери!

Лж.2: Чхавери и Кинзмараули!

(Оба пьют, но по харям их видно, что это не Кинзмараули и не Чхавери, а что-то тошнотворнее и крепче.)

Лж.1: Вот это, миленький, точно Кинзмараули. Ты еще больше почернел и вытянулся, но светлее стал. Нас с тобой не спутаешь, и вот почему. Я длинен, как летний день, а ты, как зимняя ночь, длинен. И еще разница: если тебя встретят темной полночью, то потребуют от тебя часы, и ты их отдашь, скажешь только: "мерси боку" или что-нибудь такое. А если встретят меня — сами, молча снимут с себя свои часы и отдадут мне. А я молча положу их в карман и скажу:

"Вот и прекрасно. Вундербар". А они мне: "Чего—чего?" — "Ничего, — скажу, — вундербар". Нас поэтому и Роза даже в темноте различает. Заметил?

Лж.2: Как это она могла в темноте различить, если я ни разу не видел ее в темноте?

Лж.1: А на свету — видел?

Лж.2: Видел... А за левым ухом у нее родинка — отчего?

Лж.1: А это потому, что страстная очень.

Лж.2: А волоски из носопыри?

Лж.1: Ну, это уж точно — страстная, Дима, дальше некуда...

Лж.2: А за правым ухом родинки нет — это как понять?

Лж.1: Это значит, такая страстная, что и спасу никакого нет, потому и пусто за правым ухом...

Лж.2: А почему пониже щиколотки?..

Лж.1(прерывает его): Ну, ты как Васютка Говнодав. Ему вообще пить нельзя: он от этого сразу падает в обморок. Особенно если пьет в бабьей компании — они его так корежат, они его так пронзают, что он берет и шлепается в обморок. В один из этих обмороков он подхватил себе гонорею... а потом — вторую...

Лж.2: Это уж во время второго обморока?..

Лж.1: Да нет. Уже первого...

Лж.2: А я при дамах не падаю в обморок. И когда я первый раз услышал ее — я затаил дыхание, я слух и зрение затаил. Я затаил испускание и пот, пищеварение затаил. А ей — что ей — индифферентная баба, беспорывная баба! снежная баба!

Лж.1: А это потому, что ты при ней не выпил.

Лж.2: А если б выпил?

Лж.1: Была б не беспорывной! Только пить надо не Кинзмараули, а что-нибудь полегче, Алиготэ. Алиготэ — это лучше, чем либерте, эгалите, фратерните. Как ты думаешь?

Лж.2: Нет, не пить ничего совсем, как сказал Сомерсет Моэм.

Лж.1: Никогда не следует пить бросать, сказала Эдит Пиаф, известная французская блядь. А уж если нельзя не пить, то пить только молдавский белый портвейн, сказал любимый пианист Владимира Ильича Ульянова Исайя Добровейн.

Лж.2: Или шерри-бренди, сказала бы Индира Ганди.

Лж.1 (с сарказмом): Очень складно! Митя! Тогда уж давай, как сказал Акакий Церетели, продолжим Кинзмараули!

Пока Лж.2 в бегах, стуки в приемное окошко.

Выклики: Уже 15 минут третьего. Это значит: "расстреливать каждого третьего приемщика". "Когда будет Каплан? — Стрелять таких приемщиков".

Лж.2 (притаскивает вторую банку Кинзмараули):

Когда легковерен и молод я был,
Российскую водку я очень любил,
Молдавскую водку я очень любил,
Кубанскую водку я очень любил,
Ну, да и Перцовую очень любил.
Когда ж легкомыслен я быть перестал,
Московскую водку я пить перестал
(И все аккорды, аккорды)
Стрелецкую водку я пить перестал,
Российскую водку я пить перестал.

Лж.2: А все почему? —

И вдруг словно замер мой конь на бегу —
Стрелецкую водку достать не могу,
Российскую водку найти не могу,
Донскую Степную купить не могу,

А что за причина — понять не могу.

Лж.1: И как тебя занесло в приемщики посуды? Ты с детства лелеял эту мечту — или эту мечту ты начал лелеять после детства или вообще никогда не лелеял?

Лж.2: Как только начался, лелеял. Я вначале мечтал быть стеклодувом, потом — фальшивомонетчиком, вампиром — а потом опять стеклодувом! И прекрасной дамой! И...

Лж.1: Ну я понимаю: "прекрасной дамой". Но зачем же стеклодувом?! Тогда уж Моцартом! Вот тут у нас в очереди, третий год подряд, стоят сплошные Моцарты и очередь длится 2 — 3 часа, и Сальери ее принимает, пиздобол с тремя "жигулями", ну а что Моцартам "жигули"?

Им нужна неотложная отрава, алгебра и гармония. Шеф сказал: "Открывайте возможности, в то же время внося неясности".

Лжедмитрии постоянно балагурят, принимая посуду:

— Милый котик, пей наркотик, А потом, немножко сплюнув, укуси меня за грудь.

— Вчера был день полузакрытых дверей.

К ним подходит Аспазия (Аспазия постоянно ошибается, всех называет Володей. А все отвечают:"Это Ульянов—Ленин был Володей. Я тебе не Володя, а я — Лжедмитрий 2").

Оба Лжедмитрия, то и дело, так что становится пословицею:"Не обобщай!" "Не обобщай, Григорий". "Не обобщай, Дмитрий".

Лж.1: И заебись, кто не понимает.

Мы чувствуем локоть друг друга,

И сердце пылает огнем.

Ты, Дима, любишь музыку Сигизмунда Каца?

Лж.2 (мурлычет):

Ах, эти девушки в трико так ранят сердце глубоко.

И в самом деле. На мне, как мачта, длинном, она повисла как парус — и я поплыл.

— Каплана сейчас не ищите.

— Т.е. он еще не пришел?

— Ну... как сказать... прийти-то он пришел, но его нету.

— Он в мире чистых сущностей. Тсс!

— Т.е. пришел и ушел?

—Он никуда не уходил. Люди, которые живут в мире чистых сущностей, вообще никуда не уходют.

— Но приходить-то они приходют?

— Случается.

— И часто случается?

— Часто случается.

— Может и сегодня случится?

— Может случится и сегодня...

Блюститель: Так будут сегодня диссиденты?

Лжедмитрий: А кто их знает, вы же этот народ обсосали кругом — возьмут да будут. А возьмут — не будут.

— А вот эта, гладкая, — она о чем говорила?

— О! Она ведет с кем-то феноменологическую переписку. Она говорит, что устала быть экстравертированной. Но интровертированность ей не дается. Всякий раз, когда заходит речь об андрогенной монаде...

— А о ней часто заходит речь?

— Очень часто.

— А сам ты принимал участие?

— Принимал.

— Как именно?

— Я читал запретные стихи.

— С чего же ты взял, что они запретные?

— А мне надавали по шее.

— Кто?

— Как кто? Диссиденты!

— А ну-ка, что за стихи?

Лжедмитрий откашливается. Делает позу:

— Рабочий класс колонны вывел
В олимпиады и на стадионы,
заменим звоном шагов в коллективе
Колоколов идиотские звоны.
Мы пафосом новым упьемся допьяна,
Вином — своих не ослабим воль!
Долой из жизни два опиума:
Бога — и алкоголь!

— А один сказал: в Мадриде есть чего кушать безработным тореро. А я — нет, сказал, в городе Мадриде совершенно нечего кушать безработным тореро. (Мы немножко подиспутировали в Париже.)

Лж.: Не могу не молчать — так я им сказал.

— А другой ей шепнул... и что это, это сохранит шелковистость ее волос.

— А один все кричал: непомерностей надо требовать, непомерностей!

— Русский народ вообще трудно чем-нибудь ошарашить. Объяви ему в разгар 11—й пятилетки, что каждая пятилетка будет 11-й.

— Ну что ж, скажет, 11-й так 11-й.

— Да, да. Был один священнослужитель. Бывший. Он утверждал, что служит одному лишь кумиру. И что кумир этот — утробная ненависть к свободе и прогрессу.

— Он у нас в интересном положении.

— Мишель, об истреблении Востока:

"Крестоносцы тоже, говорят, были немножко мародерами, но это их рыцарского облика не исказило. Вот так и мы — если немножко побуйствуем среди сарацинов!.."

— Так отчего же они Лжедмитрии?

— 1-й вот почему. Потому что родился в Угличе и звать его Григорий (т.е. в детстве наречен Григорием). А 2-й родился на том самом месте, где некогда была та самая кель Чудова монастыря. И звать его в самом деле Митя. Так что не совсем понятно, почему он Лжедмитрий?

— Чего ж тут непонятного, если настоящий Лжедмитрий, т.е. Григорий, родился в Угличе?

— В Угличе детей не рожают. В Угличе их режут.

— Помалкивай.

— А где это место, где Чудов монастырь?

— Теперь это невозможно установить. Но единственное, что достоверно, — откуда убежал Григорий.

— Какой Григорий? Вот этот? — пальцем в сторону Лж.1.

— Скорее всего. Потому что кому придет в голову родиться в том самом Угличе, с которого удобней всего начать интригу, и затесаться в келье Чудова монастыря.

— А у тебя как жену звать?

— Маринка. Марина Юрьевна.

— И у тебя М.Ю.? — и у меня М.Ю.

— Насколько мне и всем известно, Лж.1 бежал из кельи Чудова монастыря, а не Лж.2.

— А откуда же сбежал Лж.2? Из Углича?

— А кто его знает? Сейчас, если перед тобой сидит человек, то видишь точно, что он откуда-то сбежал, а вот откуда точно он сбежал, ни одна сука не признается.

— Но ведь я-то ниоткуда не сбежал.

— А, значит, это не настоящий Лжедмитрий.

— А коли так, почему позволяешь себе так говорить с "человеком" ?

С "человеком" Лж.2 говорит о рыбной ловле (партийный дядя Валера).

— А кого и выловишь — сразу бросаешь назад, в речку, потому что они противные, красные да еще трепещут.

— Дядя Валера! Это ты на кого намекаешь? Красные — да. Но мы никогда не трепещем. А противные — это как для кого.

— И эти у вас бывают... помните у Вл.Ильича:"в час народной расправы с чиновниками в рясах, с жандармами во Христе..." Бывают, бывают точно уж такие жандармы во Христе. Единственное, что я в них заметил. Законопослушность. Курсивная, слишком подчеркнутая. Охуелостью это не назовешь, но ведь не назовешь и иначе.

2-й акт в основном состоит из бесед людей в сером с Лжедмитриями.

— Так этого Лж.1 зарядили в пушку и стрельнули туда, откуда он пришел.

— Да нет, это был не Лж.1, это настоящим Лжедмитрием зарядили пушку и пальнули не то в сторону Варшавы, не то Кракова, не то Сандомира.

— А откуда взялся настоящий Дмитрий?

— А все оттуда же. Все настоящее берется оттуда же, откуда все ложное. Настоящий Дмитрий уже в стволе орудия признался, что никогда не был знаком с Мариной Мнишек. А раз не был знаком — значит, настоящий Дмитрий. И еще он добавил: "Дура она, мать ее... я б зарезал ее ножиком, но все ножики продаются только в Угличе".

— Ну почему? В Угличе кого зарезали?

— Гришу.

— Гришу? А не Дмитрия—младенца?

— Гришу!

— Ну, тогда я..... в вашем приемном пункте!

Диссидентов терпеть не могу. Они все до единого — антимузыкальны. А стало быть, ни в чем не правы. Цветочки не любят.

— Ваше время пришло! Разговаривайте!

Каплан: Дмитрий! Все двери на запор! Сейчас начнется главное. Виталик звонит гр.Дювалье и вдруг заходится — смех до слез — гр.Дювалье ему сказал, что жить Виталику осталось меньше получаса. (Гибнет от обвалившихся ящиков, на которые падает с кровавой физиономией Человек в сером.)

— Что он замышляет против мира, знает он сам.

— А вы сначала расспросите человечество и мир, что они вместе против него умышляли. Даже тот, кто с нами — тот против нас.

3-й акт. Белая горячка Мих.Каплана:

— Кто подлинный из них? скажи мне, дочь.

(О Каплане. Ему не по вкусу существующий миропорядок.)

— Мгновенье. Безобразно ты. Не продлевайся.А впрочем, погоди.

— Так вы теперь ходите в нарукавных повязках? А зачем? И без того видать.

— Ну, уж так надо. Инструкция есть инструкция.

(Взрыв Каплана. Относительно: Жизнь есть жизнь.

Дети есть дети.

Война есть война.

С вонючими вашими тавтологиями...

Вам что же — нечего больше сказать, пиздоебам.)

Аспазия: А разве я кого-нибудь трогаю? Даже иду когда, собачка какая-нибудь выскочит, я ей говорю: "С легким паром тебя, собачка". Только и всего.

— Это почему же это с легким паром?

— Ну, с каким паром? Если она всего-навсего маленькая собачка?

О ней — Глаза ее лучились и сверкали. Нехорошее, невысокое было это сверкание. Однако ж это было сверканием.

— Стягивает она стан свой, чтоб дивные груди ее восстали!

— 30 лет, а выглядит, как цветочек, как блядиолус какой-нибудь.

— А можешь ли ты, баламут, сделать мою жизнь яркой и насыщенной? Почему ты не хочешь дать воскрылий? Любовь это не прощает. Дай мне воскрылия.

— Да откуда я на вас всех наберусь воскрылий.

— Из всех чар земных только пошлейшие могут на нее воздействовать.

Блюститель: А вы — вы кто?

Фанни: Каплан (опустив глаза в вязание).

Блюститель: Каплан?

Фанни: Каплан.

Блюститель: Пока я ничего не понимаю. Каплан? Каплан. Завороженный Дом. Каплан уж тут. Не хватает только Михельсона. Это не приемный пункт, а завод Михельсона.

— Они мне вот: Россия погибает.

— Ну и пускай. Ей вроде бы к лицу. Никому бы так не пошло умереть, как Ей. Причем самым недостойным образом. Это входит, по-моему, в расчеты Господа Бога.

— Чувствуешь себя как соль рассыпанная, как разбитое зеркало, как в море оброненное колечко, как чернейшим из котов пересеченная дорога. Ты — чувствовал себя так.

— И совсем это не Божья Любовь. Это шашни Природы.

Аспазия: Я за сегодняшний день так ухайдокалась.

— Женщина болезнетворная, смертельная женщина.

— Ну, просто надоело. Где Каплан?

— Где Каплан? — По ту сторону рек Ефиопских, вот он где. В садах Эдемских. За гранью земного кругозора.

— Чего делает? чего делает? А вы — что делаете?!

— Он — текет в трех мирозданиях.

Лж.1: Ох, сука! Да нет, ну хотя бы в двух мирозданиях.

— Господь обнес нас пораженьем, и правильно сделал.

— Недочеловеки! Недолюди! Страшно и вообразить себя в вашем положении.

— Впрочем, не будем говорить о чепухе.

Господь, кого следует, приговаривает к столькимто и стольким-то годам Душевного потрясения.

— У этой девушки потрясений нет.

— Это не годится. Я не признаю в человеке чегонибудь, если нет потрясений.

— Дочь, ведь это неправда.

"Добродетель ее подвергается частым нападениям по причине миловидной наружности. Но она, эта белая голубка, скорее умрет, чем запятнает свое оперение".

В сером: А что он еще говорил?

— Говорил, что нижняя чакра ответственна за высшие тоны человеческих чакр.

Влюбл.Лж.2: Я когда услышал ее, я затаил дыхание. Я не то что дыхание, я зрение и слух затаил, я затаил пищеварение. А ей — что ей! Индифферентная, беспорывная женщина. Снежная баба!

— Народ недоволен, надо открывать, — то и дело бросает Лж.1

— Не опиум для народа, а народ — для опиума.

— И зимних друг ночей, трещит мужчина перед ней.

— Все больше разверзается пропасть между словом и делом американской администрации.

У Лж.1 постоянно: Земля — колыбель человечества.

В конце, к человеку в сером;

— В колыбель тебя надо! В землю тебя надо, в колыбель человечества.

— До того ли ему? Гибнет Россия или нет? Странное дело: чем больше говорит о процветании, все понимают о гибели. Ну, почему? Поля зеленеют. И пр. Так он считает, погибает Россия. Он о гибели метагалактик. Он вычисляет, белая горячка.

— Не в этом дело. Это чушь. Но он считает, что если умрет метагалактика (юродивый — четыре метагалактики) — значит, вместе с ними умрет и... страшно вымолвить — и сов.власть.

Прием... — Поставщица Аспазия.

посуды...

— Ты что мне даешь, дядя?..

Лж.1: Каждый должен суметь вынуть пробку из пустой посудины. Пробка была нужна, когда там что-то в посудине было. Умею я?

— Не деньги надо чеканить, надо чеканить афоризмы.

Я все пять актов буду их чеканить и х.. меня кто остановит.

— Шнурок есть? снимай шнурок, дядя. Давай сюда. (Трюк — достать из бутылки пробку.)

Ко всем: проверьте все, стоящие в очереди... Все помешаны на спорте...

— Настали времена, когда у каждого должен быть свой шнурок. На всякий случай.

— Интересно, есть на свете такая держава, где так часто слышишь (чаще, чем ежедневно) — стрелять! Стрелять таких надо! — а ведь ни у кого, в отличие от большинства держав — на руках ни одной единицы огнестрельного оружия.

— А ты какую птичку больше любишь, Вася Говнодав?

— Матерь Пречистая, да здесь народу собралось уже метра на 2 с половиной.

— Один мой знакомый говорил: жизнь человеческая что детская рубашонка: коротенькая и вся в говне.

— Когда-то у нас была инициатива! Теперь у нас нет даже отсутствия инициативы?

— А я хочу феодализма: сидишь, напротив — замок в плющах, а ты сидишь напротив и кормишь грудью барскую суку.

— А я люблю портвейн и притирания.

— Что это за притирания такие?

— А это когда уже нет портвейну.

Юродивый: А я смотрю только советские фильмы: польско-шведские, австро-венгерские, русско-турецкие, татаро-монгольские...

Из нее Лорелея бы хорошая вышла. Лежит в болоте, в чепце, в цветах, и ее, как магнолию, уносит потоком.

Говорят Лжедмитрии. — Виталику с его тапочком: чего ж особенного "со мной каждую ночь жены космонавтов по будильнику".

Лжедмитрии: ин-тересно. Если взглянуть в сторону зенита, то Франция будет слева, а Германия — справа?

— ...Лечиться тебе надо. У доктора Спока.

— А он где, доктор Спок? Ближе к зениту, если от него смотреть, от... Если двигал от Спока в сторону Франции, то где зенит?

Ну, и чего ты узнал из этих диссидентов?

"Салонные поэтессы огнедышащие скрипят зубами во сне и... в самом никудышном смысле этого слова".

(Оба Лжедмитрия о диссидентах.)

— Мое любимое междометие "увы", но я замечаю, что с последнего времени оно становится нецензурным.

— Я же не мешал тебе, когда ты грезил. Вот и ты не мешай мне грезить.

— А то я убью тебя, Митя, ты будешь и мертвый прекрасен. Под небом скользящих созвездий.

О пришедшем в"сером": Ну, принц или не принц, мы еще посмотрим. Принц должен быть черным. Черный принц! Он должен быть датским, маленьким и нищим! Остальные принцы не в счет.

— Накажет, накажет тебя Господь, и сегодня же!

Аспазия:— Ха-ха! Да как же он меня накажет? Я у себя...

Да, по радио так и сказали: счастливо, евреи, отметить Вам Новый 3765-й год.

Юродивый жалуется. В сырости. Завотделом Инесса его туды оттащила. Он говорит:"Как Стеньку бросила в волны эта принцесса персианская".

— Так вот и держись, погода! Пусть завтра Вербное воскресенье! Сыпь разную мокрядь на эту землю! Она не стоит Солнца! Так вот и держись, погода! Так вот и стой. Не предвещай ничего хорошего, погода!

— С этими людьми надо не человеческими словами говорить, а вострым-вострым ножиком.

— Дочку назову Пилюля, и вообще как-нибудь так ласково.

Не забыть: как спит Виталик. На посудинах вверх горлышками. А тут ведь и длинные бургундские, и чекушки — для неугасания духа (а некоторые вообще - с отбитыми горлышками).

— Ты, Вася, единственный предмет роскоши, который прошлой осенью не поднялся в цене.

Обо всем лучше всего спросить у Виталика. Он устанавливает связь со всеми: сняв тапочек.

Виталик. Его постоянно спрашивают:Виталий, позвони такому-то (Андропову, госпоже Тейлор и пр.) — и узнай, который сейчас час. Мы не можем открывать заведения без точных часов.

А кремлевские часы врут... Но тут человек в сером:"Врут кремлевские часы?" Виталик опять за свой тапочек:"Кремлевские часы врут когда ж? Никогда, — говорит, — верьте. Единственным часам верьте".

— А турецкая резня: это когда турки режут или когда режут турок?

(О Вит.:"Он всякую тайну знает, но откроет ее не теперь".)

Аспазия тоже знает тайну. И тоже всякую и раскроет ее только в 4-м акте.

Лжедмитрий 1: к клиентуре (продолжая ерничать и прибаутничать):

Много пьете, дорогие товарищи, и честь вам и хвала за это от товарища Бисмарка, Железного канцлера. Он любил повторять:"Бог Всемогущий заботится только о младенцах, пьяницах и американцах".

Лж.2 — придурок — подсобник со второсортной физиономией.

Лж.1: А отсюда — прямо в винный отдел. Там (стоит) толстый Лева Сальери: с усиками а-ля Бержерак, а в очередь к нему мнутся 4О Моцартов.

Лж.1 (о стуке за окном): Феноменология духа! Не обращай внимания.

Приснилось однажды милиционеру, что он бабочка. Он весело порхал, делал ноздрями и не знал, что он — милиционер, был счастлив. А проснувшись внезапно, даже удивился, что он совсем не бабочка, а милиционер. И он не знал уже, — милиционеру ли снилось, что он бабочка, или бабочке — что она милиционер. Это ты к чему? и т.п.

— Господь приговорил меня к трем годам Душевного потрясения.

Я хотел у своего заведения установить водометы и изваяния, но мне не позволили. Вот какие бюсты я хотел установить: Александра Колчака, мадам Баттерфляй...

С появлением Мишеля:

Прекратить прием посуды! Олухи. Ну, посудите сами, как в наши времена можно заниматься приемом посуды.

К Каплану обращаются эти в сером: Подсудимый, а скажите.

Вл.Луговской:

"Как снежное темя Гиссара,

Совесть его бела,

И ни одна комсомолка

Зарезана им не была".

— Духовной жаждою томим...

— Не давай гортани твоей томиться жаждою.

— Со времени смерти Паганини скрипка его лежала в Генуе, и никто не имел права прикоснуться к ней. Первый, кто дерзнул взять ее в руки и сыграть на ней, был скрипач Б.Губерман.

— Они дышат мне в душу чесноком и чечевицею.

— И нашего Емельку убил ихний Михельсон.

Чемберлен:"Иудей же избрал трагическую судьбу, это служит доказательством его величия".

Пророк Исайя — Праздники ваши ненавидит душа моя.

Мы — за идею абсолютного будущего, которое противостоит всей реальности прошлого и настоящего (по Буберу).

— И кто из вас знает, что Иордан вытекает из Тивериадского озера, впадает в Мертвое море.

Выше всего в человеке ценить непоправимость!

И все это я не проскакал на розовом коне, а шел привычной, подрагивая и скрипел.

— Ты как-то запала мне в душу, и я больше о тебе не вспоминал.

Хозяин заведения. Он здесь и ночует. Вот здесь — мой самый холодный угол, это моя Индигирка, это мой Оймякон.

— Здесь говорят непонятное о понятном. Там — понятное о непонятном.

— Ты что же, зараза, — хочешь изменить предначертания судьбы.

(Алиса) — Аспазия:

— Я немножко запоздала? Славик... делал двухчасовой доклад о существе человека.

— Я в чем-то соглашаюсь с Вильямом Шекспиром, но кое в чем и нет.

— Эти дни были для меня насыщены. Насыщены напряженными научными поисками... Почему ты не бываешь в духовных центрах Москвы? Или ты считаешь свою грандиозную палатку единственным духовным центром?

— Эманирует, сидя в гостях, флюиды и метастазы. Другой тоже эманирует, но эманирует трансградиентные корпускулы, за неимением корпускул имманентных.

— Я нахожусь все еще в той стадии, которая уповает.

— Дело не в установках, а в интерполяции.

— Нет, дело в структуре.

— Но мы в науку не подключаемся. Мне думается, к истинности не подключаются ценности, а к ценности подключается истинность.

(осматривая заведение в связи с перекосом пола...)

— А он просто вписался в полукультуру.

— В момент творчества я только медиум высших сил. — Мое головокружение от ее успехов. — И

страсть к чему-то нездешнему, зыбкому к чему-то, коленно-локтевому.

Правый католик, но почти не Мур:

"Ну, что же, большевики — это атмосферическое явление, и относиться к нему следует как ко всякому явлению атмосферическому".

А для этого необходимо соединение крайней глубины с крайней бестактностью.

Величайший образец — Иисус. Верх неповерхностности и вершина бестактности.

Что ж, надо еще подумать, для каких целей в 40-х годах Господь обделил нас поражением.

Как говорил Гладстон своему приятелю Дизраэли:

"О! Это будет не скоро! Когда птички полетят и французы образумятся".

— И набожность должна быть одаренной.

— А у него она не глубока, а упряма (читает молитвы, как кондуктор объявляет остановки).

—Много бед нам понаделали:

хан крымский

да папа римский.

Покойный папа Павел VI называл это "кризисом послушания"

Несостоятельность и слабость человека.

Рефлекс антиклерикализма — тоже.

"Преступление против Бога и человека" — Павел VI.

— Для этого ты слишком лучезарен.

Об атеизме: "Из тезиса, предназначенного для нескольких спекулятивных умов, он стал мифом толпы".

"Извращенное издевательство над наиболее обязательными очевидностями" (прелаты Вселенского Собора).

По Карсавину: "Мир — результат Самоограничения Бога".

— Следует вести себя удовлетворительно.Отлично себя вести нехорошо и греховно.

Когда Господь прибирает нас к рукам — против него нечего возразить.

Когда человек — это еще куда ни шло. Но когда Эти!..

ОН-то есть, ОН жив, а вот мы — неизвестно, есть ли мы и живы ли.

— противоречит или не противоречит это духу Писания?

— Как бы то ни было, единственный раз Россию возглавил католик, целых 11 месяцев. (Лжедм.1605 — 1606.)

— Ну, я уважаю немоту, если она высокоторжественна.

И чего стоит мир, если над ним не тяготеет ни одно проклятие.

4-й акт кончается. Ну что ж! к барьеру! Стало быть, к барьеру!

— Просклоняй слово "стена".

Начинает спрягать:

Я — ткни и развалюсь,

ты — ткни и развалишься,

она — ткни и развалится.

Из Исайи: "Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили!" (33.1.)

— Под натиском слишком мощного потока мыслей —

— у Диккенса —

— сжальтесь надо мной ради всех святых ангелов небесных —

— Язык мой приник к ипостаси моей —

— Я живу в эпоху всеобщей невменяемости.

Раззудись, плечо!

Размахнись, рука!

Чтобы в воздухе летали буржуазные окорока!

Меня здесь выбрали членом тред-юниона и подносят в день 2 шкалика.А все потому, что юность мою опалили фугасы.

Прямо пойдешь — жить не будешь, налево пойдешь — жизнь потеряешь, вправо пойдешь — умрешь, назад пойдешь — околеешь.

Юродивый: Его пустошные словеса (звонящий по тапочку, сколько времени и пр. Он же предсказывающий судьбы).

— Нострадамус! — позвони де Голлю.

— О чем ты думаешь, Борис, Печальный пасынок природы?

Набальзамируйте меня! (из Генриха XV).

Совместить в такой компании все голоса — придать видимость махонького единства — упражнение в контрапункте).

Отличать: предметы роскоши от предметов 1-й необходимости.

(предмет 3 — 4-й необходимости).

— И холодно, как будто ты не у себя в постели, а где-нибудь в море Лаптевых.

и у Шекспира: ромашка растет тем сильней, чем больше ее топчут.

и у Островского: "Самое главное в жизни — быть всегда бойцом, а не плестись в обозе 3-го разряда.

— Чем скромнее боец, тем он прекраснее".

— Какой же психопат

Не любит листопад.

Ему: Ну и что же: возьми на память из моих ладоней немножко водки и немножко пива... и не вспоминай жизнь свою —

Мы будем жить на белом свете номер 2.

— пустота—

— мне хотелось бы черпать тебя загорелою рукою.

— мне такой ущербной монады не надо (о поэтессе).

— Вначале надо подвергнуть все свои хорошие чувства почти поголовному истреблению:

— мне вот что нужно, чтобы во мне проснулся вампир.

— Извергни его, на нем печать Вельзевула.

— Мизантроп, не любящий проторенных троп.

Вампирист: Обряд известный угощенья:

Несут на блюдечке варенья... .....

и молодого краснофлотца

несут с разбитой головой

(внелогичен и по ту сторону всяких обязательств)

входя: Невольно.к этим гнусным берегам —

— У меня есть предчувствие, что я скончаюсь где-нибудь между Звенигородом и Вестфалиею. Но только интересно: ближе к Вестфалии или к Звенигороду?

— Ты скончаешься здесь. В моем сердце ты уже издох. Тебе осталось это в сердце нашей Родины. Ты понял, о каком сердце я говорю?..

— По вечерам бывает так приятно иногда прибегнуть к геноциду. Или к погоне за химерами.

— Я сначала хотел быть кавалеристом. А теперь я знаю, кем я буду: я буду следить за пожарами, чтобы никто не вредил пожарам, чтобы принимать редкие меры против тех, которые тушат пожары. Хе-хе, лет 15 назад эта мысль меня бы согрела.

Девочки должны быть парализованы. Так лучше.

— Но в нем гнездятся демоны.

— Да, да. Мистика всегда шла бок о бок с половой распущенностью.

Колышется уже. Так Харонова ладья на стиксийских волнах — в царство тлена и вечного запустения.

— И днесь не пью, и присно не стану.

Все мыслью объять и все успеть совершить.

Нагадить — на вершинах Килиманджаро, Джомолунгмы, Фудзи, Монблана и на обеих вершинах Эльбруса. Вот это я понимаю.

Крайне левый: типа друзей поэта Делоне. Но из худших.

2 акт. Вот до чего довели русские. Пришел по вызову телемастер. Всего-то навсего. А старушка ушла на кухню, и у нее от испуга руки трясутся — может быть, из органов?

Им: наши люди крылаты, наши верховные люди — крылаты. "Тщетны были бы все усилья, но крыльев ей нам не связать. Думал ты, пташка уж поймалась" и т.д. Законов всех она сильней. И заставит себя любить.

3. Помолчи. Не проникай в меня. Я сам знаю свои сроки. Не вводи свои танки в мой Кабул.

1. Человек за бортом!

— Вот она, сказочная ширь русской натуры! Но убивать сразу полтора-два млн. человек — это, по-моему, несимпатично.

4. А когда вообще начнется настоящее действие? Вот ведь уже и ночь накануне Ивана Купала — и никакого настоящего действия нет. Может, его вообще не будет. По нашим временам, лучше обходиться без действия...

2. А Фанни-то придет, наконец, или не придет? Неужели весь вечер сидеть с этими вот проблядешками?

Каплан им: Ничего, ребятишки, если бродяга к Байкалу не подходит, Байкал подойдет к бродягам.

Борец и Каплан ему:А хочешь, паладин, я тебе больше не поднесу.

Каплан: И сплю здесь. Здесь — мой кабинет... Вечерами прогуливаюсь: у сосновых новеньких ворот. "Может быть, сюда какого супостата. Может быть, сюда того дегенерата... ветерок попутный занесет, я и сторож. Я и...

Вот — наши басурманы и супостаты!! — и...

— И это меня-то лупить! Меня! Кабинетнейшее из земных существ! Внебрачного сына Евы Браун!

1. О ней: ...и трепетание предсердий. А что, пригожая. И чтобы внутри ее были клавикорды, а снаружи — тучные пажити.

3.Юр.: Идем, дома у меня никого нет, сестра-студентка — на овощебазе, брат в командировке, мать в параличе, отец — в Анголе.

— Я выбросил ее из окна, с 9-го этажа на 4-й.

2. Она: тот-то уже потому лучше того-то, что, когда выпьет, не говорит умных вещей.

Иностр.2 (женщина неограниченных возможностей).

Иностр. — Такая женщина, что леденела кровь и волосы становились дыбом...

Он щекотал эту великомученицу.

3. Это уж у нее так заведено. Потребность наутро уничтожить своего ночного мила-друга-приятеля умышленно деловым складом физиономии и обратно пропорциональной ночи холодностью — я бы назвал это комплексом Клеопатры.

3. Да нет же, мы почти и не прикоснулись друг к другу, я чмокнул ее в запястье, правда. И вот, через

погода она родила пухлую девочку с голубыми глазами.

2. Дуры солнышка ждут, дуры песни поют, а дураки все сидят, разгораются.

2. Наслаждайся, богоподобная! Ты еще в самом разгаре! Кто-то издевается:

свежа, как предание.

Красавица. Писаная, как торба. И свежа как...

— От каждой двадцатой бабенки его кидает в озноб (о Гурев.)

2. Каплан. Твоя фатальная девочка скоро облысеет, раздавая свои локоны разным православным бабникам.

1. Я не могу о ней говорить без слез.

1.3.: Он так взволнован, что с души воротит.

2. Спроси у него, существенный он человек или несущественный?

1. От одних только икр ее мороз подирает по коже.

3. Она: А мне наплевать в орлиные очи твои!..

2. Она меня обезглавила. У меня болит шея от недоброкачественных грез. И пр. (все время поворач.). Сладостных дел мастерица, как сказал бы Саади.

3. И это она вытворяла в те дни, когда твоя осанна проходила через такие горнила!

2. Веселый нонконформизм. Мишель Каплан. И придурки.

Куда ты ведешь нас, безумный старик? — А х.. его знает! Я сам заблудился!

Каплан 1. А если они ворвутся, я сбегу на балкон и притворюсь цветочком. Они придут, посмотрют — а это что за цветочек вон на том горшке? А моя Светочка со страху скажет что-нибудь не то, вроде "палтус" или "хариус".

А что это у него сбоку, у этого "палтуса"? А это тестикулы — а по совместительству — узурпаторы.

1. Чего гогочешь, как Плутарх какой-то недорезанный.

2. Или: Сидит, надулся, как какой-то Буонаротти.

2. Каплан: Иным покажется, что надо экономить свои силы при освоении Нечерноземья. Но нет — я не пожалею всех своих сил для освоения Нечерноземья (в ответ на упрек русских националистов).

2. Придурки.Каплан: Язык Барбароссы и Эрнста Тельмана, анцлера Бисмарка и доктора Геббельса — велик и могуч.

Придурки рифмуют: Язык В.Пика востер как пика. Россы с трудом усваивают язык Барбароссы. Язык Эриха Хонеккера не дается им ни хера и т.д.

— С ветс'ую в‹асть все ‹юбят. Ее е ‹юбят т ‹ь' '‹ду ы, ‹ифтеры и › ‹дава е.

2. (Вадимчик. Приверженец норманской династии. Эсквайр)

— На нашей стороне все, в ком еще душа держится.

3. На черном рынке и в швейцарском банке.

— Какой же скептик? Хорош же скептик, у которого 4О тысяч симпатий и мильон терзаний.

Это мы уже одолели. Мы уже привыкли ценить только непомерное.

2. Мужайся и уповай! (Бытие:"Почему ты огорчился и отчего поникло лицо твое!")

2.Это уже ползалога полууспеха!

"Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но зачем ты выпил стакан моего портвейна? Ал.Македонский тоже был великий полководец, но зачем же пить чужой портвейн? Я — понимаю — земля — колыбель человечества, но нельзя же сидеть на ней и выпивать стакан не своего портвейна".

4. Каплан. Друг рода человечества.

"У него не житье — а мгновения".

3. Они не стремятся в дальние миры, еще будучи девушкой. — А я — уже будучи девушкой — стремился в дальние миры.

2. Невесело встречают вербное воскресенье миллионы людей, живущие в странах капитала. Задумчиво грезят они на своих сеновалах.

3. Знаю, что такое рыцарь. И терпеть не могу рыцарства. За то, что у них забрало, а страха и упрека нет.

2. Вот у нас в винном отделе: стоит толстое мудило Сальери и к нему в очередь сорок Моцартов.

3. Все твои привычки пагубные! У тебя есть хотя б одна непагубная привычка?

2. Каплан: Надо лишить нашу Родину-мать ее материнских прав.

Каплан: Что ж! И Геркулес чистил конюшню, и Аполлон-Феб пас стада скота у Адмета!

3. Вергилий утверждает, что душа может чахнуть без видимых причин.

к Фанни 2. Не твоего острого ума дело.

Фанни 3. Это напоминало бестолковый ритуал испанского двора: испанские гранды перед королем снимают шляпы, а король в тысячный раз запрещает им это делать и возвратить шляпы на головы. И ведь все знали, что и в следующий раз будет равно так же: все снимут шляпы, а король покажет им жестом, что это (станут снимать шляпы, а король их от этого предостерегать, но они все равно снимут шляпы...)

Глубокоуважаемые и дорогие сотрудники журнала "КОНТИНЕНТ"!

Мы не станем повторять трюизмы, что слово — самое мощное оружие в борьбе с большевиками. Что умного слова ждут люди в Кузбассе и Воркуте, в Караганде и Донбассе. Этого слова ждут в Ереване и Баку, в Вильнюсе и Риге, в Казани, Иркутске и Хабаровске. Что среди российских "дефицитов" самым большим является дефицит чтения. Самой большой служит нехватка политических программ для оформляющихся в партии многочисленных общественных движений не только в столицах, но и в глубинке.

КРАХ МИРОВОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ЛАГЕРЯ) — суть реальность сегодняшнего дня. Джин выпущен из бутылки, и больше никогда Горбачеву не убедить бастующих шахтеров Воркуты, что своей свободой слова, мысли и дела они обязаны ему. Они уже знают правду об академике САХАРОВЕ, они начали систематически читать СОЛЖЕНИЦЫНА, они из рук в руки передают зачитанные в лоскуты томики "КОНТИНЕНТА".

Мы глубоко убеждены, что уникальную возможность легально издавать и распространять "КОНТИНЕНТ" в России следует немедленно использовать. Больше того, следовало бы подумать об издании специально для России Дайджестов лучших материалов "КОНТИНЕНТА" прежних лет выхода. Политическое, аксиологическое и эстетическое воспитание российских народов сейчас — задача № 1. А развал ненавидимой всеми народами КПСС — дело нынешнего, 1990 года. И этому развалу надо чуточку помочь.

Перефразируя Керенского, скажем: НЕ БЫЛО БЫ "КОНТИНЕНТА" — НЕ БЫЛО БЫ ГЛАСНОСТИ.

Венедикт ЕРОФЕЕВ
Владислав ЛЕН

24.04.90

Венедикт Ерофеев

САША ЧЕРНЫЙ И ДР.

На днях я маялся бессонницей, а в таких случаях советуют или что-нибудь подсчитывать, или шпарить наизусть стихи. Я занялся и тем, и этим, и вот что обнаружилось: я знаю слово в слово беззапиночным образом 5 стихотворений Андрея Белого, Ходасевича — 6, Анненского — 7, Сологуба — 8, Мандельштама — 15, а Саши Черного только 4, Цветаевой — 22, Ахматовой — 24, Брюсова — 25, Блока — 29, Бальмонта — 42, Игоря Северянина — 77. А Саши Черного — всего 4.

Меня подивило это, но ненадолго. Разница в степени признания тут ни при чем: я влюблен во всех этих славных серебряновековых ребятишек, от позднего Фета до раннего Маяковского, решительно во всех, даже в какую-нибудь трухлявую Марию Моравскую, даже в суконно-камвольного Оцупа. А в Гиппиус — без памяти и по уши. Что до Саши Черного — то здесь приятельское отношение, вместо дистанционного пиетета и обожания. Вместо влюбленности — закадычность. И "близость и полное совпадение взглядов", как пишут в коммюнике.

Все мои любимцы начала века все-таки серьезны и амбициозны (не исключая и П.Потемкина). Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. "Ни покурить, ни как следует поддать", ни загнуть не-пур-дадамный анекдот, ни поматериться. С башни Вяч. Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь.

А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова.

Когда читаешь его сверстников-антиподов, бываешь до того оглушен, что не знаешь толком, "чего же

ты хочешь". Хочется не то быть распростертым в пыли, не то пускать пыль в глаза народам Европы; а потом в чем-нибудь погрязнуть. Хочется во что-нибудь впасть, но непонятно во что, в детство, в грех, в лучезарность или в идиотизм. Желание, наконец, чтоб тебя убили резным голубым наличником и бросили твой труп в зарослях бересклета. И все такое. А с Сашей Черным "хорошо сидеть под черной смородиной" ("объедаясь ледяной простоквашею") или под кипарисом ("и есть индюшку с рисом"). И без боязни изжоги, которую, я замечал, Саша Черный вызывает у многих эзотерических простофиль.

Глядя на вошь, Рукавишников почесывает пузо, Кузмин — переносицу, Клюев — чешет в затылке, Маяковский — в мошонке. У Саши Черного тоже свой собственный зуд — но зуд подвздошный — приготовление к звучной и точно адресованной харкотине.

Во всяком случае, четверть века назад, когда я впервые напился до такой степени, что превозмог конфузливость, первым моим публично прочитанным стихотворением был, конечно, "Стилизованный осел":

"Голова моя — темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам,
По утрам..." — ну, и так далее.

Рождество 82 г.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

НЕКРОЛОГ,
"сотканный из пылких и блестящих натяжек"

"Черноусый поник и затосковал.
На глазах у публики рушилась вся его система,
такая стройная система,
сотканная из пылких и блестящих натяжек.
"Помоги ему, Ерофеев"...

Поэма "Москва — Петушки",
гл."Есино — Фрязево"

Венедикт Васильевич Ерофеев из прозаических жанров любил жанр доноса на самого себя. Так он утверждал еще в начале 60-х годов и тогда же в доносе на себя писал: "Венедикт Ерофеев собирает вокруг себя людей и говорит-говорит, говорит он все по-русски, а смысл-то все иностранный". В то время донос был очень популярным жанром, читали их избранные, а вот писали из ста человек девяносто. Веничка привлекал к себе любителей этого жанра, поэтому всякого вновь приходящего спрашивали: "А у тебя есть и удостоверение? Да ты не суетись, садись, мы тебе дадим информацию. Где ж тебе ее и взять, бедолаге, а жить-то хочется с комсомолом-партией душа в душу". А из стихотворных, сознавался Веня, любимый — фальшивки ЦРУ.

Но вот жанр некролога, да еще на самого себя...

Ведь и "Благовествование от Венедикта" автор кончал: "И вот ухожу я, и вот ухожу я из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду" (весна 1962).

И "Москва — Петушки" — на той же ноте: "...с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду" (осень 1969).

И "Вальпургиева ночь, или Шаги Командора", трагедия в пяти актах, заканчивается гибелью всего живо-

го кроме бессмертных мервяков, и "издохшим ото всего этого попугаем" (ранней весной 1985).

А бессмертный И., в которого Каплан из нагана стреляла, описанный Веней в "Моей маленькой Лениниане"? Наверное, Веня прикончил бы даже и разговоры об И. в задуманном (увы, только едва начатом) произведении "История маленькой девочки из бедной еврейской семьи Фанни Каплан".

А уж "Заметки психопата" (1956 — 1958), статьи о своих любимых земляках-норвежцах Гамсуне, Бьернсоне, Ибсене (начало 60-х), маленький роман "Дмитрий Шостакович" (1972) погибали еще в рукописях: аккуратно, каллиграфически выписанные строчки на листочках, листочках... опадали с Вени, как поздней осенью... Он сам сетовал: "Я как клен опавший..." И куда ветер унес эти листочки?

Кроме того, были еще учебники для маленького сына Венедикта Венедиктовича по истории России, по русской литературе, по географии. Они послужили растопкой в деревенской печке (деревня Мышлино под Петушками, на картах не указана), когда маленький Веня начал учиться писать букву "Ю".

Только в этюде о Василии Розанове герой ускользает из объятий, ну скажем, Прозерпины. Все попытки расправиться с собой физически и метафизически были тщетны. "Созвездия круговращались и мерцали. И я спросил их: "Созвездия, ну хоть теперь-то вы благосклонны ко мне? — Благосклонны, — ответили Созвездия" (лето 1973).

Если уверовать в теорию Венички (которою он спасал "сотканные из пылких и блестящих натяжек" построения Черноусого) и трезвенник Иоганн фон Гете, спаивавший всех своих персонажей, сам ходил от этого "как обалделый" и был по сути "алкаш", "и руки у него как бы тряслись" ("Москва — Петушки", глава "Есино — Фрязево"), то Веня только и делал в своей жизни, что писал свои некрологи. Одни только некрологи!

... О, как Веня избегал пятниц своей жизни! Потому что "каждую пятницу повторялось все то же: и эти слезы, и эти фиги..." ("Петушки", гл. "Железнодорожная — Черное"). "О, эта боль! О, этот холод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя будет и впредь такой, как сегодняшняя, — я удавлюсь в один из четвергов!..." (гл. "Петушки. Перрон"). Веня ловчил: "вечером в четверг выпивал одним махом три с половиной литра ерша — выпивал и ложился спать, не раздеваясь, с одной только мыслью: проснусь я утром в пятницу или не проснусь? И все-таки утром в пятницу я не просыпался..." (гл."Черное — Купавна").

Венедикт Васильевич Ерофеев **проснулся** в пятницу 11 мая 1990 года, посмотрел на мир ясными голубыми глазами обиженного ребенка, как бы спрашивающими, за что "эта боль! этот холод собачий! эта невозможность!" — и уснул навеки.

Веня мог и в пятьдесят один сказать: "Нет, вот уж теперь — жить и жить! А жить совсем нескучно! Скучно было жить только Николаю Гоголю и царю Соломону. Если уж мы прожили тридцать лет, надо попробовать прожить еще тридцать, да, да, "Человек смертен" — таково мое мнение. Но уж если мы родились — ничего не поделаешь, надо немножко пожить... "Жизнь прекрасна" таково мое мнение " (гл. "Черное — Купавна").

Вышло первое издание книги "Москва — Петушки" на родине. Веню впервые прочитали на родине не только друзья и кагебешники, но и жители Петушков. Дали пенсию в 28 рублей, пусть и по инвалидности, пусть ее хватит только на две бутылки российской по 9 рублей 20 копеек и 3 бутылки грузинского сухого, кислого, как концентрированный раствор витамина "С". Правда, если выпить сначала всю российскую, сдать бутылки и уже потом купить грузинской кислятины. То есть месячной пенсии хватило бы успокоить нервы в понедельник, но чтобы вечером в четверг выпить три с половиной литра ерша и не проснуться в пятницу, на это пенсии бы не хватило. Две российских — это литр, и три бутылки по 0,75 грузинской кисля-

тины — это два литра и 250 граммов. Не хватает еще 250 граммов. Да и не смешаешь ерша, ведь после российской надо сделать перерыв и сдать бутылки, чтобы...

Недодало советское правительство на 250 граммов. Как там в Поэме? "...Райсобес, а за ним туман и мгла. Петушинский райсобес, а за ним тьма во веки веков и гнездилище душ умерших. О, нет, нет!" (гл."Петушки. Кремль. Памятник Минину и Пожарскому").

А до пенсии советская сверхдержава делала вид, что такого подданного у нее вовсе нет. Социальная защищенность на склоне жизни в 28 рублей — хоть такое признание от государства, которого Венедикт Ерофеев не признавал никогда. Веня жил, по его выражению, как у антихриста за пазухой, как во чреве мачехи.

Он не был путником, скитальцем, он был изгнанником. Его гнало по стране... Украина, Белоруссия, Заполярье, Литва, Узбекистан, и Россия, Россия, Россия... И каждую весну мечта вернуться на родину. Он писал в дневнике: "...о переселении душ. Может, я когда-нибудь был птичкою? Почему меня тянет на север с наступлением лета?" Но его гнало и швыряло порывами — чего?!

Четыре вуза — Московский Государственный университет, Орехово-Зуевский, Коломенский и Владимирский педагогические — изгнали его. "Горе тебе, Хоразине! Горе тебе, Вифсаидо! ибо..." и т.д. В этом государстве всяческого партийного контроля и кагебешного учета Веня семнадцать лет (с 1958 по 1975) жил без "прописки", то есть — никому в мире этого не понять! — просто не существовал как житель государства. Жил без "прописки" — никому в мире никогда не понять! — то есть в "эпоху холодной войны", во время тления карибского конфликта, в разгар дружеской помощи чешскому народу в 1968, в период колыхания колониальных войн Венедикт Васильевич Ерофеев не выполнял "священной обязанности" службы в Советской Армии. Когда он в 1975 году пришел в военный

комиссариат встать на учет, полковник задрожал, как Агаг перед Самуилом в Галгале.

Веня никогда не вступал и не выказывал предпочтения никакой партии, он всегда был целен. Он утешал в минуты горечи и почвенника, издателя журнала "Вечер" Владимира Осипова, и многострадального Петра Якира, и самоуверенного, но покидающего родину Андрея Амальрика, и "нежно любимых" Вадима Делоне с Ириной Белгородской...

Веня ценил в людях только человеческое страдающее сердце. И если человек страдал, ну хотя бы оттого, что он пахнет, Веня любил его. Он был махровым отщепенцем и понимал, какие нужны усилия человеку, чтобы не вляпаться в эту толпу, в эту толщу масс, в эту паству, в это общество, в этих современников и т.д., которые всяческую махровость норовят облысить. В музыке, в стихах, в прозе, в живописи, в жизни — Веня слушал боль и страдание человеческого сердца. И соврать при нем было невозможно. Он припечатывал: "Говно", — и лицо его кривилось, будто это "говно" ему в рот положили. Сам он был человеком подлинным, то есть по рассуждению Владимира Даля, подлинник, под пытками, под батогами ставший истинным. Он был нежным душой: любил цветы лютики, романсы Александра Гурилева на слова Алексея Кольцова ("На заре туманной юности...", "Вьется ласточка...", "Матушка-голубушка"), симфоническую поэму "Финляндия" своего земляка Яна Сибелиуса. Его ранила даже Моцартова колыбельная: "Спи, моя радость, усни... Кто-то вздохнул за стеной, что нам за дело, родной?..." Веня вздыхал на каждый вздох человека в этом мире, будь он хоть эллин, хоть иудей. Страдание человека в этом мире было ему пыткой.

Какие страсти разыгрывались вокруг членства Пастернака и Солженицына в Союзе советских писателей?! Ведь лишить писателя "членства" — значит лишить его последнего куска хлеба, последнего гроша, хотя бы и за перевод с ханты на манси. Ерофеев, переведенный на 30 языков мира, не стал членом ССП... не

стал советским писателем. Как не был советским гражданином, при своей из-государства-изблеванности.

Но четыре профиля! — классических! — кто не помнит их, высовывающихся друг из-за друга! По всей родине и в братских странах социализма (простите!) на самых видных местах, на всех высоких зданиях, над всеми толпами — четыре профиля... "Один из них, с самым свирепым классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило... **Они вонзили мне свое шило в самое горло...**" Так написал Веня осенью 1969-го. Мучаясь от рака горла, он скончался 11 мая 1990 года.

И как в день рождения в двадцать лет, и в день рождения в тридцать лет, и в сорок, и в пятьдесят на погребение пришли все те же (гл."Черное — Купавна"). Любимая старшая сестра Нина Васильевна. Владимир Сергеевич Муравьев — "достопочтимый Мур", которому посвящена трагедия "Вальпургиева ночь". Вадим Тихонов — "любимый первенец", ему посвящены "трагические листы" поэмы "Москва — Петушки", участники Октябрьской Петушинской революции: Борис Сорокин — премьер, Владик Цедринский — посол в Норвегию, Лида Любчикова — как Веня любил ее сопрано. Игорь Авдиев — Черноусый и министр обороны Петушкинской республики. "Поэтесса" Ольга Седакова. Друзья, персонажи, актеры, игравшие в Вениных пьесах, старые читатели. Человек 120.

Отпевали раба Божия Венедикта, католика, в православном храме "Положения Ризы Господа нашего Иисуса Христа" в Москве, похоронили на Новокунцевском кладбище. Помяните раба Божия Венедикта и католики, и православные, помяните его почитатели и просто читатели. Петушки — апофатичны, но Веничка садился в катафитическую электричку "Москва — Петушки" и ехал... Все мы в этой электричке.

Черноусый (И. Авдиев)

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МЕТАМОРФОЗЫ ГАЛИНЫ БОРИСОВНЫ

Воистину неисповедимы пути Твои, Господи! Казалось бы, еще совсем недавно, чуть ли не вчера, вся мощь карательной машины нашего государства была обрушена на "литературных власовцев" и "отщепенцев", позволивших себе сметь свое суждение иметь. Сотни, если не тысячи бойцов видимого и невидимого фронта были задействованы во вселенской облаве на сочинителей минорных сонетов, авторов сатирических повестей и рассказов, подписантов правозащитных обращений к власть имущим с призывами соблюдать собственную конституцию. Их лишали хлеба насущного, сажали в тюрьмы и лагеря, запирали в дурдома, не мытьем, так катаньем выпроваживали из страны, а то и просто убивали, как это случилось, к примеру, с Константином Богатыревым или Анатолием Марченко.

Сколько сил и средств потребовалось употребить прожорливому медведю нашей Галины Борисовны, чтобы убить этого, по ее мнению, слишком разговорчивого чижика! Чижика-то, он, правда, так и не убил, но поработал, прямо скажем, на славу.

А нынче — посмотри в окно! Под голубыми небесами перестройки, во главе дружных колонн, устремленных к зияющим высотам новой, и теперь уже несомненно полной демократии, вышагивают те же самые бойцы, того же самого фронта, что копались в диссидентских унитазах, выискивая там и склеивая по кусочкам антисоветскую крамолу, сопровождали Солженицына во Франкфурт, а Сахарова в Горький, вербовали агентуру на Западе, внедрялись в эмигрантские организации или в лучшем случае восторгались великими творениями гениального прозаика Леонида Брежнева и славили исторические достижения застоя.

Вот они, гиганты сегодняшней мысли, отцы русской демократии!

А лозунги и транспаранты над ними! Какое уж там: "Выполняйте собственную конституцию!" Старо, наивно, мелкотравчато. "Долой коммунистов!", "Свобода или смерть!", "Долой фашистскую клику Горбачева!" — ни на йоту меньше, только так.

Но стоит завести с ними речь об их недавней деятельности, они сразу же вспоминают о профессиональной этике (представляете, и у них, оказывается, есть этика!), производственных секретов, мол, не выдаем.

Поговорить о деполитизации, демократизации органов — это пожалуйста, это сколько угодно, это с большим даже удовольствием, но вот о профессиональных секретах — от этого увольте, к этому не прикасайтесь, это свято да и к тому же, что называется, себе дороже. Не стесняются при этом даже на Сахарова кивать: тоже, мол, не без греха. Нынче и такие параллели в ходу: все можно, все дозволено!

Какие уж там моральные критерии, когда бывший политзаключенный, ко всему прочему еще и священник, считает не зазорным для себя протежировать в предвыборной кампании бывшему генералу КГБ; когда писатель, душивший своих коллег по цеху, пишет статьи о нравственной ответственности и публикует их в самых что ни на есть либеральных изданиях; когда человек, непосредственно руководивший в недрах карательного аппарата изничтожением свободной литературы, становится любимым автором тех же самых изданий; когда модный публицист, искренне, наверное, полагающий себя прогрессивным интеллигентом, на страницах не менее модного еженедельника, в полемике с двумя политическими эмигрантами, в том числе и с вашим покорным слугой, всерьез проводит сравнительный анализ советской и американской разведок, разумеется, в пользу последней. Этому публицисту даже в голову не приходит, что после этого ни один уважающий себя западный интеллектуал не подаст ему руки. О времена, о нравы!

(Разумеется, в русской истории сыскные метаморфозы не новость. Вспомним хотя бы обиженного правительством директора департамента царской полиции Алексея Лопухина. Но, во-первых, в отличие от нынешних, тот совершил конкретный поступок — разоблачил Азефа, а не занимался пустопорожней демагогией насчет полицейских реформ; во-вторых, при всем одобрении этого его поступка, российская общественность не спешила выдвинуть бывшего жандарма в депутаты Государственной Думы и Иоанн Кронштадтский не спешил к нему с моральной поддержкой).

На все это мне, конечно же, могут резонно возразить, что незачем ворошить прошлое, что люди меняются и что я, Владимир Емельянович Максимов, тоже в этом смысле не святой.

Совершенно верно, с тою лишь разницей, что в своем автобиографическом романе я рассказал о своих грехах сам и задолго до того, как у меня об этом спросили, не ожидая ни перестройки, ни сочувствия окружающих. Почему бы не сделать этого и всем тем, кого я здесь поминаю.

Почему бы, к примеру, бывшему генералу-разведчику, а ныне народному депутату, вместо того чтобы прилюдно похваляться регалиями, полученными им за нанесение огромного ущерба западной демократии (в любви к которой он теперь так горячо клянется), и произносить отвлеченные речи о деполитизации органов, не рассказать о практике внедрения советской агентуры на радио "Голос Америки", "Свобода" и вообще в средства массовой информации русского Зарубежья, которой он, судя по оброненному в одном из своих многочисленных интервью полупризнанию, занимался, работая в Вашингтоне?

Почему бы также и его коллеге по ведомству, столь упорно и садистски (читайте об этом в романе В.Аксенова "Скажи изюм") преследовавшему инакомыслящих писателей, не поведать честному миру о того же рода деятельности на Западе, за которую он, по огоньковскому свидетельству его бывших сотрудников, получил орден Красного Знамени?

Ведь выпестованные ими кадры и по сей день продолжают свою разрушительную работу в эмигрантской среде, навязывая целенаправленную дезинформацию и многомиллионной отечественной аудитории. Убежден, к примеру, что оголтелая кампания против Александра Солженицына, последовательно проводимая в средствах массовой информации не только русского Зарубежья, но и Запада вообще, организована именно этой публикой.

Почему бы вольным или невольным помощникам Галины Борисовны из числа нашей либеральной и консервативной интеллигенции не поделиться с народом, под какими пытками, в каких глухих казематах заставляли их подвывать брежневской клике и изгаляться публично в адрес своих собратьев по профессии?

Заверяю вас, что тогда бы и я искренне поверил их демократическому возрождению и с охотой внял бы их свободолюбивым речам. А до тех пор увольте, не в коня корм.

Да и самой Галине Борисовне давно следовало бы задуматься над тем печальным для нее фактом, что, пока она гонялась за стихотворцами и поклонниками советской конституции с человеческим лицом, ухлопывая на эти дурацкие игрища миллионы и миллионы народных денег, у нее под боком вызревали славные орлы, распродававшие оптом и в розницу все мыслимые государственные секреты (пусть они рассказывают байки о своих идейных мотивах командировочным), и нынешние "ниспровергатели основ" (пусть о своем духовном прозрении они пудрят мозги учащимся школ для дефективных). Подлинно же идейных среди них раз-два, и обчелся: может быть, Пеньковский с Суворовым, не более того.

Причем живут эти орлы на Западе, в отличие от тех, кого они когда-то преследовали, еще более припеваючи, чем жили на родине. Во всяком случае, до сих пор. Ведь перебежчикам из их ведомства их зарубежные коллеги обеспечивают безбедное существование практически до конца дней. Недаром Владимир Войнович однажды горько пошутил по этому поводу: "Чтобы

хорошо жить на Западе, надо было работать в КГБ". Но это, повторяю, только до сих пор. Кажется, в связи с перестройкой предложение начинает превышать спрос, и вскоре этот Клондайк может иссякнуть.

Так почаще бы нашей Галине Борисовне в зеркало заглядывать, за собственной внешностью следить, — глядишь, со временем бы и похорошела.

Владимир Максимов

ОТ КОМИТЕТА "НАЦИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ"

Трагические события в Литве могут означать если не конец перестройки, то ее тупик. Объявленная на весь мир эпоха цивилизованности, обновления способна завершиться открытием огня в собственных граждан. Да, перестройка далеко отклонилась от первоначальных замыслов. Республики не принимают варианта независимости, исходящего из центра. Старая экономика развалилась. В стране крайне не хватает правопорядка. Однако пролитие крови 1985-й год не вернет, экономики не создаст и порядка в стране не прибавит.

Насилие происходит от бессилия. В такой критической ситуации отсутствия информации у общества, нет ее, как нам объяснили, и у руководителей государства. Это уже было не раз. А пять лет назад, если припомнить полное неведение, скобь больна страна, породил самое радужное настроение, уверенность, что все проблемы удастся разрешить политическими средствами и в короткий срок. В результате усталость от многократных обещаний добиться благополучия в 2-3 года, прогрессирующее неверие с

многократных обещаний добиться благополучия в 2-3 года, прогрессирующее неверие с одной стороны. С другой парад суверенитетов, война законов, азартное желание не прибавить национального богатства, а поделить все и вся, и непременно в свою пользу: начиная от поставок, кончая политическими правами. Пять прошедших лет, по сути, воспроизвели все то, что накапливалось 73 года. Окостенелые догмы, безудержные обещания как центра, так и республик, их нетерпимость к ближнему, шовинизм, национализм, антисемитизм, русофобия этот мутный поток захлестывает порой даже самые здравые умы, толкает к пропасти политиков, ссорит интеллигенцию.

Крайне важно осознать, что мы действительно на краю: речь не просто о судьбе перестройки о национальной катастрофе. На совести политиков останется, если они не захотят поступиться принципами ради благополучия собственных граждан. Дело интеллигенции не участвовать в стравливании народов, всеми цивилизованными средствами препятствовать распространению всеобщей болезни искать причины своих неудач в происках "чужих", "антисоветчиков", "подстрекателей" и "эмигрантов", пытаться решать сложнейшие государственные, территориальные проблемы с наскока или силой.

Комитет "Национальное согласие", объединяющий писателей, общественных деятелей из СССР и Русского зарубежья, призывает интеллигенцию всех народов нашей страны направить свою энергию, ум, талант не на междоусобицу и конфронтацию, а на подготовку качественно новых поколений, способных справиться с задачами, которые пока не смогла разрешить перестройка.

Виктор Астафьев, Александр Афанасьев, Григорий Бакланов, Иосиф Бродский, Владимир Буковский, Василь Быков, Наталья Горбаневская, Андрей Дементьев, Игорь Золотуский, Дмитрий Лихачев, Эдуард Лозанский, Владимир Максимов, Эрнст Неизвестный, Леонид Плющ, Владислав Фронин.

НАША ПОЧТА

Дорогой и уважаемый Владимир Емельянович!

Обращаюсь к Вам как к другу и соотечественнику, как к тому, кто также в свое время пострадал от произвола властей. Не скрою, моя надежда быть услышанным Вами и тем более получить от Вас совет, помощь либо вообще какой-то ответ, весьма и весьма призрачна. Но, как говорится, человек по своей натуре — оптимист, и поэтому при защите своих прав необходимо использовать все возможности. Конечно, в моем положении осужденного они весьма ограничены, да и нет в Союзе, в отличие от Запада, такой обширной сети правозащитных, благотворительных организаций, действующих по христианской заповеди Священного Писания: "Возлюби Господа твоего всем сердцем твоим... и ближнего твоего как самого себя". Ну а что остается делать невинно осужденному в России, если не дано ему надежды пробить брешь в стене равнодушия чиновного, да и людского?

Так и я, испытав все и вся, набрался вот смелости обратиться лично к Вам, Владимир Емельянович. В чем мои проблемы? Они многочисленны, но изложу только лишь основные, как мне кажется, вполне разрешимые и посильные для Вас.

Вот уже около 8 лет нахожусь я в заключении за преступление, которое не совершал. Горько и обидно, что, несмотря на наличие неопровержимых доказательств своей невиновности, в Советском Союзе практически невозможно в одиночку добиться восстановления попранной справедливости, отмены противоправного приговора и пересмотра сфабрикованных следствием материалов уголовного дела. Проблема заключается в отсутствии настойчивого, квалифицированного адвоката. Кстати, их в Союзе не так уж и много, а отсутствие у меня денежных средств напрочь лишает меня возможности воспользоваться их помощью и услугами. Куда я только не обращался, куда только не писал! О надзорных, судебно-правоохранительных инстанциях уже и не говорю. Оттуда разве что безмотивные отписки, основанные исключительно на тексте приговора нар. суда, хотя самого дела эти "чиновники от Фемиды" и в глаза не видели. Обращался даже в центр ООН по правам человека. Переслал в Женеву все нужные документы. Чего мне это стоило, надеюсь, представляете? А какой толк, если Советы плюют на Декларацию прав человека? К настоящему письму прилагаю копию ответа из Женевы. Обращался с большим письмом и к Б.Н.Ельцину, Ф.М.Бурлацкому, Ю.В.Феофанову, Ю.А.Решетову... Тишина!!! Понимаю, что, например, Ельцину Б.Н. сейчас не до меня, так на чью же помощь тогда рассчитывать?? Может, на покаяние того, кто сфабриковал "мое" уголовное дело?

Вкладываю в этот конверт отрывок — часть моего "Открытого письма" на имя Б.Н.Ельцина. В его содержании, по-моему, весьма понятно изложена юридическая сторона моего осуждения. Очень хотелось, Владимир Емельянович, чтобы Вы с должным вниманием прочли его, и тогда у меня не возникнет надобности еще раз излагать это беззаконие и произвол. Обращался я за помощью и в один из "престижных" юридических кооперативов, послал и туда все документы. Прочитали их там, признали судебный произвол, но объяснили, что возьмутся за "мое" дело только при внесении мною первоначального взноса в... 5 тысяч рублей!! Понятно, что по объему и сложности дела и цена соответствующая, только с каких шишов оплачивать мне этот "первоначальный взнос", да и кто знает, сколько еще потом потребуют эти правоведы-юристы? Система ИТУ сделала меня инвалидом (отнимаются ноги), я не работаю и даже на ларек денег не имею, мать-пенсионерка (участница ВОВ и блокады Ленинграда) со своей 85-рублевой пенсией, понятно, не спонсор — своих проблем у нее не меньше. Жена взяла развод. Словом, тупик! Есть ли из него выход? Хотел бы верить, что при Вашей заинтересованности моей судьбой и трагедией, Владимир Емельянович, при Вашем желании он несомненно имеется. Не могли бы Вы лично помочь разрешить эту, скажем так, материальную проблему? Если же не сами, то посредством привлечения и помощи благотворительных, каких-либо правозащитных, общественных организаций, комитетов, христианских миссий и т.д.? Ведь есть же, есть такие альтруисты у вас на Западе, дорогой Владимир Емельянович, кто мог бы оказать посильную материальную помощь невинно осужденному без всяких там политических мотивов. Или я ошибаюсь? Помогите списаться мне с ними. Пришлите, наконец, адреса подобных организаций, а там Господь мне поможет. Неужели правды можно добиться только при наличии личных средств? Я христианин по духу и по сути. Верю, что если в Союзе, обнищавшем духовно и материально, нет сострадателей горю человека униженного, то на Западе Священное Писание чтут, не забывают учение Спасителя нашего Иисуса Христа и откликнутся на мой призыв о помощи, ибо сказано: "Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан" (Прит. 21,13). Это первое, дорогой Владимир Емельянович.

Второе. Насколько мне известно, Вы сами принимали активное участие в Римской конференции участников правозащитного движения, состоявшейся в октябре прошлого года. Жаль, нет у меня адресов Э.Лимонова, В.Астафьева, В.Буковского. Может, Вам проще обратиться к ним от моего имени за помощью? Да и потом, я почему-то уверен, Владимир Емельянович, что и в Союзе у вас друзей-правозащитников хватает. Не могли бы Вы подключить кого-либо из известных Вам юристов к защите моих прав, интересов, содействовать

моей встрече с ними? Может, проще и эффективнее, если кто-либо из них возьмется за "мое" дело, так сказать, на общественных началах? Все нужные документы, при соответствующем запросе, будут мною ему высланы незамедлительно. Прошу Вас, умоляю, подумайте над этим вариантом оказания мне помощи в борьбе с этой мафией.

И последнее, несколько нескромное пожелание. Что сейчас происходит в Союзе, Вы, Владимир Емельянович, очевидно, в курсе. Хлеба насущного, и того не хватает! Ну а что происходит в зонах? Достаточно сказать, что сигаретного окурка нигде не найдешь. И уж коль я набрался смелости написать Вам, то, пользуясь случаем, еще одна вынужденная (поверьте в это) просьба, несколько необычного характера. Только не осуждайте меня за нее. "Да не смущается сердце ваше" (Ин. 14,1). Был бы очень признателен и искренне благодарен Вам, какой-нибудь общественной организации, осуществляющей продовольственную помощь сейчас Советскому Союзу (городам-побратимам), если бы и в мой адрес, неимущего осужденного, поступила продовольственная посылка, ну, а о том, чтобы и впоследствии они изредка приходили бы на мое имя, пусть из чувств сострадания, я и мечтать не смею. Только огромная просьба заранее оплачивать гос. пошлину и таможенный сбор, т.к. отсутствие денег на лицевом счету в колонии не позволит мне ее выкупить и получить в случае поступления. Буду благодарен за продукты, сигареты, предметы первой необходимости и даже спортивный костюм 48 52 размера, темного цвета.

Был бы рад, Владимир Емельянович, получить уже из редакции бандероль либо посылку с журналами "Континент" и иными русскоязычными изданиями зарубежья. Очень хочется быть в курсе жизни и помыслов Ваших и тех, кто рядом.

Ну, на этом заканчиваю. Если не затруднит, то сообщите о самом факте получения Вами настоящего письма. Адрес мой: 164254, Архангельская область, пос.Североонежск, ОУ 250 МВД СССР (ИТК 10) для Григорьева С.Д.

Если у Вас ко мне возникнут какие-либо вопросы, то с предельной откровенностью отвечу на них. Только напишите. Остаюсь к Вам с надеждой и искренними пожеланиями Божиих благословений, крепкого здоровья, успехов в Вашей личной жизни и деятельности.

"Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен перед Господом" (1Кор. 15,58).

Наименьший брат во Христе, с любовию и уважением!

С.Д.Григорьев

20 декабря 1990

п/о Салт-озеро
S.D.Grigoriev. 164254 Salt-Ozero 10
OU-250 MVD USSR

ОТКЛИКИ НА РИМСКУЮ ВСТРЕЧУ

Здравствуйте!

Прочитал в "Комсомольской правде" об образовании организационного комитета. Вношу предложение. Кемеровский хозрасчетный участок "МЭО" готов создать предприятия совместные по выпуску:

1. Кирпича, шлакоблоков из отходов котельных (шлака).

2. Туалетной бумаги из отходов макулатуры.

3. Древноволокнистых плит из отходов лесоперерабатывающей промышленности.

4. Переработки терриконовых шахт Кузбасса (переработка породы терриконов).

5. Переработка металлолома и автомобильных шин.

Кемеровский хозрасчетный участок "МЭО" обязуется предоставить помещение, сырье, укомплектовать работниками.

Кемеровский хозрасчетный участок "МЭО" нуждается в передовой технологии и оборудовании.

Обращаться: 650065, г.Кемерово, бульвар Строителей, дом 16А, кв.37, Соколову В.И. Домашний телефон: 51—71—12.

Жду ваших предложений. До свидания.

Уважаемый господин Максимов В.!

Обращается к Вам член совета Русского общества им.Пушкина Евсеев Сергей Сергеевич. Обращаюсь к Вам в связи с публикацией в газете "Комсомольская правда" "Римского обращения", которое подписали и Вы. В нем идет речь о создании Европейского университета с различными филиалами. Я не буду писать подробно о нашем Обществе: если Вас или Ваших коллег эти сведения заинтересуют, я с удовольствием сообщу более подробно.

Вы, наверное, знаете из советской прессы о сложном положении русскоязычного населения во многих

республиках СССР. Западная Украина не является, к сожалению, исключением. Наше Общество считает, что единственная возможность биологического выживания для нас в создавшихся условиях — это создание русской национальной школы, а в дальнейшем — гимназии, колледжей и университета. Возможно, учитывая Ваши планы создания разветвленной сети университетов, Львов может оказаться одним из таких мест. Дело в том, что во Львове имеется достаточное количество квалифицированных филологов, историков и вообще научных работников, чьим родным языком является русский. Учитывая интерес на Западе к изучению русского языка, близость Львова к Европе, есть смысл создать с Вашей помощью при нашем Обществе университет, где могли бы учиться иностранцы и русскоязычные львовяне. Если эта идея покажется Вам не актуальной, прошу Вас помочь нам с налаживанием контактов с русскими школами на Западе — ведь мы теперь тоже фактически за границей, ибо никакой помощи от правительства РСФСР мы не имеем. К сожалению, оно заключило экономические контракты с правительствами республик, совершенно игнорируя проблему прав человека (в данном случае русского). Поэтому нам очень важны контакты как относительно школ, так и, возможно, кто-либо из русских бизнесменов на Западе заинтересуется экономическими контактами с нашим экономическим сектором. Возможен также обмен школьниками во время каникул.

С уважением

Евсеев С.С.
290057, г.Львов-57,
ул.Энгельса, 73, кв.1.

Уважаемая редакция журнала "Континент"!

Обратиться к вам меня побудило ваше участие в проведении "Римской встречи", а также сам текст обращения, принятого на ней ("Комс. правда" от 23.10.90). Нам, живущим и поныне на русской (советской) земле, приятно было узнать, что собравшиеся в уютном "греческом зале" хорошие дяди попытались определить пути обновления нашего пока еще многонационального государства. К большому сожалению, приходится констатировать, что в настоящий момент не существует реальных путей действительного возрождения страны, находящейся в глубоком духовном и экономическом кризисах.

Как можно, находясь в "сытых" условиях русского зарубежья, призывать интеллигенцию к диалогу с остальной частью нашего народа во имя достижения всеобщего обновления? Вы, наверно, уже привыкли к жестким, прагматичным условиям индивидуалистического западного рая и забыли тот перевернутый, ис-

каженный мир, который окружает с пеленок любого советского гражданина. Ведь по сравнению с ним нелогичности сказки "Алиса в стране чудес" кажутся верхом гармонии и совершенства.

Ведь в русских условиях любое самое благое начинание с печальной фатальностью превращается в свою прямую противоположность. Посмотрите еще раз без западной горбачевской эйфории на происходящее внутри Союза республик свободных. Прежде всего вы забываете, что расширенное воспроизводство "шариковых" продолжается в той же геометрической прогрессии, что и раньше, и эти "шариковы" с большим успехом воюют по обе стороны перестройки. Да, происходит слом старой административной системы со всеми ее атрибутами, но задумывались ли вы, что приходит на смену и сколько еще итераций, растянутых во времени, потребуется для приведения государственных институтов хоть в какое-то соответствие с их изначальным предназначением.

Несомненно, интеллигенция должна стоять во главе любых прогрессивных начинаний, но прежде нужно спросить, а что представляет из себя советская интеллигенция и что реально она может сделать для своего народа, который, как надо понимать, только и ждет ее помощи. Десятилетия поступательного развития нашего общества сформировали тонкую "прослойку" интеллектуального потенциала, который и ныне продолжает очень эффективно приносить общественную пользу в несвойственных ему областях. Несвойственные функции, а также продолжающееся отсутствие возможности эффективного влияния на экономическую жизнь страны (не говоря о политической) с уже давно очевидными результатами породили и соответствующее отношение народа к своей путеводной звезде. В условиях тотального дефицита на все и уже пятилетней политической перестройки никакие призывы к диалогу со стороны интеллигенции результата не дадут. Национальные лозунги приведут только вначале к единству внутри отдельных губерний. Сложившаяся экономическая интеграция могильной плитой придавит любое политическое новообразование.

Народ устал ждать светлого будущего, и сейчас аполитичность его все более увеличивается (показатель — падение активности при выборах местных органов власти, а также результаты нынешней подписки на популярные прежде издания). Народ не пойдет за призывами ителлигенции к единению, консолидации и диалогу. Сейчас на наших глазах социализм "с человеческим лицом" создает еще более страшный "рыночный" социализм с тем же лицом. Его появление в нашем русском варианте порождает у любого трезвомыслящего индивидуума естественное желание спрятаться и переждать грядущие десятилетия где-нибудь на другой части планеты. Грядет массовый исход наиболее активной части населения на все четыре сто-

роны света — терять абсолютно нечего. Кто останется с нашими стариками и детьми?

Делать ставку на преобразующую силу духовности в нашем обществе, к сожалению, также нельзя. Этот процесс, по крайней мере сейчас, направлен не столько на единение людей, сколько на внутреннее саморазвитие отдельных личностей. Негативные факторы нашей жизни (экология, экономика, СПИД и пр.) набирают силу гораздо быстрее робких позитивных сдвигов.

Так что не "обустраивать", а спасать, а может быть, уже и бить в поминальные колокола надо по нашей самой загадочной стране. И спасти ее могут лишь объединенные усилия всего остального мира, начиная с Америки и кончая Шри-Ланкой, причем не жалкие подачки, а приоритетное каждодневное участие в наших делах требуется от всех вас. Крошка Ирак заставил задуматься весь мир — что же будет, когда начнется подлинная агония русского медведя.

И наконец, как можно проводить такие "форумы" вдали от нашей гостеприимной родины. Соберитесь, например, в русском Нечерноземье, или у нас в прекрасном граде Киеве, или чуток севернее от него — прекрасных мест предостаточно. И не слушайте наших "маститых" — свои блага в Союзе писателей они отрабатывают сполна, а читать их "толстые" журналы с последними новинками становится все скучнее.

Разумеется, не поймите меня превратно: солнышко над нашими головами светит так же ярко и ласково, как и над вами, и радостей в жизни природа отпустила не меньше вашего. Просто планетарный характер всего происходящего у нас рождает отнюдь не розовые мысли о нашем общем будущем.

С глубоким уважением к форпосту русской мысли
Моисейкин Михаил Федорович.
Киев, 24 октября 1990.

Господин Максимов!

Прочитал "Римское обращение" в "Комсомольской правде" от 23 октября, и знаете, как мне стало смешно. "Римское обращение" — слова какие придумали! Обращение к кому? И главное — начало. "Мы, писатели и общественные деятели". А я переведу на русский, простой язык: "Мы, элита элитарного искусства". Да что мы знаем о вас и вашем искусстве, мы, простые работяги вечной Империи? Я люблю читать, за что и получаю нагоняи от жены: "Лучше бы делом занялся". И то немного глотнул чтива: и Айтматова, и Астафьева, и Быкова, и Солоухина. А искусство Неизвестного и Шемякина я не понимаю и не принимаю поэтому. Оно для элиты, но и громить его, как Н.Хрущев, не надо: кому надо, пусть смотрит может, какая мысль и придет в голову, только какая?

Неизвестный хотел мемориал строить из бетона в Воркуте, из миллиона тонн бетона. Лучше бы дороги замостить и назвать "В память репрессиям". Это вообще по русским меркам мемориал, к которому приехать можно лишь на танке, на машине не подъедешь. Шемякин занимался вроде бы нашими пленными "афганцами", ну и что? Денег, что ли, не хватило выкупить? Молчание в прессе об этом.

Знаете, на что похоже ваше обращение — на постановление Сов. правительства — прочитали и забыли.

О чем вы говорите и кому? Опять элите. А простые люди думают, где достать кусок мяса и шубку ребенку.

Шемякина просто уважаю как друга Высоцкого. Вот тот был понятен и без обращений. Он своим искусством (это сейчас только "признали" элитарные дяди и тети — конъюнктура другая) был понятен, хотя и не собирался никого учить и воспитывать. Высоцкий сошел с нашим поколением в эту жизнь.

"И здесь мы видим особую роль интеллигенции" — роль пролетариата в классовой борьбе за права трудящихся. Три ха-ха.

Гражданская война в СССР? Она уже идет давно за кусок мяса, за пачку вонючих денег, за место у "кормушки".

Да вообще неплохо вы это придумали, взяли и собрались в Риме, в Италии. Поболтали, поговорили об умных вещах заумными фразами. Благо валюта есть, как говорится, "капуста хрустит".

"К преодолению нравственного нигилизма". Господин Максимов, что Вы там видите из Парижа, да и в Москве что видели из нашей русской жизни? Да и сами-то что Вы в этой светской жизни думаете, во что верите? Мне бы Ваши заботы.

"Создание совместных предприятий" — вот понабьются туда ловкие дяди из бывших министерств и займутся новым бизнесом: тащить видики и авто в Союз, набивать карманы валютой (рубль-то падает). Да, мечтать не вредно.

Да бросьте Вы эту туфту гнать. Ее нам гонят уже лет семьдесят, да вы еще взялись. Тоже мне, бывшие диссиденты, борцы за права человека. Какие права и какого человека — это другой вопрос.

С пролетарским приветом из самой большой зоны в мире (где одним все можно, а другим ничего абсолютно нельзя).

Александр Зубров

32 года, рабочий.

P.S. Эх, зла на вас не хватает. Привет кагебешникам, кто прочитает.

26.10.90, г.Грязи, Россия

Здравствуйте!

С большим удовлетворением прочитали о "Римской встрече" писателей, особенно по поводу создания совместных предприятий по производству медикаментов. Мы, два молодых человека с высшим фармацевтическим образованием, работаем давно над производством лекарств. Но дальше теоретических выкладок не идет, мы бегаем по кругу, обегали миллион инстанций, но везде прямо не отказывают, но и конкретной помощи не оказывают. Вот так безрезультатно проходит время. И тут, на наше счастье, появилась информация о вашей встрече. А потребность в лекарствах огромная, а сколько сырья выбрасывается зря, и руки есть, и головы имеются. Очень надеемся на встречу с нашим земляком Чингизом Айтматовым, но он занятый человек, поэтому мы решили написать также Вам.

Рустам Кожемуратов
1.11.90, Советская Социалистическая Республика Киргизстан

Уважаемые господа!

Прочитав в еженедельнике "Книжное обозрение" о конференции в Риме и о принятии проектов и деклараций, решил обратиться к вам.

Во-первых, хочу заявить, что полностью поддерживаю "Римское обращение" и готов помочь всем, чем может помочь вам рядовой преподаватель истории человеческого общества в лицее. Мне 41 год, женат, имею сына 12 лет, не являюсь членом какой-либо партии. Так что располагайте мною, если того потребует дело.

Во-вторых, через ваш журнал я хотел бы обратиться ко всем бывшим сибирякам, проживающим на Западе, с предложением образовать международное землячество с целью обмена информации и помощи. Возможно, здесь надо иметь в виду не только "прямых" сибиряков, но и детей и внуков тех, кто жил в Сибири в разные годы. Так, к примеру, в архиве Томской области лежат письма военнопленных австрийцев, чехов и немцев, проживавших в годы первой мировой войны на территории Томской губернии.

Буду рад оказать помощь.

Искренне ваш

Владимир Львов.
Томск.

***

Глубокоуважаемый господин Максимов!

После частых визитов в книжные магазины и многочисленных звонков (уж не знаю, чем это объяснить) мне все-таки удалось купить очередной 63-й номер "Континента", а при чтении его споткнуться на статье Святослава Караванского, посвященной выходу в свет воспоминаний узника Треблинки Самуэля Вилленберга. Преисполнившись нахальства, осмеливаюсь представить свои замечания к вышеуказанной статье и буду Вам благодарна, если они станут известны господину С.Караванскому.

1)Пункт преткновения С.Караванского, а следовательно, и читателей, некоторое несоответствие свидетельства С.Вилленберга от 1945 года его воспоминаниям от 1989 года, а именно: кто же встречал составы, прибывающие в Треблинку — "евреи—рабочие лагеря с немецкими повязками на руках, плетьми, кольями" (1945) или "черные униформы бросились на нас с дикими криками на русском и украинском языках" (1989). Несогласованность, которую бы я, самый заурядный читатель, объявила бы просто технической (все-таки 44 года прошло), да и мой читательский опыт подсказывает мне, в какой степени можно полагаться на мемуары (совершенно не имею в виду сознательных искажений фактов), несогласованность эта превращается в вопрос вопросов, т.к. если "...память становится функцией чего угодно, но не истины, то такая память не только не полезна, а скорее вредна" (С.Караванский). Не имея оснований подозревать С.Вилленберга в фальсификации и не найдя доказательств этому в рассматриваемой статье, отброшу предположение, что в данном случае память "функция... не истины", но остановлюсь на "функции". Термин предложен, но использован неправильно, ибо память не "становится функцией", но она есть функция немалого количества аргументов, связанных и переплетенных между собой в таких комбинациях, что одному Богу только известно, как их расшифровать. Физическое и душевное состояние вспоминающего, окружающая среда, прочитанные книги и свидетельства, относящиеся к области воспоминаний, прямые контакты с людьми, прошедшими подобные испытания, десятки лет, в течение которых узники концлагерей стремятся не вспоминать, подавляют воспоминания, иначе просто невозможно продолжать жить, и остается, грубо говоря, только одна дорога — на кладбище (хрен редьки не слаще). Воспоминание о концлагере — это не воспоминание о выпускном бале, которое мы в течение

всей жизни прокручиваем в голове, восстанавливаем забытое, сортируем и укладываем заново все-все по порядку, чтобы потом опять вспомнить и улыбнуться или взгрустнуть. Воспоминания о концлагерях не проходят никакую инвентаризацию, спросите психологов. Нормальный человек не в состоянии заставить себя снова и снова пережить, хотя бы мысленн, такой... (не знаю, у меня нет слов) ужас!

2)"...Такая память... скорее вредна" (С.Караванский). Память не может быть вредна, это благословение свыше. Что б мы были без памяти? Мясо на убой. Но относиться к ней надо с умом, анализируя и сопоставляя ее свидетельства, понимая, что даже самый сложный компьютер может сбиться, а уж что говорить о человеке — системе в миллионы раз более сложной. И вопрос не в вере или в "тени сомнения на целый ряд других фактов, изложенных бывшим узником" (С.Караванский) или "в свидетельствах, сделанных через полстолетия после событий на целом ряде форумов, в том числе и судебно-правовых" (С.Караванский). Анализ (свидетельств) и вера (в свидетельства) — категории несопоставимые, подходы, противоречащие друг другу, и надо решить, что мы выбираем: или трезвое изучение прошлых событий, что не должны повториться, или новейший заменитель фильмов ужаса перед сном в выходной день.

Прошло столько лет. Люди, как это ни странно, стареют и умирают, уходят последние свидетели самых бесчеловечных преступлений нашего века. Я кланяюсь им до земли, узникам фашистских лагерей и коммунистического ГУЛАГа, что не оставили нас во мраке, что, преисполненные беспокойства за нас, рассказали все, что видели, предупредили как только смогли. И не все из них знали все, и не всегда они умели объяснить события, и иногда они что-то забывали или путались, но все они, вместе, сумели передать нам знание. Будем же им благодарны и постараемся использовать теперь уже наше знание с пользой для себя и, если посчастливится, и для других.

(Намек на "судебно-правовые форумы", думаю, понят мною правильно. Намеком же и отвечу: пока нет ответа на поданную апелляцию, здравый смысл и следование правилу "sub judius" призывают нас к молчанию. Владелец же информации, представляющей интерес для судебного расследования, да представит ее в форме, предусмотренной законом.)

3)Ну и сам факт и "подтасовка" его. По показаниям 1945 г., С.Вилленберга встретили евреи, единственное отличие которых от прочих узников заключалось в повязке на руке. По воспоминаниям 1989 г., это были "униформы", "которые носила охрана",— подсказывает нам С.Караванский. Это были русские и украинские полицаи на службе "новому порядку". На мой взгляд,

есть разница, и немалая, между узником, работающим из-под палки, и охранником, добровольно выбравшим свою стезю. При рассмотрении конкретного случая в жизни конкретного человека я бы приняла за основу, как и С.Караванский, свидетельство 1945 г., когда память еще свежа и вряд ли забылось то потрясение, которое, я думаю, пережил С.Вилленберг, увидев еврея с плетью. Как же это евреи обратились в полицаев? По показаниям некоторых бывших узников Треблинки, главные лица при "их встрече" были полицаи в черных мундирах. Вполне возможно, что С.Вилленберг, подготавливая свои воспоминания к печати, разговаривал с этими людьми или читал их показания, воспоминания. Может, он просто забыл, может, не понадеялся на собственную память и сознательно исправил свою якобы ошибку, а может, просто бессознательно принял воспоминания большинства за свое собственное,— явление, столь известное в мемуарной литературе, что неловко и напоминать об этом, и, кстати, не могу припомнить случая, чтобы оно стало причиной недоверия к воспоминаниям, в худшем случае они объявляются лишенными исторической ценности, и все. Уж кому как повезет.

"Какое из этих двух описаний соответствует истине? Я думаю, что то, которое записано вскоре после пережитого" (С.Караванский). А я думаю, что оба соответствуют истине, истине не о судьбе С.Вилленберга, но истине о концлагере Треблинка, а это то, что должно нас прежде всего интересовать. В какой период, год, месяц на "очищении" вагонов работали узники-евреи? И был ли период, когда этим занимались только полицаи? А может, ночные транспорты (если они были) принимали узники, а дневные — полицаи? С.Караванский не задает себе эти вопросы, а если ему все ясно, то почему нам он ничего не разъясняет, чтобы, наконец, его "я думаю" и мое "я думаю" перестали играть не приставшую им роль доказательств.

4)Много можно простить критику: отсутствие вопроса, неверно поставленный вопрос, неточность в терминологии, не относящийся к делу пример, одно не простится — приговор, выходящий за пределы критикуемого произведения, без предварительного профессионального исследования, а именно последнее и воспринимается мною как цель статьи С.Караванского.

"Не служил ли этот отход (от фактов. — С.О.) тому, чтобы скрыть от истории и грядущих поколений, что в жуткой Катастрофе, выпавшей на долю еврейского народа, находились люди и среди евреев, которые под страхом смерти и из эгоистических побуждений помогали гитлеровцам творить их черное дело?" (С.Караванский).

Нет, не служил.

За 45 лет, прошедших после войны, мы узнали так много от стольких многих, что надо быть не со-

всем здравомыслящим, чтобы попытаться скрыть что-то. И мне иногда кажется, что никто не судил предательство так строго, с таким серьезным изучением всех "за" и "против", как евреи. Какой еще народ, после 45 лет, пытается выяснить, были предателями те или иные люди, как евреи, до сих пор ищущие документы и свидетелей по делу юденратов (органы самоуправления в гетто, подчиненные гитлеровцам). Судя по прессе, телевидению, литературе, и русские, и украинцы, и французы (и, наверное, еще кто-то) считают, что уже все ясно, и все сестры получили по серьгам (вспомните реакцию французской публики на слова адвоката К.Барби, "палача Лиона", о французских коллаборантах). И дай Бог многим другим народам быть настолько же последовательными, как еврейский народ, в наказании предателей.

"Нужно ли это скрывать?" (С.Караванский). А что, уже доказано, что С.Вилленберг что-то скрыл? Пока риторический вопрос следует за риторическим, но это не производит впечатления цепи доказательств.

"Весь кошмар лагеря смерти для его жертв в том и заключался, что их встречали плетьми и кольями свои соотечественники" (С.Караванский).

Вот как? Не так и смерть страшна, как какой пулей меня убьют: серебряной или свинцовой. Я прошу прощения за небольшой "ликбез", но мне придется напомнить г-ну С.Караванскому, что в лагере, любом лагере, кто-то должен чистить двор и бараки, уборные, остригать волосы, таскать тяжести, раздавать пищу, отбирать одежду и сортировать ее на складе, отвечать за порядок в бараке или в рабочей бригаде, и все это не охрана делает, а сами заключенные, по приказу и не имея права и возможности выразить предпочтение какому-либо занятию или уклониться от него.

Поэтому и существовала так называемая "селекция" в фашистских концлагерях, когда отбирались наиболее молодые и здоровые, парикмахеры и медики для лагерных работ, а остальные шли в газовые камеры, и вот там уже гитлеровец нажимал на кнопочку и впускал газ. А те, что молоды и здоровы, пойдут в камеры со следующим транспортом, или через месяц, или через год, потому что они не "помогали гитлеровцам" ни под страхом смерти, ни из эгоистических побуждений, а, будучи сами смертниками, выполняли приказ, подтвержденный дубинкой и прикладом. И не каждый может наложить на себя руки, т.к. инстинкт жизни, заложенный в нас, он ведь инстинкт, а не сознательно выбранное решение и не условный рефлекс. Выживание — девиз человека, а не смерть. (Название книги С.Вилленберга "**Surviving Treblinka**" надо дословно переводить как "Выживание в Треблинке", но не "Пережитое в Треблинке"). И советские военнопленные, и украинская молодежь, и французы, и голландцы, что работали на немецких

военных заводах, тоже не помогали немцам, но были вынуждены работать. И называть их "коллаборантами" может только тот, кто не понимает смысл слов "коллаборант" и "заключенный". И когда я выше говорила о еврейских коллаборантах, то не лагерных заключенных я имела в виду. Нам нельзя судить, мы там не были, и я, неверующая, молю Бога, чтобы мы никогда и не удостоились такого права. Утверждать же, что "без помощи коллаборантов, в том числе еврейских (Господи! да сколько ж их было! — С.О.), гитлеровцам было бы трудно осуществить свой преступный замысел", кажется мне несколько наивным.

5)"Голод на Украине был организован не украинцами, но украинцы из так называемых комитетов незаможников (комбедов) изымали продукты у своих земляков, создавая условия для голода..." (С.Караванский). (Отдавая дань собственной ворчливости, замечу, что комбеды — комитеты бедноты — и комнезамы — комитеты незаможних селян — учреждения, отличные друг от друга, и не только по имени.)

Мне вдруг показалось, что С.Караванский из тех битых, за которых двух небитых дают, и, чтобы отвести возможные обвинения в антисемитских наклонностях (хочу сразу же успокоить, что у меня нет никаких оснований для подобного обвинения), он приводит пример преступного сотрудничества украинцев с центральной властью, с "тираном". Пример, на мой взгляд, неудачный. До сих пор мы говорили о сотрудничестве населения оккупированных территорий с врагом. Голод 30-х годов — это "успешное" мероприятие, проведенное законной (туземной) властью в своей собственной стране, а на самом высоком уровне власти были и украинцы, среди тридцати- и двадцатипятитысячников, членов правящей партии, были и украинцы, в украинских деревнях были свои коммунисты и комсомольцы, а в те годы надо было добиваться приема даже в комсомол. О каком сотрудничестве идет речь? Эти люди сознательно и по своей доброй воле выбрали себе дорогу, и они-то и были ударной группой в организации голода. Другое дело, что были "самые поганые, что на крови дела свои обделывали, кричали про сознательность, а сами личный счет сводили и грабили. И губили ради интереса, ради барахла, пары сапог" (В.Гроссман, цитируется по "Жатве скорби" Р.Конквеста). Сотрудничество? Нет. Просто, прошу прощения за старомодность, человеческая, индивидуальная непорядочность.

6)"Не перетягивает ли он (С.Вилленберг. — С.О.) струну, отдавая дань модной в некоторых кругах украинофобии?" (С.Караванский).

О! Мне нравится такой скорый суд, широкое поле деятельности для психолога. Не успели мы услышать, что С. Вилленберг что-то скрывает (и все это на основании одного-единственного несоответствия, приведенного в статье), как ("все выше, и выше, и выше")

новым обвинением нас порадовали и, как и ранее, без доказательств (вопросительный знак в конце предложения дела не меняет, к сожалению). Не успели мы утереть слезы сочувствия к гонимому русскому народу ("Русофобия" И.Шафаревича), как новый гонимый народ объявился — украинцы. Ну что ж, я думаю, что великий еврейский народ поделится опытом выживания со своими младшими братьями — русским и украинским народами. Иначе не могу отреагировать, мне смешон плачущий великан.

Вот и все. Уж извините за такое многословное послание (да и почерк тоже). С уважением и пожеланием успехов "Континенту"

Сильвия Охман.

Иерусалим, 27.08.90

P.S. Владимир Емельянович! (Позволю себе некоторую фамильярность.) Ни в коей мере не сомневаясь в необходимости представительства "Континента" в Японии (тамошние дела мне не известны), все-таки спрошу: "А мы?" Нас тут, русскоязычных, много. Честное слово. Иногда возникают вопросы такого технического порядка, что просто неловко их адресовать вам.

С.О.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ЗАРЯ СОВЕТСКОГО ПРАВОСУДИЯ. Сост. и предисл. Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991 (Из Архива Русской Революции).

КАРЕТНИКОВ Николай. Темы с вариациями. М., "Киноцентр", 1990.

ЛАТЫШЕВ Михаил. Округа. Стихи. М., "Советский писатель", 1989.

Галина Погожева

ДОДНЕСЬ, ВАШЕ СИЯТЕЛЬСТВО

К концу семидесятых годов в России стало подрастать уже третье поколение граждан, практически лишенных возможности хотя бы вкратце ознакомиться с историей собственной страны. Это были годы, когда значительная часть населения как бы опомнилась от общего наркоза и, не довольствуясь простым, но невразумительным мифом, изложенным в школьных учебниках, задала себе вопрос: а что же на самом деле произошло в те далекие времена, когда призрак коммунизма еще только начинал бродить по Европе, почему народы принялись истреблять друг друга из-за одного эрцгерцога, а главное, что же случилось в родной стране в семнадцатом году? Чтение обширной официальной литературы ничего не проясняло, а вызывало в воображении какое-то загадочное зрелище, вроде сцены, по которой ползет, клубясь, бутафорский туман, и стоят в нем по колено, как эстрадные певцы, проститутка Троцкий и ренегат Каутский, а больше ничего не видно...

Вот в эту эпоху пробуждения общественного сознания возник огромный интерес к мемуарной литературе, и в числе прочих появился в самиздате, бережно сохраненный или случайно уцелевший, не знаю, объемистый дневник москвича Н.П.Окунева[1]. Самого скромного мнения о себе был автор и целей перед собой высоких не ставил, а оказался очень даже ценным свидетелем на суде истории. Иначе не скажешь — побуждением свыше подвигнут был Никита Окунев на написание дневника, охватившего целое десятилетие. Начал он свой труд в первый день войны 1914 года, верно почуяв, что начинается новая эпоха, что прежней жизни уже не бывать, и только в 1924 году перо выпало из рук, когда уже совсем, видно, опустились они, эти руки. Несколько раз оговаривается автор, будто извиняясь, что он простой человек, не писатель, хотя записки эти, написанные спонтанно, без правок, хорошим, внятным русским языком — настоящим "великим, свободным" — сделали бы честь многим из нынешних писателей. Но ведь для писаний летописей нужен не столько талант, сколько разум и терпение, труд это смиренный, монашеский, но под

1 Н.П. Окунев. Дневник москвича. Париж, YMCA—Press, 1990. (Всероссийская мемуарная б-ка. Серия "Наше недавнее". 11).

силу оказался он Окуневу, толковому очевидцу, который десять лет будет подробно описывать события русской катастрофы, со всеми датами и местами происшествия (и какая была погода — неисправимый москвич), с именами и фамилиями виновников всех безобразий и торжеств, которые не уйдут ни от людского, ни от Божьего суда.

Изо дня в день аккуратно заносит в бытописание рука скромного сына отечества, именующего себя попросту обывателем, важнейшие события на фронтах и в тылу, вести о процессах, расстрелах, смертях, помеченных неизменным благоговейным крестом, даже когда речь идет о нехристианских кончинах "товарищей", вплоть до Ленина. Добросовестно, не жалея бумаги, описывает он "страшные и гнусные российские события" и дает нам живописные картинки московских улиц, погружающихся в "мерзость запустения", первомайских торжеств, балаганов комсомольского рождества на фоне голода, холода, обесценивания всех человеческих ценностей, вплоть до самой жизни, обессмысливания всего, что имело смысл. В отличие от сверкающих ослепительными молниями гнева и обличения "Окаянных дней" Бунина, тон записок Окунева по возможности мирный, хотя размеры катастрофы ясны для него ничуть не меньше, но он старается найти в ней логику, закономерность — и находит их. Недаром цитирует он еще в июле семнадцатого года воззвание Св. Синода к населению России: "Наш непременный, наш неотложный и повелительный долг покаяться в этом страшном нашем грехе, дабы не судил Господь нам пить чашу испытаний наших до конца — сделаться среди других народов ужасом, посмеянием, пустыней и проклятием". О каком грехе речь в этом прозорливом послании? Не о том ли соблазне земного рая, царства справедливости и равенства на земле, в который так цинично ввергли "малых сих", самых темных, неграмотных или незрелых, чьими руками вершились непоправимые бедствия родной земли?

"Много значит прожить полвека, — пишет чуть позже автор,— можно сказать, что только в эту пору человек и достоин права голоса. Сколько десятков белогубых юношей, баб и девок отдали свои голоса большевикам только потому, что не знают еще жизни, и сколько из них, придя к нашему возрасту, сознаются потом, что не ведали, что творили". Что особенно ценно в этом дневнике — это умение отличить главное от второстепенного, редкая способность в событиях внешне сумбурных зорко усмотреть истинную суть происходящего, того, что не так давно далось нам ценой запоздалых открытий и озарений, а вот, извольте, у Окунева это уже есть. И двух месяцев не прошло со дня Великой Октябрьской, как он уже пишет:

"Для меня, человека, в сущности, необразованного, теперь совершенно ясно, что "свобода" — это самое страшное рабство. Все теперь взрослые люди обвиты, спеленуты, затянуты политической дисциплиной, профессиональными союзами, советами, комитетами, мандатами, карточками, декретами, нормировками, налогами, обысками, самоохраной, экспроприациями, уплотнением, углублением, на всех точно надели серые мешки, всех занумеровали, всех ограничили..."

И сколько рублей, а вскорости и тысяч, и миллионов этих рублей стоили товары такого-то числа такого-то года, у Окунева тоже есть. И что и когда сказал самый человечный человек, записано, и сразу виден этот человек как на ладони: "...радиотелефонный приказ Ленина, что Муравьев объявлен врагом народа" и "всякий честный гражданин обязан, поймав его, немедленно застрелить". И какой охват жизни людей в ту эпоху — от простейших человеческих потребностей в виде хлеба, дров, одежды, до самых высоких порывов души, несмотря ни на что, неистребимых: "идя в церковь, купил за 500 руб. крохотный пучочек васильков".

Вот, казалось бы, чтение и приятное и полезное для массового нашего читателя, с исторической голодухи набросившегося на Пикуля! Но издан девник Н.П.Окунева только на Западе, а значит, к великому сожалению, для громадного большинства своих возможных читателей в России он будет недоступен, еще и в силу своего объема: в этой толстой книге без малого шестьсот страниц, и это еще не полный дневник, а вторая его часть, несомненно, наиболее интересная, начинается 1917 годом.

Думал ли автор, начиная свой, ставший чуть ли не ежедневным подвигом труд, что судьбы людей, которые предстоит ему запечатлеть, в том числе и его собственная, будут таковы, что мемуары той поры затмят собой всю художественную литературу, кроме разве что величайших трагедий, творений таких гениев, как Шекспир, Пушкин, Толстой. Сам автор записок принадлежит к тому удивительно приятному типу русского человека, который впоследствии истреблен был как класс. Выходец из мелкого купечества, почти крестьянства, новоявленный театрал и бережный книголюб, ставший специалистом, деятелем — десятки тысяч таких выходцев из народа ежегодно пополняли ряды передового русского общества, и прилив этой свежей крови обеспечил в начале века небывалый промышленный подъем, расцвет наук и искусств. Это тип степенный, остроумный, крепко верующий, из каких складывался духовный стержень нации. И сам он в своих записках дает несколько любовно написанных портретов той добротной породы людей, к коей сам принадлежит, например, вот такой:

"Там был и еще тип, по наружности и питью — Курослепов, а по любви к труду и по общественной складке — Козьма Минин. Я видел его на Волге наряду с наемными рыбаками, производящего собственноручно лов, потрошение и разделку осетров, сазанов, стерлядей. Видал его и в лавочке, на базаре, где он поучал хозяек, поваров и кухарок, что взять для щей, для жареного и для начинки пирогов. Вид был и там и тут солено-засаленный, но видел его шествующим в Думу, в качестве гласного. Тут надевались лисья шуба, черный сюртук, белая манишка, бобровая шапка и золотые часы. Соленым уже не пахло — пред этим ходил нарочно в баню. Значит, шел вершать общественные дела, как в храм Божий. И не было человека на моей памяти более любознательного, более общительного и более справедливого. Вот аристократ мысли, вот кладезь природного старорусского ума!"

Люди, о которых тосковал уже Пушкин:"Старинные люди, мой батюшка!" Соль земли, патриарх. Люди, на которых как на камне, как церковь на апостоле Петре, который неспроста был рыбак, а не книжник, крепко держалась жизнь человечества. Совсем недаром отдает дань этой уходящей породе наш автор, присовокупляя: "Счастливое животное царство! Порода там никогда не потеряет значения: пойнтер с дворняжкой не смешается, и тот же красногвардеец, слямзивший винтовку для охоты по уткам, посвящет себе в помощь лягаша, а не подворотного лаятеля".

С пристальным вниманием на протяжении всего повествования следит Окунев за трагическими событиями в лоне православной церкви: нападки на веру, провокационные "изъятия", раскол, обновленцы, расстрелы священников, травля Патриарха — при почти полном непротивлении народа. В этом отступничестве видит он залог грядущих страшных бедствий. "Бессовестные мы, простые русские люди, в особенности пожилые и старики. Ведь не всех нас перестреляли и заточили по тюрьмам и лагерям. Кому бы, как не нам, теперь еще чаще, чем прежде, направлять свои стопы в храм Божий, а мы сидим себе в своих комнатах и кряхтим о трудностях современной жизни. Прогневался на нас Господь, но это по делам нашим!" Так, увязывая роковые стечения обстоятельств в жизни общественной и политической с необратимыми утратами в области духовной, дает автор ясную, объемную картину происшедшего.

Записки дают обильную пищу к размышлению гадательному русскому читателю, излюбленное занятие которого — поиск параллелей, исторических совпадений и повторений. Автор делится с ним находками из, конечно же, Шенье, предусмотрительно переведенного Пушкиным, и очень удачно подобранными цитатами из Салтыкова-Щедрина. Но сам он, наверно, не ведал не гадал, как провидчески повторятся и его

записки, каким злободневным окажется в наши дни его бытописание, повторяясь настолько живо, что не понадобится и нового,— и неумолимо завершится тем же. "Вот оно, наше русское несчастье: неумение объединиться в чем-нибудь отменно-благородном. Либо боимся, либо сидим дома, потому, мол, "моя хата с краю". "Мирный московский житель Никита Окунев не сваливает всю ответственность на злых чародеев Ленина и Троцкого, а справедливо делит ее на всех, сетуя на отсутствие гражданского сознания, "государственного разума", пастырей добрых, которые "вывели бы народ на дорогу благоразумия, человеколюбия, труда не за деньги, а за совесть, на дорогу национальной чести, христианского преобразования". И этот беспристрастный подход делает из его дневника полезнейшее чтение, из которого читатель извлечет не только собранные воедино разнородные ценные сведения, но еще более ценный духовный опыт и урок, и не станет далеко ходить в поисках злодеев, виновников нескончаемых злоключений своего отечества, а посмотрит вокруг себя и заглянет заодно в собственную душу. Неужели когда-то давно, а не только что вписаны в дневник безотрадные слова:

"Граф А.К.Толстой, как он говорит в предисловии к своему "Князю Серебряному", "бросал перо в негодовании не столько от мысли, что мог существовать Иоанн Четвертый, сколько от той, что могло существовать такое общество, которое смотрело на него без негодования".

Такое общество существует доднесь, Ваше Сиятельство, в Совдепии.

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

МЕДВЕДЕВ Феликс. Цена прозрения. Специальный корреспондент "Огонька" берет интервью. 1986—1988. М., "Книга", 1990.

НЕ ПОМНЯЩАЯ ЗЛА. Новая женская проза. Сост. Л.Л.Ванеева. М., "Московский рабочий", 1990.

НЕПЛАНЕТА НЕЛЮДЕЙ

Восторг, ирония, изумление, гнев... Разные чувства пробуждает в читателе проза Валерии Нарбиковой; труднее всего отнестись к ее повестям спокойно. Еще бы, многое здесь, словно нарочно, дразнит нас: и болезненное внимание к области "материально-телесного низа", и беззастенчивость в описаниях, и, мягко говоря, вольное обращение с библейской цитатой, и непечатное слово. Отрадно одно: произведения ее очищены от искажающего, смещающего их внутренние пропорции налета запретности. Но, извлеченная, из сумеречного пространства подполья выдержит ли проза андеграунда ослепительное сияние солнца русской литературы? Разбор двух, составляющих как бы единое целое, повестей В.Нарбиковой, возможно, поможет приблизиться к решению этой проблемы. (Когда эта рецензия в целом была написана, в журналах появились еще две повести В.Нарбиковой: "Около эколо", "Юность", 1990, 3, и "Великое кня...", "Знамя, 1990, 5).

"Равновесие света дневных и ночных звезд" ("Юность", 1988, 8) и "План первого дица. И второго" (в сборнике "Встречный ход") — повести-близнецы. Особенно выпукло сходство между ними обнаруживает тождественная расстановка персонажей. В центре каждой повести три главных героя, составляющих любовный треугольник: героиня, рупор идей и взглядов автора, Сана в "Равновесии...", Ирра в "Плане...", и двое мужчин около нее Отматфеян и Аввакум в "Равновесии..."; Тоестьлстой и Додостоевский в "Плане". В неустанном выяснении отношений в борьбе за право на обладание Саной в первом случае, Иррой во втором и протекает действие повестей.

Немалое бесстрашие требуется от автора, решившегося выбрать такую сюжетную схему, схему, казалось бы, уже не поддающуюся омоложению. Как тут избежать вторичности, слезливого, на грани пошлости, мелодраматизма? Ответ Валерии Нарбиковой прост и по-своему изящен: остранить сюжет "странным" словом, сместить и "вывихнуть" его через слово. То же с героями: их психологические портреты оказались бы полностью размыты (исключая разве что главных героинь), если бы не экзотические имена: не говоря уже о непроизносимых мужских фамилиях, даже Ира превращается здесь в Ирру, а Александра в Сану. Уроки Владимира Набокова и Саши Соколова не прошли для писательницы даром; слова искрятся, каламбурят, слипаются, сплетаются друг с другом и

перерождаются прямо на глазах ("Был разбойник в Аравии, был разбойник Варавии, был разбойник Варавии, был разбойник Бараввa"; "Якоб Беме якобы и не Беме"; "На автобусной остановке стояли, тояли, ояли, яли, ли и замерзли"; "На ужин была ни рыба, ни мясо").

С поставленной перед собой задачей В.Нарбикова справляется блестяще, но "язык мой — враг мой". Есть в "Равновесии..." одна очень выразительная фраза о дожде: "Он мог в любую секунду, но ему было приятно не". Молчание о дожде оказывается значительнее слов о нем. Но далее счастливо найденный прием начинает эксплуатироваться: "Они шли в... "В" было тепло и даже чисто. Столики стояли без. Официанта долго не было"; "Поцеловались. Гадость. Может стошнить. Но ведь не стошнило. О, если бы стошнило. Еще раз. Опять не". Если создатель словесного фейерверка прибегает к помощи матрицы, значит, языковое многоцветье не свободно выплескивается, а математически сухо просчитывается, и запасы его у автора ограничены. Эту простую истину наглядно подтверждает вторая повесть: на долю "Плана..." красок уже не хватило, по тексту его рассыпаны в основном лишь старые, хорошо знакомые нам языковые находки, вообще расточаемые В.Нарбиковой гораздо скупее, нежели в "Равновесии...".

Но не только исчерпаемостью стилистических средств можно объяснить заметное оскудение языка в "Плане...". Функция необычного стиля обновлять "старый" сюжет теряет здесь свою актуальность — автор пытается достичь новой, ясно осознанной им цели, стремясь к которой он без сожаления отметает всю лишнюю стилевую роскошь. Цель эта — создание внутри повести особого, замкнутого мира.

Литературное пространство и время в любом художественном произведении условны, но обычно писатель не заостряет на этом нашего внимания — в "Плане..." условность их нарочита, выпячена. Здесь особое время: "Утро началось уже днем и заняло весь день, а обещанного дня не было, несмотря на то, что Додостоевского тоже не было"; "День, вечер, ночь, утро прокрутили по-быстрому, всего часа за три". Особое пространство: "И Додостоевский укрыл ее с головой одеялом, которое было теперь потолком, который был небом, которое было одеялом"; "Он закурил, и в комнате появился дым, как раз посередине между потолком и полом. И все, что было ниже дыма, относилось к земле: стол, стулья, пластинки на полу; а все, что было выше: полшкафа, книжные полки, — относилось к небу". Однокомнатная квартира, в которой живут Ирра, Додостоевский, Тоестьлстой, становится их маленькой планетой, недаром все помещения в ней гиперболизируются: "ванное полушарие", "туалетное полушарие", кухня и комната становятся разными городами: "В другом городе "в кухне" было светло, зна-

чит, был день, а в другом городе "в комнате" было темно, значит, была ночь".

Итак, задается своя система координат, со своим временем и пространством, за счет чего и усиливается впечатление обособленности микрокосма, в котором живут герои. Но это не просто иная планета, иной мир, это — мир, определяющий себя через "анти". Его лозунгом становится как бы случайно брошенная автором "цитата" из Лермонтова: "Не выхожу не один не на дорогу, не впереди нетуманный путь не блестит, ночь не тиха, душа не внемлет богу, и незвезда с незвездой не говорит". Эти слова могли бы послужить эпиграфом к творчеству В.Нарбиковой, в свернутом виде в них заключается авторская программа, они подытоживают, договаривают до конца все недодуманное, недосказанное в "Равновесии...".

Ведь строительный материал для конструирования антимира в "Плане..." был в основном собран уже в "Равновесии...". Здесь цитирование, еще более обильное, чем в "Плане...", также всегда имело полемический оттенок. Нерв полемики — как раз в невозможности процитировать точно, и чем выше авторитет текста, тем это сложнее. И потому особенно "не везет" Библии. Вот, например, побег Марии и Иосифа в Египет: "Маша со своим мужем Иосифом Иаковичем и новорожденным ребенком, над которым стоит новорожденная звезда, они берут такси и оформляют визу, чтобы ехать в Египет". Избиение царем Иродом младенцев: "В ясельках избивают детишек". Теми же остаются принципы пересказа библейских сюжетов и в "Плане...".

Осовременивается вечное, с неизменной усмешкой оно снижается до обыденности, но похоже, что важнее для автора не содержательная сторона, а именно общепризнанность вечных истин.

В этом легко убедиться, сопоставив имена героев повести. Можно спорить, но в целом ясно, почему Раскольников — Раскольников, а Молчалин — Молчалин. Формально расшифровать имена в "Равновесии..." тоже возможно: Отматфеян восходит к Евангелию от Матфея, Чящяжышын смеется над школьным, с детства затверженным правилом. Но почему именно Отматфеяна зовут Отматфеян, а Чящяжышына — Чящяжышыны? Что связывает эти фамилии с обликом их обладателей? Нипочему. Ничто. Свою особую значимость имена получают не в связи со своими хозяевами, а в связи друг с другом, ибо все они подчинены одной логике. Логике тотального смеха. В итоге "вечное" орфографическое правило приравнивается к вечным христианским истинам, ведь осмеянию предается и то и другое. Не долой традицию, а долой все!

"Не выхожу не один не на дорогу..." "Не" ставится здесь так обильно, что даже перевернутого, антисмысла не возникает — сплошная бессмыслица. Кроме одного маленького кусочка: "ночь не тиха, душа не

внемлет богу". Вот что должно, по замыслу, броситься нам в глаза, вот что важно и еще раз, пусть даже ценой подстановки ("пустыня" заменяется на "душа"), повторить Валерии Нарбиковой: "душа не внемлет богу". Чтобы окончательно завершить сотворение антимира, мало поставить минус около "их" пространства, "их" времени, "их" имен, "их" поэтов. Нужно полностью отвергнуть их систему ценностей. Вот почему писательница не останавливается на относительно безобидном уровне адаптированных пересказов библейских текстов. Если уж ставить "не", то около каждого слова. Ставится оно и около таинства зачатия от Духа Святого. Решимся процитировать: "От кого у нее котята, если не было кота? От святого духа"; "Словом можно было трахнуть, оно было духом, от него можно было зачать, а сейчас кто может зачать по телефону?" ("Равновесие..."); "И вообще, — сказала Ирра, — ничего хорошего на земле не было, пока бог сам не трахнул девушку".

Смеяться, право... но Нарбикова знает — грешно, над этим грешно, хула на Духа не простится, и, следовательно, не так уж весел ее смех; скорее, он близок к отчаянию и означает отказ от прощения.

При этом в контексте обеих повестей пристальный интерес именно к таинству зачатия не так уж необъясним. Вспомним: "И Додостоевский укрыл ее с головой одеялом, которое было теперь потолком, который был небом, которое было одеялом". С литературой андеграунда принято связывать изображение психологии подпольного человека, но здесь вместо неба даже не пол — одеяло, значит, не подпольные это, а, простите, пододеяльные люди. А их психология сводится к физиологии, к удовлетворению своих естественных физических нужд, ни одна из которых не остается без авторского внимания. Каждый поцелуй, каждый поход в туалет, трапеза и выпивка (с подробным меню, что и сколько ели и пили) оказывается учтенной.

Тем не менее, похоже, что и сами герои и их автор все же догадываются об ограниченности и зараженности их мира. Не случайно в "Равновесии..." у Саны рождается ребенок, после появления которого все предметы: деревья, птицы, ботинки, ветки, пальцы делаются "стерильны". Ребенок призван обновить и очистить этот мир, но, увы, с миссией, на него возложенной, он не справляется — все остается по-прежнему. В итоге автор отказывается доводить своих героев до сколько-нибудь определенного разрешения, повесть кончается ничем — просто безмятежной, веселой болтовней Саны и Отматфеяна: "Стрекочем, как птицы, как дельфины, только любовники умеют так стрекотать — все, что сказано, то и правда".

В "Плане..." В.Нарбикова не останавливается на полпути, расставляя все точки над "i". Доведенная до логического конца жизненная философия героев терпит

крах — все три главных героя "Плана..." гибнут. Финал повести (напоминающий кошмарный сон), даже с поправкой на его символичность, оставляет мрачное впечатление. Додостоевский с неправдоподобной простотой убивает и "разделывает" Тоестьлстого, после чего вдвоем с Иррой, спасаясь от ненавидящей их толпы, улетает на небо. "И дальше уже шло то, что напоминало детский сад: грибки, песочницы, лестницы, горки. По территории ходили дети, которые остались на ночь. "За территорию не выходить". И когда как снег на голову они рухнули в песочницу, детишки прибежали и сделали, что нужно: два кулича".

Что же — полная беспросветность? Бог весть, ведь сама честность, с какой писательница признается, что на созданной ею планете человеку не выжить, наводит на раздумья. Новую пищу к размышлениям дает и третья повесть В.Нарбиковой "Около эколо", которую легко воспринять как обычную выжимку из первых двух — она на них тоже очень похожа, но при этом заметно слабее. Слабее, однако, за счет все возрастающего аскетизма художественных средств, за счет постепенного "онормаливания" и героев, и их мира. И потому, быть может, в слабости ее и кроется надежда, ведь переход на следующую ступень всегда мучителен. Надежда на новые книги, на новых героев, которые рано или поздно вернутся к "ним", то есть к нам с вами, на нашу общую планету людей.

Майя Кучерская

НОВЫЕ КНИГИ, ПОЛУЧЕННЫЕ РЕДАКЦИЕЙ

ПЕРЕГУДОВ .Виктор. Великие сосны. Рассказы. М., "Молодая гвардия", 1990.

ПОМОЩЬ. Бюллетень Всероссийского комитета помощи голодающим. (1921. 1-3). Переиздание. Со вступит. статьей Михаила Геллера. London, Overseas Publ. Interchange Ltd., 1991.

Збигнев Бжезинский

БОЛЬШОЙ ПРОВАЛ

Рождение и смерть коммунизма в двадцатом веке
New York, Liberty Publ. House, 1989

Сегодня, конечно, кажется, что никакой провидческой зоркости и писательской храбрости не требовалось, чтобы в книге, работу над которой автор начал в 1986 году и закончил в августе 88-го, предсказывать скорую смерть коммунизма — по крайней мере, как государственного (и межгосударственного) устройства. Агония его сегодня происходит у нас на глазах, и мы уже так привыкли к происшедшим в разных странах переменам, как будто все это тянется достаточно долго. (Говоря об агонии, заметим, что грозящие нам предсмертные судороги коммунизма — варианты их — тоже описаны в книге Збигнева Бжезинского.)

В августе 88-го, когда Збигнев Бжезинский заканчивал работу над "Большим провалом", в Польше шла вторая за тот год волна забастовок, но даже до "круглого стола" с его частичными результатами было еще далеко. В Будапеште летом (кажется, в июле) того же года группу молодежи, которая пыталась разыскать на городском кладбище могилу Имре Надя, полиция разогнала дубинками. А это те две страны социалистического лагеря, которые тогда были в авангарде перемен. В предисловии к русскому изданию, которое написано уже в июне — или всего лишь в июне — 1989 года, З.Бжезинский указывал:

"Основная проблема изменений в коммунистическом мире может быть сведена к следующему, сравнительно простому предложению: чтобы быть стабильными и эволюционными, изменения должны включать одновременно и политические, и экономические реформы. В настоящий момент это происходит только в Венгрии и Польше".

Тем не менее заканчивалось предисловие убежденными словами: "...независимо от того, каким именно способом угаснет коммунизм, я верю, что нашу эпоху уже сейчас можно в основном определить как начало посткоммунистической фазы политической истории человечества". Еще раз подчеркнем, что "верю" Бжезинского основано не на **wishful thinking**, а на мудром

наблюдении и изучении процессов, происходивших в коммунистическом мире и в комплексе дававших картину "последнего кризиса коммунизма".

Для тех, кто хотел бы побыстрее (не читая книги) узнать, о чем же конкретно говорится в "Большом провале", сам автор лучше всего резюмировал содержание шести частей книги: "В первой доказывается, что ключом к исторической трагедии коммунизма является политический и социально-экономический провал советской системы. Вторая посвящена глубинному исследованию сегодняшних советских попыток реформировать систему и вдохнуть в нее новую жизнь. Она завершается выводом, что успешность этих попыток менее вероятна, чем продолжение внутреннего гниения или хаос. В третьей части рассматриваются социальные и политические последствия, к которым привел навязанный странам Восточной Европы коммунизм, и доказывается, что в странах этого региона начался — вслед за эмансипацией польского общества процесс — отталкивания от навязанной им коммунистической системы. Четвертая часть посвящена анализу китайского эксперимента с его доморощенным вариантом коммунизма. ... Пятая часть показывает, как идеологический и политический упадок коммунизма ведет к уменьшению его притягательности на международной арене. Наконец, шестая часть — это более общий взгляд на агонию коммунизма и на те явления, которых можно ожидать в посткоммунистическом мире".

Но ошибется тот, кто, ознакомившись с этим резюме, решит, что сегодня актуальной остается только шестая, "посткоммунистическая" часть книги. Как на материале прошлых лет, так и в рамках прогнозирования американский политолог показал, что фазы выхода из коммунизма — отнюдь не триумфальное шествие: не только разные страны находятся на разных стадиях коммунизма или посткоммунизма, но там, где сохраняется коммунистическая власть (будь то в политике или экономике), возможным остается возврат к исходной фазе — фазе тоталитарного коммунизма. Это, конечно, лишь оттянет, а не остановит смерть коммунизма, но для сотен миллионов людей такая задержка может стать трагической. Полезно и в наши дни еще раз убедиться, что реформы, соединенные со стремлением во что бы то ни стало сохранить суть системы власти, ведут к "продолжению внутреннего гниения или хаосу". Конечный оптимизм концепции Бжезинского не заслоняет сложности и зигзагообразности процессов, о которых идет речь, не позволяет забыть или прямо напоминает об опасностях, которыми чревата каждая фаза выхода из коммунизма, особенно если эти опасности оставлены в пренебрежении или не распознаны. Так что урок "Большого провала" — не только исторический, а еще и — возможно, в первую очередь — самый злободневный.

Н.Г.

НАША АНКЕТА

"Я ДУМАЮ О ПОСМЕРТНОМ ОТМЩЕНИИ МАРКСА"

Беседу с Роже Гароди
ведет Феликс Медведев

— Революция погибла... Это термидор... Прогнившие торжествуют... И я разразился рыданиями над своим рабочим столом.

Если это ложь — какой кошмар!

Если правда — какое крушение! Передо мной лежал отчет о закрытом заседании XX съезда КПСС.

...Он как будто бы канул в Лету: его забыли в России; а во Франции мне задавали один и тот же вопрос: "А разве он жив?"

Я вспомнил о нем совершенно случайно. Однажды, запустив руку во второй ряд книжного стеллажа, я по ошибке вытащил не то, что мне было нужно, а книгу Роже Гароди "О реализме без берегов". Меня ударило будто током: я держал в руках один из бестселлеров нашей эпохи, после издания которого в 1966 году в Москве на ее автора из Кремля спустили свору собак: "Гароди — ренегат и отступник! Ату его!"

— Когда я смотрел по телевизору, как выбирают Валенсу, для меня это катастрофа. По Валенсе, можно сразу же въехать в рай. А ельцинские 500 дней — это почти провал. Разве можно так быстро восстановить утерянное за полвека?!

Его биография поражает: окунувшись в сумасшедшую историю его жизни, можно отпрянуть в изумлении. Родился в Марселе, в июле тринадцатого года. В двадцать три был назначен профессором философии Альби. Примерно тогда же определяет свое мировоззрение как коммунистическое. Думал, что навечно. Участвовал в движении Сопротивления. Подвергался репрессиям. 45-й год — депутат Учредительного, чуть позже Национального собрания Франции. Приняв ислам, изменив веру, он ведет борьбу за диалог и сближение всех мировых религий, за что приобретает славу "мусульманского" Лютера. Сенатор — в 53-м году в Сорбонне защищает докторскую диссертацию по теме: "Материалистическая теория познания". Корреспондент "Юманите", руководитель коллектива по выпуску трудов Ленина на французском языке. Поездки в Москву, знакомство со Сталиным. "Изучатель" сталинского наследия. В 1956 — 1970 гг. — член политбюро, главный идеолог Французской компартии... Резкие выступления — демарши за десталинизацию, за демократический коммунизм чешского типа. Выводится из политбюро, исключается из партии. Знакомство, дружба, идейная близость: с Хрущевым, Кастро, Каддафи, Сартром, Эренбургом, Пикассо, Насером, иранской королевой, теологом отцом Шеню...

— Я нашла его, прилетай, — позвонила мне из Парижа моя приятельница переводчица Надир Фавр. — Он живет за городом, в местечке Шенвир на Марне. Он нас ждет.

— Октябрьская революция и Сталин в течение многих лет олицетворяли наши надежды. Когда западный мир корчился в конвульсиях великого кризиса, набирали силу пятилетние планы, превращая промышленно отсталую Россию во вторую великую экономическую державу мира, способную выдержать двадцать лет спустя главный удар гитлеровского нашествия.

Когда в нашем концлагере мы узнали, что самая мощная немецкая армия взята в плен под Сталинградом, никто не сомневался тогда, что, когда армия Сталина наступает, свобода продвигается вместе с ней, и звонит первый колокол Победы.

Какой ценой в дни мира и в дни войны советский народ оплатил эти свои индустриальные и военные подвиги? Никто тогда не знал этого.

Я говорю об этом с полной ответственностью, а не только в черно-белом цвете.

Когда это касается Сталина, я хочу вначале разграничить: то, что я видел; то, что прочитал; и то, что мне сказали.

Сначала то, что я видел.

Как член французской делегации на XIX съезде КПСС, я мог наблюдать в этом собрании поведение Сталина на публике. Эпизоды кинохроники — с Гитлером на парадах в Нюрнберге или с Муссолини на балконе Венецианского дворца в Риме — показывают одного и другого полностью оторванными от остальных бонз режимов, которые образуют простую декорацию из униформ. Сталин входит в президиум съезда среди других членов Политбюро. Они шутят и обмениваются дружескими тумаками. В этой группе Сталин в своем френче военного образца ничем не выделяется. Звезды и медали нужны лишь для официальных портретов. В его речах нет ни лая Гитлера, ни челюсти дуче, только монотонная речь. На грани бормотания.

Во время обедов, собиравших все зарубежные делегации, он переходит от столика к столику со своей бутылкой грузинского вина (Мукузани), в отличие от любителей водки. Во время таких банкетов я видел,

как маршал Ворошилов — распорядитель тостами (тамада) — выпивал до дна 74 стопки перцовки — ровно столько, сколько было делегаций на приеме.

Вот Сталин подходит к нашему, французскому столику (мы — вчетвером). Когда он хочет особо почтить гостя, он наливает ему немного вина из своей бутылки. Это он делает и нам. Потом берет меня за плечо и, к моему великому удивлению, произносит:

— Выпьем за здоровье вашего маленького Жана. Торез рассказал мне, что у вас дома перед моим портретом он произнес: "Это дедушка Сталин". Жан видел мою фотографию, так покажите мне его.

Наружность и поведение совсем не диктаторские.

Когда я вернулся в Москву несколькими месяцами позже как корреспондент "Юманите", Сталин уже умер. То, что я видел тогда, — это его образ "внизу", в народе.

Я живу с женой и тремя детьми в крошечной квартирке на Садовом кольце.

Вечером, когда постели извлечены из диванов, нужно через них перешагивать.

Русская женщина, лет сорока, приехавшая из деревни, занимается нашим хозяйством и детьми. Она живет с нами, в клетушке.

У Шуры очень фольклорная внешность: две светлых косы до талии, светло-голубые глаза и традиционное платье уральской крестьянки. Она быстро входит в нашу семью и мечтает увезти маленькую трехлетнюю Франсуазу (Фану) навестить свой колхоз и свою семью. Она отказывается от отпусков, кроме воскресений, когда идет к православной службе, которая длится целое утро.

Вскоре после нашего прибытия "Правда" объявляет о казни Берии, обвиненного в том, что он вел себя как палач.

Неграмотная Шура заставляет меня трижды прочитать ей статью, рассказывающую о наказании этого предателя. При этом она испытывает подлинное лико-

вание. Она говорит мне о Берии как об оборотне, напротив, она не жалеет похвал по поводу того, что принес Сталин в жизнь ее деревни и ее лично. Она непрестанно молилась за него при его жизни за все эти благодеяния, а после его смерти за упокой его души.

На улице, в поездках, в контактах с людьми я мог видеть последствия сталинского режима со всеми их противоречиями: самое прискорбное соседствовало с самым великим.

Беспрестанным и угодливым было повторение восхваляющих лозунгов (столь же монотонных и лживых, как лозунги антикоммунизма). Причем на всех уровнях: от центрального комитета до самого "мелкого председателя" колхоза.

И потом гонорар за это приспособленчество: доступ в ту особую секцию ГУМа, в которой люди с положением и пользующиеся расположением иностранцы могут приобрести по льготным ценам все, что невозможно найти в магазинах. Я вспоминаю, как делал там покупки в компании космонавта Гагарина, который покорил моих детей, показывая фигуры высшего пилотажа на маленьких моделях самолетов.

Мы сидим в рабочем кабинете писателя и философа, отдавшего работе и размышлениям о нашем веке всю свою долгую жизнь. Его ум, я это почти физически ощущал, ясен и трезв. Он, я тоже это ощущал, гордится историей своей жизни. Все в ней ему дорого. Все незабвенно. Я не мог принять те или иные пассажи Роже Гароди, касающиеся Сталина, но я слушал его с вниманием и нескрываемым любопытством. Так же как, впрочем, и мой пятнадцатилетний сын Кирилл, сидевший рядом. Нам, отцу и сыну, представителям двух поколений, было одинаково интересно — такое бывает нечасто.

— Страх смерти для души — это страх потерять смысл своей жизни и деятельности. Почему не признаться, что в какой-то момент после XX съезда мы испытали это инстинктивное оцепенение нашего сознания. Мы его никогда не знали прежде — ни в тюрьмах, ни в концлагерях.

Полный текст доклада Хрущева, который был широко опубликован в прессе нашего идейного противника и в подлинности которого нельзя было усомниться, в течение долгого времени лишь укреплял мои подозрения в "термидорианской контрреволюции".

Даже если факты точны, это выставленное на публику беспорядочное нагромождение могильно известных анекдотов имело вид простого сведения счетов. И заклинание, которое освобождает от всякого анализа: "культ личности".

Позже я часто встречал Хрущева; он приглашал меня на отпуск на свою дачу в Крыму, я никогда его не любил. Вот сценка, которая раскрывает его человеческое убожество. Мы — у него с несколькими руководителями зарубежных коммунистов. В Польше трудная ситуация. Хрущев хватает Гомулку за плечо и предлагает ему тост:

— Я охотно пью за твое здоровье, но не твоего политбюро: там есть собаки.

Гомулка взбешен:

— Или вместе с моим политбюро, или ничего!

Хрущев бьет о пол свой бокал. Гомулка — свой. Позже, в ходе одной беседы в Варшаве, я напоминаю Гомулке этот инцидент и поздравляю его за эту его позицию.

— Мне, — отвечает он, — не так трудно, как с Хрущевым, было с кардиналом Вышинским. Кардинал ненавидит социализм. Благодаря его авторитету у католиков, в его власти свергнуть наш режим, когда он захочет. Но он не делает этого только из национальных чувств: не жалеет для нас критики, но любит свою страну и знает, где нельзя заходить слишком да-

леко, чтобы не спровоцировать иностранную интервенцию...

Но какой бы ни были личность Хрущева и его политика, его доклад начал болезненную, но необходимую ломку образа Сталина, который был создан у всех нас.

Мой опыт в этом отношении — опыт бесчисленного множества людей, и не только коммунистов.

...Мой последний бой сталинизму до моего исключения из партии я дал в Югославии.

Занятые мною позиции по самоуправлению были восприняты югославами как солидарность с их взглядами.

...Я был приглашен прочитать серию лекций для движения коммунистической молодежи по теме: "Социализм авторитарный и социализм самоуправляемый". Мое турне заканчивается пресс-конференцией в Белграде. Охапка микрофонов и куча журналистов: очень западноевропеизированных, то есть очень возбужденных перспективой дать сказать другому (такой "достопримечательности", как я, выпадающей из всяких систем) несколько чудовищных вещей.

Представляющий меня, напротив, очень "ортодоксален": сплошные тирады в мой адрес и идиллические тирады о режиме самоуправления. Это напоминает мне СССР: любой официальный доклад — это "Алиса в Стране Чудес".

Мое вводное сообщение ограничивается планом принципов. Для Маркса Парижская коммуна — это "наконец найденная форма" социалистического общества: поскольку речь там идет о революции без единственной партии (в Коммуне доминировали прудонисты и бланкисты при единственном марксисте), без государства (прямая демократия) и самоуправляемой (начало захвата предприятий рабочими советами). Полная противоположность советскому государству.

Не свойственно ли самой природе социализма быть единственной революцией, которая не может делаться "сверху"?

Социализм — это не только политическая революция (смена команды у власти и даже социального класса). Это не только экономическая революция (переход собственности). Он затрагивает фундамент общества: форму культуры и социальных отношений, покоящихся на привилегиях, господстве, дуализме, отчуждениях. Следовательно, он предполагает радикальное изменение не только институтов, но и людей, которые его делают: слишком много революционеров хотят изменить все, кроме самих себя.

И хотя я не сказал этого, все поняли: есть ли уверенность, что даже в самоуправляющемся югославском социализме все идет от основания, снизу? А люди, особенно руководители, изменились ли они в глубине себя?

Я заключаю: "Социализм — это утопия в прямом и хорошем смысле этого слова: идея — регулятор для ориентации революционного движения нового типа, нацеленная на внешность и внутреннее содержание человека, социальные структуры и духовный мир каждого".

Этот подход — я вынашивал его всю мою жизнь — не нравится никакому политическому или религиозному руководителю: все они хотят заставить нас верить, что Царство небесное уже здесь, во плоти, в какой-то церкви или партии...

За этим моим заключением следует долгое молчание.

Атака начинается в соответствии с гнусным правилом игры всех политиков: мы и другие. "Другие" — это здесь. Один краснолицый журналист объясняет мне:

— Сталин сделал социализм "сверху" в половине Европы. Он навязал там режим, похожий на советский, благодаря победе своих армий в 1945 году. Я говорю вам как бывший партизан (он потрясает культей над своей головой)... мы, сербы, мы — единственные, кто сами себя освободили.

Я пытаюсь сделать дебаты менее страстными:

— Это правда, дорогой товарищ, что социалистический режим в этих странах родился не "снизу", не из стихийной народной революции, чего ожидали Ленин и Троцкий в Германии и Франции. Но можно ли говорить, что речь идет здесь об оккупации, подобной, например, гитлеровской?

Мой краснолицый ворчит:

— Я не сказал этого.

— Хорошо! Тогда сделаем небольшой экскурс в историю: попробуем судить в том же свете экспорт французской революции во всю Европу. Военные победы Наполеона смели феодальные структуры, архаичные и угнетающие. Народы, которые жили под их гнетом, не имели сил разбить их своими руками, "снизу". А Наполеон за пределами Франции явился, по крайней мере вначале, как Робеспьер на коне. Его принимали как освободителя от рабства и хаоса прошлого. Гегель, видевший въезд Наполеона в Иену, писал: "Я видел разум на коне!"

— Значит, Сталин — Наполеон?

— Нет, я просто говорю, что, если судить в масштабе веков, ни советский социализм, ни Сталин, олицетворявший его в течение трети века, не являются уникальными уродствами истории. Исторические параллели всегда лживы. По определению. Поскольку та же схема не может применяться в различных исторических условиях. Но аналогии являются иногда рабочими гипотезами, и, в частности, они помогают нам соотносить объективные мерки с окрашенной нашими чувствами действительностью.

У меня не было впечатления, что я убедил всех журналистов, но среди них было явное замешательство, а значит — размышление.

Следующий вопрос — более технический:

— Не является ли принудительная индустриализация примером преступлений "социализма сверху"?

— Я не знаю индустриализации, которая не была бы принудительной, пришедшей "сверху". Но в странах

Запада в XIX веке "верхом" были патронатобъединение предпринимателей и государство. А на Востоке в XX веке — это партия и государство. Подлинная проблема состоит в том, может быть, чтобы исследовать саму по себе индустриализацию: является ли она единственным возможным путем развития человечества?

Никто не желает сражаться на этой территории: запретная тема западной модели роста выходит за границы Востока и Запада.

Пресс-конференция заканчивается в атмосфере всеобщего ликования: охапками пожимаются руки, взаимные пожелания, полный ритуал "братских партий".

К моему несчастью, югославская пресса широко осветила мои заявления, и официальная партийная газета дала о них хвалебный отчет.

По моем возвращении в Париж я узнаю, что руководство ФКП протестовало против этой публикации: "Разговоры, которые вел товарищ Гароди, член политбюро, являются его личными мнениями, которые не отражают позиции нашей партии".

Другой источник — посол Югославии в Париже Иво Вейивода — дополняет мою информацию пикантным образом:

— Югославская партия ответила, что в противоположность концепции, которой вдохновлялся этот протест, югославская пресса свободна.

...Передохнул, задумался, переспросил, работает ли мой магнитофон, и снова вернулся к воспоминаниям о Москве. Заговорил о своем собственном опыте знакомства с всеобщей подозрительностью, нетерпимостью.

— Я был связан в Академии наук с одним из ее членов — Окуловым. Я ежедневно работал с ним. Мы испытывали один к другому чувства двух братьев. И, однако, он ни разу не принял меня у себя дома. Чтобы

отметить 20 лет своего супружества, он пригласил меня, вместе с моей и его супругами, в ресторан.

За год моего пребывания в Москве, при всем том, что я был гарантированно "безопасным" (как член ЦК ФКП), я смог проникнуть только к трем домашним очагам: писателя Ильи Эренбурга, балерины Виолетты Бофт и генерала Игнатьева. И никто из троих не был членом партии. Больше того, в силу разных причин все трое, несмотря на их известность, находились в "маргинальной" зоне советского общества.

Я был достаточно удивлен терпимостью суждения Эренбурга о процессах и репрессиях.

Но в том году, который последовал после смерти Сталина, я перемешиваю его свидетельство с другими. Каков был масштаб этих чисток? Честно говоря, никто не может этого сказать. В ту пору я прочитал книгу одного из самых принципиальных и светлых критиков — Исаака Дейчера. В его книге о жизни Сталина, написанной в 1953 году, за год до смерти последнего, он оценил число жертв в несколько десятков тысяч. Это уже ужасная цифра.

У моего друга Жана Катала, на Арбате, в Москве, я встречаю иногда Жоржа Бортоли. Оба они крайне критичны по отношению к режиму Сталина — и очень хорошо информированы. Они мне часто говорят о репрессиях и его ослеплении, но и они никогда не называли таких безумных цифр, которые впоследствии сделает официальными антикоммунистическая пропаганда: 10 миллионов. Без сомнения, для того, чтобы оправдать лозунг: "Хуже Гитлера", понадобилось к истинным цифрам добавить ноль. Я читал об этом, как и все.

Я уже слышу, как мои ритуальные критики, прочитав эти заметки, торжествуют: "Гароди, этот сталинист, пытается оправдать Сталина".

Это обвинение в сталинизме всегда забавляло меня, поскольку оно очень избирательно.

Я ни у кого не прошу прощения. Целиком признавая свои ошибки и мое участие в ошибках, я не хочу

быть в числе тех, кого итальянцы зовут раскаявшимися, ставшими доносчиками на тех, чьи ошибки они разделяли.

Объяснить, определить место и относительно масштабы грехопадений не означает их оправдать, а лишь не дать сделать из них инструмент пропаганды и войны в руках тех, кто в течение полувека — от мюнхенской капитуляции до сотрудничества с Гитлером и добровольной феодальной зависимости от американцев, от войны во Вьетнаме до войны в Алжире, от антипрофсоюзных репрессий, от ядерных иллюзий и сверхвооружения — допускали ошибки и преступления, бесконечно более вредоносные для нашего народа, чем наши самые худшие заблуждения.

Это никак не обеляет нас. Но я не признаю за ними права быть ни нашими судьями, ни прокурорами.

Говоря о Сталине, я просто пытаюсь не быть ни глухим, ни снисходительным.

Когда я побывал однажды на Новодевичьем кладбище в Москве, гид показал мне могилу жены Сталина Аллилуевой. Гид не дал мне ничего детального об этих отношениях, но, со слезами на глазах, показал мне плиту, к которой, сказал он, Сталин до самой своей смерти регулярно приходил собраться с мыслями.

В один из моих приездов в Москву меня разместили в поместье, где Сталин жил незадолго до смерти. Лицо, которому было поручено мое устройство, позволило мне посетить здание.

Расположенное посреди леса, оно напоминает крепость, камни которой выражают недоверчивость Сталина и его маниакальную боязнь заговора. Молодая женщина, которая сопровождала меня, была ассистентом кафедры новейшей истории университета. Она объяснила мне, что Сталин предавался здесь пьянству и дебошам, что сюда ему привозили маленьких девочек...

— Дорогой товарищ. Слушая вас, я начинаю серьезно бояться реставрации сталинизма. Вы — историк, и вы хотели бы заставить меня думать, что все зло

идет от личных пороков Сталина. Достаточно, следовательно, заменить плохого человека хорошим — и все пойдет прекрасно. Я удивляюсь тому, что вы не задаете себе вопрос: был Сталин причиной или следствием? Продуктом определенной структуры власти? Следовательно, нет ли чего в логике системы, что могло бы секретировать такого рода политические отклонения от нормы?

Таковы позолоченные легенды, или сплетни.

А оркестровое сопровождене составляет мелодия, издаваемая прессой с обоих флангов.

— Вы спрашиваете, почему я стал другим за последнюю четверть века, что заставило меня смотреть иначе на многое в этом мире? Причин этому три. Студенческие события во Франции в 1968 году, случившиеся, что странно, при нормальном экономическом положении. Бастовало десять миллионов трудящихся. Все университеты были под контролем студенчества. А во мне рождалось, подплывало смутное осознание того, что наша система более опасна тогда, когда она, да-да, не удивляйтесь, хорошо функционирует. Вроде бы парадоксально, но это так. И в кризисе 68-го года была победа сознания, когда менялось мое представление о революции. А нам, коммунистам, не хватило тогда мужества до конца раскрыть противоречия системы, причины ее кризиса. И мне казалось: в кризисе не система, а целая цивилизация.

Я сказал об этомЖоржу Марше, нашему генеральному секретарю Центрального комитета партии. Он не согласился: ничего страшного не происходит, это просто студенческая агитация. Тогда я, уже как член Центрального комитета, в довольно резкой форме заявил ему, что он — это тот человек, от которого погибнет партия, что он ее смерть. Партия, не понимавшая, что происходит в мире, не разбирающаяся в том, что творится на самом деле, — у такой партии нет будущего. Так оно и вышло. Я оказался прав. Это первая причина моего разочарования.

Вторая — поведение Марше по отношению к Советскому Союзу в трагические дни вторжения советских войск в Чехословакию. Многие во французской компартии были против этого. Но ситуацию вовремя не обсудили, а на следующий день было уже поздно, и партия, во всяком случае многие ее члены, замолчали. Согласились с вторжением, с оккупацией. А я думал, социалистический ли это режим, который может позволить себе такие крайние поступки?

И третья причина — мое отношение к программе нашей партии, ставшей потом общей программой с социалистами, с Миттераном. Я предложил контрпрограмму, свою, во многом противоположную. Меня порицали, раскритиковали, весь ЦК высказался против меня. И меня исключили сначала из политбюро, а потом из партии вообще.

— Вы переживали, это было для вас неожиданностью?

— Для меня это был опаснейший, кризисный момент. Я даже хотел покончить с собой. Ведь к тому времени я состоял в партии 37 лет, и вдруг моя жизнь лишилась всякого смысла.

— А потом?

— А потом я втянулся в научную работу. Стал думать над проектами будущего. "Альтернатива" — десять лет я обмозговывал это понятие, ставшее названием новой книги. Книги о том, как нам снова завоевать надежду. Это был призыв к живым людям. Книга имела огромный успех. Она разошлась тиражом в 190 тысяч экземпляров — для нас это огромный тираж, небывалый. Мне даже как-то неловко сравнивать, но она имела куда больше успеха, чем книги Сартра.

Я работал сразу над несколькими книгами и помимо политических проектов размышлял над эстетиче-

скими, духовными, нравственными проблемами общества и человека в нем. Причем часть моих выводов оформилась еще тогда, когда я состоял в партии, но это не изменило общей структуры моих исследований. После исключения из партии я почувствовал себя свободным, раскованным. Я был рад тому, что могу открыто выражать свои взгляды и мысли. И я употребил эту возможность для размышлений о том, как политическая деятельность соединяется с эстетическим творчеством. К одной из моих книг Луи Арагон написал предисловие, он назвал его "От анафемы до диалога".

— Но Арагон писал в предисловии к самой известной у нас в России вашей книге "О реализме без берегов" буквально следующее: "Как же можно говорить о мирном сосуществовании идеологий?!" Так как же, по-вашему, можно говорить?

— Дело не в идеологии. Вера — не идеология. Самая опасная и самая тяжелая ошибка коммунистических партий в том, что они считают, что вера и есть идеология. Это неправильно. Вера это не то, что человек верит в Бога. Это то, как вы вообще поступаете, как живете. Это образ вашей жизни. Это не принципы, не начала идеологии, и вы ничего не демонстрируете, нет, вы просто живете.

— Что для вас есть Бог? И какой Бог? Ведь вы сменили религию?

— Когда меня спрашивают, как можно доказать существование Бога, меня тянет к револьверу. Ведь если можно доказать, что существует Бог, тогда это не Бог. Это уже не Бог. Для меня Бог не существо. Бог — это поступок. Бог — это настоящее открытие. В своей книжке "Ключ к Марксу" я показал, что настоящее философское открытие — это поступок, что Маркс — это не переход от идеализма к материализму, а пере-

ход от философии человеческого существа к философии поступка, поведения. Это нечто противоположное Аристотелю.

— Еще раз хочу процитировать Арагона из предисловия к "Реализму без берегов": "Я хорошо знаю, что в марксизме нет и не может быть места для заблуждений или преступлений". Как вы могли согласиться с таким пассажем в вашей книге?

— Это, по-моему, действительно глупо. Нет науки цели, наука есть только средство. Научный марксизм бывает только тогда, когда он действует. Средства марксизма могут быть научными, а суть марксизма — нет. Быть социалистом — это не научный поступок. Это поступок веры. Маркс стал социалистом за двадцать лет до "Капитала". В 1853 году он пишет, и это почти категорический императив по Канту, он пишет, что мы должны уметь преодолевать всяческие режимы, в которых человеческое существо оскорблено и унижено. И в этом его утверждении нет ничего научного, в этом просто вера. Это потом, позже, он сможет переступать через идеалы, но это потом. Вот почему утверждение Арагона, по-моему, просто глупо.

— А можно ли говорить о мирном сосуществовании в искусстве?

— Мирное ли, не мирное — для меня это ничего не значит. Для меня суть искусства в том, как человек может себя проявить. И может ли? Когда человек сталкивается с великим произведением искусства, вот тогда он понимает, что существует что-то свыше и выше. То, что ему не принадлежит. У Софокла, например, Антигона говорит о неписаных законах, о небесных законах, которые выше законов земных. Часто размышляя о декадентстве, я пришел к выводу, что де-

кадентство — это когда искусство об этих законах свыше не думает. Они ему не нужны, оно обходится без них.

Однажды моя дочь повела меня на рок-концерт. Огни, иллюминация, прожекторы застили глаза. В зале человеку нельзя элементарно думать, не то что воспринимать музыку, действо. От всей этой какофонии я оглох, я ничего не слышал, мне было плохо, я ничего не понимал. А на следующий день я узнал, что уровень децибелов в зале превышал сто тридцать. Человеческое же ухо страдает уже при девяноста. И мне кажется, что это так называемое искусство принадлежит к истории шума, а не музыки. Вот вам и мирное сосуществование в искусстве...

— Как появилась книга "О реализме без берегов"? Как вы написали ее?

— Это не книга, а сборник трех статей. Луи Арагон приказал издать ее как книгу. Книга состоит из трех лекций. Первая была прочитана в Чехословакии. Руководитель отделения германистики в Пражском университете мой друг Гольдштюкер — специалист по Кафке. Кафка на плохом счету, его не издают. И Гольдштюкер хочет разорвать порочный круг, организуя во дворце Либлице коллоквиум по Кафке. Кафка должен быть реабилитирован! Объявлено о моем участии, я должен стать буфером против возможного запрета коллоквиума. Операция удается. Первый день — недоверие публики: посланец французского ЦК прибыл с докладом. Второй день — кинокамеры ткнули свой нос в дверь. День третий — на закрытие прибывает министр культуры Гаек. Он объявляет об организации публичной демонстрации в поддержку Кафки в Праге с двумя речами: Гольдштюкера от чехов и моей от иностранцев. В действительности же "публика", три сотни человек, тщательнейшим образом отобрана, но Гольдштюкер и я восхищены: мы добились "амнистии" Кафки. Больше того: министр объявляет, что скоро бу-

дут опубликованы "Замок" и "Америка", произведения великого писателя, находящиеся под замком. Некоторое время спустя в Париже чешский посол вручил мне золотую медаль за услуги, оказанные ешской культуре, эту награду я носил только раз: при приеме в советском посольстве после вторжения в Прагу, одеваясь в вестибюле, я обнаружил в кармане записку: "Когда будут исследованы культурные источники движения 1968 года, будет исследована и степень ответственности всех, кто его подготовил: Гольдштюкер и Гароди, которые провоцировали своей пропагандой Кафки нашу молодежь к разложению".

Бедный Кафка! Я отравил им целое поколение!

Так вот, когда я опубликовал во Франции этот очерк о Кафке, сопровожденный лекцией о Сен-Джон Персе и исследованием о творчестве Пикассо, стоящая в шеренгу советская критика растерялась. Заголовок, придуманный Арагоном, гласил: "О реализме без берегов". В предисловии он писал: "Эта книга — событие". Но эта книга была полным разрывом с официальной линией. Книга стала моей первой стычкой по проблемам искусства с советскими официальными лицами. По настоянию Арагона Москва, попав в неловкое положение перед двумя "именитыми" членами "братской партии", опубликовала ограниченным тиражом с грифом "для научных библиотек" (нечто эквивалентное: "Запрещено для лиц моложе 18 лет").

Любопытны истории и двух других статей в книге. Они также родились из лекций. Лекцию о Пикассо я читал в Париже, в зале, вместившем две тысячи восемьсот слушателей. Плата за вход была очень высокая. В партии мне сказали, что я сошел с ума. Это очень дорого. Потом я спросил Пикассо: "Ну, как ты оцениваешь то, что я сказал?" Пикассо ответил: "Да, я согласен, согласен на уши и хвост". Это была высшая похвала, ведь это понятие относится к тореадору-победителю, которому вручают уши и хвост убитого им быка.

Третью лекцию, о Сен-Джон Персе, я читал в США. В те времена он был на высотах французской

дипломатии. Он очень обрадовался этой лекции. Я тогда представлял партию, а она его не жаловала. И он захотел со мной познакомиться, и я получил возможность увидеть его дом, его быт и узнал, как он работает. Но, вы знаете, он говорил только об одном, о Сталине. Он был с ним знаком, ибо сопровождал в свое время в Москву с визитом министра Пьера Лаваля во время подготовки франко-советского пакта в 1934 году.

— Сегодня, несмотря на усилия последних лет, мир по-прежнему разъединен, разъят. Что объединяет сегодня людей, человечество?

— Думаю, что общие проекты, общие надежды. Пару могут держать друг с другом хорошие половые отношения, но если нет чего-то другого общего: детей, работы, идеи, — как правило, это не длительный союз. Ни сентиментальные, ни фиктивные отношения не помогут. Сила притяжения — в чем-то социально общем. Знаете, это как в искусстве: если вам не о чем сказать, выразить себя, то даже если вы хорошо говорите, это не искусство.

— Что вас больше всего интересует из происходящего сегодня в России?

— Издается ли Достоевский? Я помню времена, когда книги Достоевского были в страшном дефиците.

Что же происходит у вас? Когда говорят о крахе марксизма, я этому не совсем верю. Это не так. Мне приходит в голову мысль о посмертном отмщении Маркса, потому что вместо него писали так много глупостей. Будто бы он так думал и говорил. К примеру, анализируя английский капитализм, самый развитой в мире, он установил почти математические законы его развития. Огромная монументальная ошибка современных толкователей Маркса в том, что они перепутали

описание закона с самим законом и поняли выводы Маркса как, ну, что ли, приказательный закон. У Ленина таких иллюзий не было. В результате же вышло нечто противоположное марксизму.

— А что такое Маркс и его учение для вас?

Для меня Маркс — не изобретатель марксизма, он изобретатель исследований будущего. Он методолог исторической инициативы. Он исследователь противоречий, свойственных одной стране, одной эпохе. Он рассуждает о том, как можно преодолевать противоречия. Он специалист именно в этих проблемах. Его же извратили, его учению сделали обрезание и в таком виде импортировали в Россию. Как образец. То есть отсталый российский капитализм перевели в развитой. Из девятнадцатого века в двадцатый!

А рынок? Маркс хорошо понял, что только на рынке далеко не уедешь. Если только один рынок уравновешивает социальные отношения, то это анархия, хаос. Он думал над тем, как можно уравновесить общественные отношения, и говорил о плане как ориентире экономики. Я вижу в этом своего рода моральный аспект, а не буквальный. Так, как принимается план в России: план и только план, любой ценой!

Например, Маркс считал, что нужно установить такую систему, при которой каждый одаренный ребенок в идеале мог бы стать Моцартом, но для этого ему необходимо создать определенные экономические и социальные условия. На самом же деле у вас и понятия плана, и какие-то при этом эмоциональные нюансы приняли как бы прямо в лоб, архибуквально, бюрократически, централизованно. Вот и привели экономику к хаосу, а свободу — в тюрьму.

И еще: вы перепутали социализацию и этатизацию. И Маркс посмеялся бы, глядя на это. Таким образом, в результате этих причин распадается, и во многом уже распалась, великая система. И в Советском Союзе, в других странах социализма идет возрождение

капитализма. Значит, опять сорок восьмой год! 1848! Как было при Марксе. Значит — назад, а не вперед. Значит, зря прошли полтора века. Рыночная экономика — это не мечта для будущего, это кошмар. И Ельцин, так же как и Валенса в Польше, не панацеи. Потерянное за полвека нельзя восстановить одним днем. Даже полтыщей дней.

Роже Гароди интереснейший собеседник. Он может показаться архаичным, замшелым в своих убеждениях о прошлом. Часть его бурной жизни прошла в Москве, он знал Сталина, он гордится своим прошлым. И вообще многим гордится: портфелем из крокодиловой кожи, подаренным ему Фиделем Кастро, учеными степенями и званиями, разного рода наградами, знакомствами с удивительными людьми, такими разными, как Жан-Поль Сартр и Каддафи, людьми Ватикана и Эренбургом. Книгами своими — они занимают целый стеллаж снизу доверху. Может быть, ему было немного приятно, что о нем вспомнили в Москве, что русский журналист приехал к нему в дом, где он живет уже много лет.

Он торопится, спешит завершить задуманное. С удовольствием дарит последние свои книги.

Прочитав это интервью, вы, может быть, почувствуете, что Гароди играет, эпатирует читателя. Название одной из последних его книг — "Моя гонка по веку в одиночку". Но мне кажется, что Гароди никогда не был одинок. Вся его жизнь была борьбой, а борьба предполагает соперника. Он не одинок даже сегодня, на закате жизни.

Он ведет диалог. Диалог с белым чистым листом бумаги.

Частично интервью было опубликовано в журнале "Родина" (Москва).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ФОНД "ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ СОЛДАТАМ"

12 декабря 1989 года в Москве создан Международный неправительственный фонд "Вечная память солдатам", целью которого является оказание помощи всем страждущим солдатам 2-й мировой войны, сооружение памятных мемориалов всем погибшим на территории СССР и других стран солдатам, увековечивание их имен, преодоление идеологических и политических последствий 2-й мировой войны.

Попечителями Фонда стали пятнадцать народных депутатов СССР, среди которых был безвременно ушедший от нас лауреат Нобелевской премии мира академик Андрей Сахаров.

Дав согласие возглавить Фонд, Андрей Дмитриевич сказал: "Это святое дело может примирить многие страны и многих людей".

Слова великого гражданина мира стали программой Фонда. В совет его попечителей вошли митрополит Русской Православной Церкви и муфтий мусульман Средней Азии, служители Католической и Лютеранской Церквей, маршал и рядовой солдат 2-й мировой войны.

Мы будем оказывать помощь всем пострадавшим во 2-й мировой войне, собирать информацию о местах захоронений всех солдат, сооружать им достойные мемориалы, обеспечивать их сохранность, уход и беспрепятственное посещение гражданами всех стран.

Мы будем нести культурно-просветительскую деятельность, содействующую примирению всех народов, издавать на многих языках мира собственный журнал, высвечивая из тьмы тайные пружины интриг и корыстных расчетов, которые содействовали возникновению самой страшной в истории человечества войны.

Мы будем делать все, чтобы войны навсегда оставили нашу многострадальную планету.

Мы учредили международную премию имени академика Сахарова, которая будет ежегодно присуждаться общественным и государственным деятелям, вносящим большой вклад в дело примирения народов.

Пожертвователями Фонда могут стать все правительства, государственные, религиозные и любые другие организации, общества и объединения, а также отдельные лица.

Вся деятельность Фонда является открытой и будет проходить под контролем национальных наблюдательных советов, состоящих из видных представителей духовенства, науки и культуры.

Попечители Фонда:

Чингиз Айтматов, Виктор Астафьев, Юрий Афанасьев, Анатолий Ф.Безуглов, Евгений Велихов, Галина Вишневская, Алексей Елисеев, Марк Захаров, Александр Зварцев, Гавриил Илизаров, Кирилл Лавров, муфтий мусульман Средней Азии Мухаммад-Содик Мухаммад-Юсуф, митрополит Волоколамский и Юрьевский Питирим, Борис Патон, Мстислав Ростропович, Александр Силантьев, Владимир Тихонов, Владимир Цветов, Владимир Чаенков, Николай Шмелев.

Адрес: Москва, Северный, И-204, 1-я линия, дом 1. Тел.: 409.97.43, 409.96.11. Телекс: 412165 COMP SU. Факс: 4099650. Телетайп: 417142 СЕКТОР.

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ БРОКГАУЗА И ЕФРОНА

Объявляется подписка на репринтное издание единственной русский энциклопедии в 86 томах, получившей мировую известность и выходившей в 1890 — 1907 годах. Юбилейное малотиражное переиздание осуществляет издательство "Терра" (Москва). Доход от продажи пойдет на закупку одноразовых шприцев и других медикаментов для передачи советскому Детскому фонду.

Переиздание в точности воспроизводит оригинал и представляет собою тисненные золотом, богато иллюстрированные таблицами, цветными картами и литографиями тома. Издание осуществится в 1990—1994. Стоимость тома $28. Пересылка в США и Канаду $0.99 за том, в другие страны $1.99 за том. Оплата подписки может производиться потомно по мере выхода. Для оплативших подписку по получении первого тома предусмотрена более чем 30% скидка. Стоимость ВСЕГО ИЗДАНИЯ в этом случае составит $1600 плюс $56 (в США и Канаде) или $113 (в остальных странах) за пересылку. Для подписавшихся на адрес СССР пересылка бесплатна.

Чеки за 1-й том в любой конвертируемой валюте нужно высылать по адресу: American Help Foundation, Inc., P.O. Box 501, Newton, MA 02159, USA. FAX (617) 489-6255. Продажа этого издания производится только за конвертируемую валюту во всех странах мира включая СССР. Американский фонд помощи получил исключительные права на продажу издания за пределами СССР для сбора средств на вышеназванные благотворительные цели.

УЖЕ ВЫШЛИ ПЕРВЫЕ ШЕСТЬ ТОМОВ

ДЕКЛАРАЦИЯ

Собравшийся по инициативе граждан 1-й Всесоюзный съезд родителей военнослужащих:

утверждает общественную организацию - Всесоюзный совет родителей военнослужащих,

утверждает Устав Всесоюзного совета родителей военнослужащих,

избирает соответствующие Уставу руководящие органы Всесоюзного совета родителей военнослужащих и

постановляет:

1. Признать действительную военную службу в Вооруженных силах СССР опасной для жизни и здоровья граждан.

В связи с этим потребовать от органов власти:

немедленного всенародного обсуждения проектов новых законодательных актов, определяющих принципы и организацию воинской службы в СССР в интересах народа;

сокращения сроков обязательной военной службы для солдат, матросов, сержантов и старшин срочной службы;

быстрого, в течение двух лет, проведения радикальной военной реформы, основы и характер которой определить всенародным референдумом;

ликвидации до начала 1991 года всех военно-строительных формирований и запрета на комплектование железнодорожных войск, внутренних войск и войск КГБ военнослужащими срочной службы;

введения с 1 ноября 1990 года обязательной государственной службы, являющейся альтернативной по отношению к воинской службе, на весь период перехода к профессиональному принципу комплектования вооруженных сил;

законодательного обеспечения права граждан на отказ от воинской и обязательной государственной службы по состоянию здоровья и по семейным обстоятельствам, а также права на отказ от выполнения преступного приказа;

создания независимой комиссии для проведения экспертизы Вооруженных сил СССР, выяснения причин и конкретных виновников деградации всей системы обороны государства;

сформирования в каждой суверенной союзной республике национальных вооруженных сил, в которых будут проходить службу исключительно граждане соответствующей союзной республики.

2. Подтвердить правовую и социальную незащищенность военнослужащих, военнообязанных и членов их семей в СССР.

Добиваться от органов власти:

правовых и материальных гарантий безопасности военнослужащих, находящихся на действительной военной службе в мирное время;

разрешения создавать профессиональные и другие союзы и объединения военнослужащих, не ставящие перед собой политических целей;

резкого повышения размеров денежного содержания и прочих материальных компенсаций для военнослужащих всех категорий;

освобождения от призыва на срочную военную службу военнообязанных, являющихся единственным сыном у одинокой матери или отцом семейства;

создания механизмов эффективного социального обеспечения для инвалидов вооруженных сил, матерей, вдов и сирот погибших военнослужащих;

немедленной единовременной выплаты денежного пособия в размере 25 тысяч рублей всем семьям, у которых сын погиб или умер в период прохождения действительной военной службы, независимо от обстоятельств смерти;

введения отсрочки от призыва на срочную службу для военнообязанных, обучающихся на вечерних и заочных отделениях любых учебных заведений, на период до окончания соответствующего учебного заведения;

обеспечения права родителей навещать детей, находящихся на действительной военной службе, независимо от того, где именно дети проходят воинскую службу, за счет министерства обороны;

создания правовых гарантий неприкосновенности личности военнослужащего, его права в мирное время покинуть место воинской службы в случае угрозы его жизни, здоровью или личному достоинству;

объявления амнистии осужденным военнослужащим, которые превысили пределы необходимой обороны при защите личной чести и достоинства;

рассмотрения вопроса о выводе военнослужащих срочной службы из мест и регионов с нестабильной социально-политической обстановкой и повышенным радиационным фоном, а также неприменении воинских формирований в случаях возникновения межнациональных или социальных конфликтов;

выделения помещения для Совета родителей военнослужащих и обеспечения его работы, а также предоставления выставочных площадей для размещения материалов о преступлениях в Вооруженных силах.

3. Осудить масштабы милитаризации советского общества, привилегированное положение высшего военного руководства и военно-промышленного комплекса.

Развернуть борьбу за демилитаризацию государства, личности, создания системы обучения и воспитания подрастающего поколения.

Призывать общественность к борьбе за превращение воинской службы из почетной обязанности всех граждан в одну из необходимых обществу профессий.

Потребовать от органов власти роспуска всех организаций, преследующих милитаристские цели, и в первую очередь ДОСААФ.

Отстаивать открытость Вооруженных сил для общественного контроля и для религиозного воздействия на военнослужащих, а также воспитание военнослужащих в духе патриотизма, воинского достоинства, нравственного благородства, замечательных традиций отечественной армии и флота.

4. Обратиться к общественности с призывом бойкотировать осенний 1990 года призыв военнообязанных на срочную службу до тех пор, пока не будут установлены гарантии безопасности и неприкосновенности личности в армии и на флоте.

Рекомендовать родителям военнослужащих объединяться в борьбе за права сыновей, консолидироваться со всей демократической общественностью, проводить совместные акции протеста против бесправия военнослужащих и их семей, вплоть до проведения забастовок.

5. Очередной съезд родителей военнослужащих провести 7 апреля 1991 года.

Принято на 1-м Всесоюзном съезде родителей военнослужащих 9 сентября 1990 года

КОНТИНЕНТ

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

На 1 год (4 номера) - 27 руб. 80 коп.
На 6 мес.(2 номера) - 13 руб. 90 коп.
Цена 1 номера - 6 руб.95 коп.
Пересылка за счет подписчика

Желаю оформить подписку,

начиная с _____ по _____

Имя, отчество, фамилия _____

_____

Адрес _____

_____

_____

Оплату произвожу наложенным платежом

Платеж оформляется в отделении связи при получении каждого номера.

Заполненный талон просим направлять по адресу: 111397, Москва, а/я 14.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ "КОНТИНЕНТА"

Наш журнал Вы можете купить в магазинах "Академкнига" и "Букинист" г.Москвы, в киновидеоцентре "Москва" и в магазине 120 "Москнига" по ул. Кирова, 6.

Мы имеем также распространителей журнала в следующих городах страны:

— г.Воронеж, 57, ул.Молодежная,26. Малое предприятие "Вест-1".
— г.Калиновка Винницкой обл., ул. Дзержинского, 53, группа "Артифакт" при РК ВЛКСМ
— г.Омск, ул. Суворова,21. МКП "Арсенал"
— г.Кишинев, ул.А.М.Спетару,7, кооператив "КОСКОТТ"
— г.Минск, ул.З.Бядули,13, МКП "Плазмокор"
— г.Таллинн, а/я 3103, Тартусское Культурное Общество.

По вопросам приобретения журнала небольшими партиями можно обращаться в Московское областное отделение Общества книголюбов, в Гуманитарный фонд СССР и в магазины Литфонда РСФСР.

Консорциум "АВЕРС" ищет надежных партнеров для распространения журнала в тех регионах страны, где мы еще не имеем своих распространителей. Договора заключаем на взаимовыгодных условиях.

Принимаем заказы на выполнение полиграфических работ на своей бумаге.

С предложениями обращаться:

111397, Москва, а/я 14.

Памяти Александра Сопровского

23 декабря в Москве на 38-м году жизни трагически погиб АЛЕКСАНДР СОПРОВСКИЙ - постоянный автор "Континента" и "Вестника РХД", один из самых ярких поэтов поколения сорокалетних. Был он одним из редких людей, кто в любые времена твердо отстаивает непреходящие ценности, измеряя ими даже беды нашего отечества. Глубокий знаток философии древней и современной, по темпераменту близкий к Льву Шестову (о котором написал блестящее исследование), тонкий историк и литературовед, главное свое призвание он видел в напряженной и страстной лирической поэзии, еще со времен самиздата хорошо известной читателю. Волей судеб подборка его стихотворений в свежем выпуске "Континента" оказалась последней, а статья в предпоследнем выпуске - нравственным и политическим завещанием. Лучшая память о поэте - сумрачный и высокий мир его творчества. Живая скорбь - долго еще не уйдет из сердец его друзей и читателей.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ, Наталья ГОРБАНЕВСКАЯ, Виталий ДМИТРИЕВ, Елена ИГНАТОВА, Бахыт КЕНЖЕЕВ, Тимур КИБИРОВ, Наум КОРЖАВИН, Владимир МАКСИМОВ, Павел НЕРЛЕР, Аркадий ПАХОМОВ, Татьяна ПОЛЕТАЕВА, Владимир СЕРГИЕНКО, Алексей ЦВЕТКОВ, Мария ЧЕМЕРИССКАЯ, Алексей ШЕЛЬВАХ.

Подписано в печать 28.05.91 Формат 70x100/32.
Бумага офсетная №2. Печать офсетная.
Печ. л. 12. Усл. печ. л. 15,6.
Тираж 100000 экз.
1-й завод 15000 экз. Цена 6 руб. 95 коп.
Кино-издательский консорциум "АВЕРС".
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 12а.
Оригинал-макет изготовлен многопрофильным предприятием "Рябина"
103482, Москва, Зеленоград, Центральный пр., д. 1.
Тираж отпечатан и изготовлен Московской типографией №4 Госкомпечати СССР.
129041, Москва, Б. Переяславская ул., д. 46.
Зак. 1189